Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. В.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. И.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

М. ГОРЬКИЙ

РАССКАЗЫ • ОЧЕРКИ

•

ВОСПОМИНАНІЯ

•

ПЬЕСЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1975

Составление и вступительная статья
А. Овчаренко

Р2
Г71

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

Г $\frac{70302—200}{028(01)—75}$ подписное

М. ГОРЬКИЙ, ЕГО РАССКАЗЫ И ПЬЕСЫ

Весной 1898 года в Петербурге вышли два небольших томика произведений пока еще никому не известного М. Горького, скромно озаглавленные «Очерки и рассказы». Двадцать произведений, составивших эти томики, вызвали сенсацию. Их читали и перечитывали, о них писали в газетах и журналах виднейшие критики, восхищаясь как богатством содержания, так и художественными достоинствами. Горький стал всероссийской знаменитостью. Осенью следующего года уже три тома вышли из печати и в течение нескольких недель разошлись.

Мало кто из читателей и литературных критиков знал, что «неожиданному» успеху предшествовал многолетний упорный труд, что три десятка произведений трехтомника составляли около четвертой части всего напечатанного Горьким к тому времени в газетах и журналах, что автор «Очерков и рассказов» сам, вместе со своими героями, обездоленными и эксплуатируемыми, прошел суровую школу труда, вместе с ними узнавал и познавал своих друзей и врагов, медленно, но упорно пробиваясь «к свободе, к свету». Он рассказывал о том, сколько сил приходится тратить простому человеку, чтобы «найти труд», о сотнях тысяч голодных, обездоленных мужиков, ремесленников, босяков. Со времен Решетникова русская литература не создавала более страшных картин изнурительного труда, чем те, с какими читатель сталкивается в рассказах «На соли», «Челкаш», в поэме «Двадцать шесть и одна». Беспримерным памятником «власти тьмы», царившей в деревенской России, навсегда останется очерк «Вывод». Голод, нищета, чудовищная эксплуатация, невежество, суеверия преследуют и гнетут честных тружеников, лишая вначале радостей детства, затем — любви, дружбы. Их мучают одиночество, отчуждение («Дед Архип и Ленька», «Горемыка Павел», «Однажды осенью», «Озорник», «Одинокий», «Трое»). Писатель предъявил эксплуататорскому строю грозное обвинение в том, что строй этот извратил основу основ человеческого существования — труд, превратив его в тяжкую обязанность и тем

самым обессмыслив человеческое существование («Супруги Орловы», «Бывшие люди», «Двадцать шесть и одна», «Ссора», «На дне»).

Волшебной силой подлинного таланта мы переносимся в Россию конца XIX века, зачарованно слушаем у ночного костра рассказ старого цыгана об удалом Лойко Зобаре и красавице Радде, вместе с Емельяном Пиляем бредем на проклятущую соль... Рядом с нами, за нами, впереди нас люди, люди, люди... Горемыка Павел и старуха Изергиль, Челкаш и Коновалов, Шакро и Промтов, Кирилка и Финоген Ильич, Фома Гордеев и Павел Грачев... «А ты можешь научиться сделать людей счастливыми?» — скептически спрашивает Макар Чудра, выпуская из носа и рта густые клубы дыма. «Права! Вот они, права!» — кричит Емельян Пиляй, потрясая жилистым кулаком. «Рази мне надо что?..» — пронзительно вопрошает дед Архип. «Жутко жить»,— шепчет Хромой. «Так я никакого геройства и не совершил»,— сокрушается Гришка Орлов...

Сотни, тысячи, затем миллионы людей с нижних этажей жизни, разутые и раздетые, голодные и лишенные всех прав человеческого состояния, оказывается, мучительно ищут ответы на коренные социальные и этические вопросы. «Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть?.. Живу, тоскую. Зачем?» — спрашивает пекарь («Коновалов»). «И зачем это нужно, чтоб я жил, жил и помер, а?» — рассуждает сапожник («Супруги Орловы»). «И почему только человек на всю жизнь ребенком не остается? Растет... зачем? Потом врастает в землю. Несет всю свою жизнь несчастия разные... озлится, озвереет... чепуха! Живет, живет и — в конце всей жизни одни пустяки...» — с горечью констатирует наборщик («Озорник»). «Ежели человека изо дня в день все давит... и нет никакой радости — что же я могу?»— недоумевает котельщик («Ссора»). Они требуют «на всё ответа», вплоть до смысла жизни и назначения человека. Они догадываются: в этой жизни «все не в порядке». И другая догадка озаряет их: сами они тоже виноваты во всеобщем неустройстве. И они ищут выход. «Вы мне скажите что-нибудь такое, что бы сразу по недугу мне пришлось... вот!» — просит знакомого интеллигента Гвоздев («Озорник»). «Я не могу так жить...» — твердит Григорий Орлов. «Надо понимать, Саша,— говорит жене котельщик Редозубов,— надо соображать — почему? Почему пьянство? Почему озорство? На все нужны ответы, Саша... разве кто из людей есть враг себе? Человек себя любит, но, между прочим, идет даже против себя. Почему?» («Ссора»). Да, они не желают больше жить в нищете. Но «быть сытыми» — далеко не единственное их желание. Даже опустившийся босяк из пьесы «На дне» Сатин заявляет: «Человек — выше сытости...»

Художественное воссоздание самого процесса этих великих исканий — одна из блистательных сторон творчества Горького.

Глубокий и ясный ответ на мучительные вопросы века сам Горький нашел не сразу,— искал долго и мучительно. Искания эти совпадали с исканиями лучшей части трудового народа России и завершились тем, что, по позднейшим словам Горького, «рабочий класс принял» его «как своего человека».

Но уже и на самом раннем этапе творчества, изображая в предельно суровых тонах российскую социальную действительность, безжалостно ломающую людей, низвергающую их в пропасть горя и страданий, Горький упорно «собирал мелкие, редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым», стремился выявить в душе самого «уничтоженного» человека задатки или остатки человечности. Пребывание на дне жизни, среди «отбросов общества», породило у него, кроме испепеляющей ненависти к эксплуататорскому строю, непоколебимую веру в исключительную талантливость простого человека. Он открыто прославляет людей независимых, сильных, смелых, дерзких, жаждущих ничем не ограниченной свободы, умеющих брать от жизни полной мерой, способных на героизм в любви, дружбе. Добро, отзывчивость, человечность, тоску по необыкновенному и вместе с тем ненависть ко лжи, лицемерию, эгоизму — вот что видит Горький на дне тогдашней жизни. Решившийся на убийство купца Емельян Пиляй спасает человека. И не просто спасает, а испытывает ни с чем не сравнимое чувство радости за него («Емельян Пиляй»). Находящаяся на краю отчаяния Наташа утешает и ободряет человека, озабоченного «судьбой человечества» («Однажды осенью»).

Произведения Горького воспринимались как яркий факел в темной душной ночи. Не забудем, что они создавались в хмурое, многим казавшееся «безгеройным» время... Даже в ранних произведениях Горького много солнца, воздуха, травами и свободой пахнет ширь степная, неумолчно шумит, смеется, распевает гимны море. Горьковские пейзажи напоминают читателям о непрерывном, вечном обновлении жизни, зовут относиться к ней смелее, мужественнее, творчески.

Вера в светлые перспективы развития жизни проявляется в присущем автору тонком юморе («Ярмарка в Голтве», «Кирилка»), а также в необычности самой тональности. Оставаясь строгим реалистом в большинстве рассказов и очерков, Горький так ведет повествование, что в нем улавливается какой-то намек на возможность разрешения мучительных вопросов. О жизни «двадцати шести живых машин, запертых в сыром подвале», жизни, не содержащей ничего героического, он слагает поэму и внушает читателю предчувствие чего-то необычного, может быть, грозного, но такого, что сотрет с жизни будничность, серость, обыденность.

Наряду с реалистическими формами типизации жизни Горький смело прибегал и к романтическим. Его романтические образы символизировали новые силы в России, поднимавшиеся против частнособственнического общества. В «Старухе Изергиль», развенчивая индивидуализм тех, кто отвергает людей, желая жить только для себя, и тех, кто согласен жить с людьми, но опять-таки только для себя, Горький прославляет коллективизм.

«Я начал свою работу возбудителя революционного настроения славой безумству храбрых»,— скажет с гордостью писатель о себе позднее[1]. В «Пес-

[1] «Коммунистический Интернационал», 1920, № 12, столб. 1936.

не о Буревестнике» Горький выступает, по ставшему крылатым выражению Л. Андреева, не просто «буревестником», но «буреглашатаем», так как не только возвещает о грядущей буре, но «зовет бурю за собою».

Многие приемы, характерные для романтических форм художественного обобщения, Горький смело использует и в реалистических произведениях, на что первым обратил внимание В. Короленко. Соседство и прямое взаимопроникновение их казалось противоестественным Толстому. Называя Горького даровитым художником, большим талантом, он в то же время упрекал молодого писателя в том, что герои у него говорят «очень умно», что он якобы «приукрашивает все», рисует «рыцарей». Но Горький не мог согласиться с толстовским убеждением, что «герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего». Этому противоречила правда самой русской действительности, в которой миллионы уже поднимались на героическую борьбу за свое освобождение, невозможное без массового героизма. То было совершенно новое явление, побуждавшее Горького в каждом человеке «толпы» видеть «кандидата в герои».

Горький искал художественные приемы, позволяющие нарисовать нового героя во весь рост, искал особые — яркие, емкие — слова для воссоздания героического дела эпохи.

Литературные критики, ученые, читатели Горького не сразу определили подлинное положительное начало в его творчестве.

Довольно долго бытовала легенда о Горьком как апологете босячества и босяков — жертв существующего строя, опустившихся на самое дно. Виднейший критик-народник Н. Михайловский истолковывал даже Сокола, Данко, Зобара как очищенных от грязи босяков[1]. Порой такими виделись герои Горького и Л. Толстому. Тем более что молодой писатель действительно проявлял одно время повышенный интерес к босякам, которых в девяностые годы в России насчитывалось около пяти миллионов. Среди них встречались выходцы из самых различных классов, и, следовательно, изображая их, можно было показать, что существующее общество трещит по всем швам. К тому же зачастую это были люди талантливые, нередко добровольно «выламывавшиеся» из своего класса. Порывая все связи с той средой, они освобождались от большинства предрассудков буржуазного общества: жадности к деньгам, страсти к стяжательству, мещанскому благополучию. В их среде чаще и громче звучал голос осуждения «хозяев жизни», выше ценились такие качества, как гордость, смелость, независимость, любовь к свободе. «Видно, что-то неладное творится в самом обществе, если жемчужины его нравственного уклада надо искать по задворкам, в навозных кучах»,— подсказывал читателям подспудную мысль Горького критик-большевик В. Воровский[2]. Нетрудно, однако, убедиться, что автор хорошо видит органическую

---

[1] См. «Русское богатство», 1898, № 10, с. 81.

[2] В. В. Воровский. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1971, с. 70.

неспособность босяков к последовательной, сознательной революционной борьбе, их «бунт на коленях», «анархизм побежденных». Даже самого лучшего из босяков, в отличие от других умеющего и любящего работать — Коновалова, писатель уподобляет углю из медленно угасающего костра. Гаснущий костер в конце рассказа символизирует бесперспективность «босячества». Вспомним, что, показывая в «Фоме Гордееве» группу рабочих, собравшихся в лесу, чтобы обсудить свою жизнь, Горький изображает их тоже у костра, но уже не угасающего, а разгорающегося все ярче.

Марксистская и революционно-демократическая критика решительно выступила против легенды о босяке как положительном герое Горького.

«Я, разумеется, никогда и никого не звал: «идите в босяки»,— писал Горький в 1910 году,— а любил и люблю людей действующих, активных, кои ценят и украшают жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни. Вообще русский босяк — явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен человек этот прежде всего и главнейше — невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни»[1].

Народническая и либерально-буржуазная критика столь же безосновательно обвиняла Горького в ненависти к мужику и даже противопоставлении городу деревни.

Отношение писателя к деревне и мужику действительно было очень сложным, на отдельных этапах противоречивым, но не имело ничего общего ни с босяцким всеотрицанием, ни с народнической слащавостью. Горького пугал факт подавляющего преобладания крестьянства в России, иногда деревня представлялась ему сплошной собственнической стихией, что приводило к ошибочным заключениям, как то случилось, например, в 1917 году. Но в своих художественных произведениях, начиная с «Товарищей», «Дела с застежками» и «Вареньки Олесовой», он не только не отрицал, а убедительно показывал, что русская деревня таит огромные запасы человечности, что в ней немало революционного горючего. Задумав в самом начале XX века цикл драм, Горький намеревался написать пьесу и о деревне.

Писатель ощущает все большее тяготение к обобщающим картинам русской действительности, к многостороннему раскрытию ее противоречий, ее внутреннего, все усиливающегося динамизма, к выявлению ее закономерностей и перспектив. От рассказа и очерка он обращается к повести, роману, а с начала нового века и к драматургическим жанрам. Руководители молодого, набиравшего тогда силу Московского Художественного театра стали упорно уговаривать писателя попробовать себя на поприще драматургии. В 1901 году Горький написал пьесу «Мещане», первым читателем которой был А. Чехов. Успех окрылил писателя. Вслед за «Мещанами» он создает еще пять пьес.

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 148.

Позднее К. Станиславский писал, имея в виду прежде всего Горького: «Брожение и нарождающаяся революция принесли на сцену театра ряд пьес, отражавших общественно-политическое настроение, недовольство, протест, мечтания о герое, смело говорящем правду»[1]. Сегодня, оглядываясь на то время, мы можем сказать больше: с этими пьесами на сцену вышел совершенно новый герой,— прежде всего в образе машиниста Нила, о котором А. Чехов писал К. Станиславскому: «Это не мужик, не мастеровой, а новый человек, обынтеллигентившийся рабочий»[2].

Как мы видели, уже раннее творчество Горького озарялось вспышками надежды на очищающую бурю. По мере роста революционных настроений в народе, все более глубоким выразителем которых становился Горький, такие вспышки воспринимались как сполохи приближающейся грозы. Раздвигая границы своего творчества, захватывая в его орбиту новые пласты действительности, писатель изображает нарастание революционного разлома изнутри ее и закономерное выдвижение во главу протестующих масс могучей фигуры «бойца, рабочего, мстителя».

Горький первым в мировой литературе показал, что рабочие-революционеры — истинные хозяева жизни, подлинные патриоты и интернационалисты, люди необычайной интеллектуальной мощи, душевной красоты, нравственной чистоты. Они по-новому понимают чувство долга, дружбу, любовь, слово у них не расходится с делом, требующим беспримерной самоотдачи, стойкости, выносливости и бесстрашия. Такое изображение рабочего-революционера явилось открытием мирового значения.

В эстетическом плане это привело к кристаллизации нового творческого метода на основе принципа строгого историзма. Писатель поднялся на высочайшие интеллектуальные вершины, что позволило ему создать немало шедевров, начиная с пьесы «На дне», по праву входящей в первую десятку лучших пьес, созданных человечеством за все его существование. Горький показал изнанку эксплуататорского общества, заставив мир содрогнуться. Полтора десятка людей, один другого униженнее, разорвавших все связи с обществом и начисто отвергнутых им, ведут нескончаемые споры о таких категориях, как правда, свобода, труд, равенство, счастье, гордость, честность. Что такое человек, для чего он явился на землю, в чем подлинный смысл его бытия? «Основной вопрос, который я хотел поставить,— говорил Горький в одном из интервью,— это — что лучше, истина или сострадание?.. Это вопрос не субъективный, а общефилософский»[3]. Горькому удалось поставить его в пьесе всеобъемлюще, придать разработке его исключительную художественную глубину.

---

[1] К. С. Станиславский. Собр. соч., т. I. М., «Искусство», 1954, с. 251.

[2] А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. XIX. М., Гослитиздат, 1950, с. 225.

[3] «Петербургская газета», 1903, 15 июня, № 161.

Накануне первой русской революции проблема «Ложь или правда нужна человеку?» имела не отвлеченно-философское, а острое политическое и практическое значение. В. И. Ленин указывал, что буржуазии вообще и либеральной буржуазии в частности «нужна ее ложь, для нее это не ложь, а величайшая правда, правда ее классовых интересов, правда буржуазной свободы, истина капиталистического равенства, святое святых торгашеского братства.

Это — *ее* (буржуазии) правда, ибо ей нужна не победа народа, не *гора*, а болото для массы, и восседание на плечах черни для тузов и мешков, не победа, а сделка, *соглашение* с врагом,= предательство врагу»[1].

Горький показал «дно», уготованное рядовому честному труженику в помещичье-капиталистическом обществе. Вопрос об утешительной лжи и беспощадной правде решается в пьесе как категорическое требование уничтожить всю ложь, разрушить социальную почву, на которой она возникает. Что делать, чтобы миллионы людей честного труда не скатились «на дно», а стали достойны великого имени Человек? — так ставится вопрос. Со всей категоричностью в пьесе прозвучала центральная идея дореволюционного творчества Горького: существующий строй должен быть разрушен во имя настоящей свободы для человека. «...Горький Максим,— писал реакционер Н. Я. Стечькин,— ударами пера, как ударами лома, рушит и самую почву, на которой стоит это общество»[2].

Утешающей и примиряющей лжи лукавого старца Луки автор противопоставляет веру в Человека, вооруженного правдой, какой бы суровой она ни была. Он влагает в уста Сатина слова: «Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека! Человек — вот правда!.. Человек! Это — великолепно! Это — звучит... гордо!»

Герой поэмы Горького «Человек» провозглашает полное равенство всех людей на основе уничтожения «бессмысленной, постыдной и противной всей этой жизни, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!».

Всей сущностью своей Человек противостоит мещанину, олицетворяющему другой социальный лагерь. Первоначально Горький намеревался даже написать поэму в двух частях и назвать ее — «О Человеке и Мещанине».

В произведениях, созданных в разгар первой русской революции, непосредственным участником которой был писатель, Рабочий — Человек — Товарищ сливаются в едином героическом образе революционного борца за новый светлый мир. Так великая мечта писателя о Человеке, преобразующем мир, начинает обретать реальные очертания.

И после поражения первой русской революции Горький сохраняет веру в неизбежность победы народа, неутомимо наносит удары по основам эксплуататорского общества. Оказавшись за границей, он пишет знаменитый цикл

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 11, с. 329.
[2] Н. Я. Стечькин. Максим Горький. СПб., 1904, с. 222.

сатирических очерков «В Америке» и книгу обжигающих памфлетов «Мои интервью». Жизнь Нью-Йорка, Парижа, Берлина дает ему конкретный материал для обличения бесчеловечной сущности капитализма, какой бы формой правления тот ни прикрывался. Поставив в один ряд «короля, который высоко держит свое знамя», «прекрасную Францию», русского царя и «одного из королей республики» США, Горький тем самым отмечал общность в главном между самыми «демократическими» и самыми деспотическими формами эксплуататорских государств. Капитал, этот Желтый Дьявол, сковывает человечество цепями рабства, превращает жизнь большинства в каторгу, физическую или духовную, подчиняет все одной цели: ослепить, оглушить, изуродовать рабочих людей, «научить их жить на земле смирно и послушно законам», чтобы беспрепятственно выжимать из них кровь и пот, превращая их в доллары. Горький смотрит на мир, в котором правит Желтый Дьявол, с высоты социалистического идеала. И даже в американской действительности тех лет писатель находит ростки надежды на «выпрямление» человека. Книги «В Америке» и «Мои интервью» проникнуты страстным желанием видеть человечество воистину свободным, объединенным в одну могучую трудовую семью.

Поэтическим голосом, совестью, честью своего народа остается великий русский писатель в последующие годы. Он работает над созданием реалистической истории русского общества. Менее чем за десять лет им написано девять повестей и романов, восемь пьес и свыше ста рассказов, очерков, памфлетов, сказок, большая часть которых была объединена в циклы «Жалобы», «По Руси», «Русские сказки» и другие. В них воссоздается неповторимая картина «потревоженной России», в глубинах которой происходят гигантские сдвиги, героическая борьба пролетариата вносит брожение во все слои России, зреет величайшая революция.

Перед нами Русь размышляющая, ищущая, срывающаяся с петель, продирающаяся сквозь частую сеть предрассудков, предубеждений, свинцовых инстинктов к светлому будущему. Книга «По Руси» предстает как полемика Горького с тем, что писалось о России и русском народе после поражения революции 1905—1907 годов. Горький как бы говорил: «Конечно, есть и тьма, и невежество, и чудовищная спутанность мыслей и чувств есть... И все же это далеко не вся правда». Он рисовал русский народ сложным, противоречивым, но видел в нем положительные силы, которые не только не погибли, но уже с конца прошлого века стали складываться в нечто принципиально новое, что символически выражается в книге словами «рождение человека» и «рождение Руси». Новое начало рождается в процессе кипения, борения самых причудливых противоречий, но оно существует, растет. Открывающий книгу рассказ «Рождение человека» — гениальная увертюра, полная света, солнца, трепетной жизни, бодрости и веры в победу человечности и человеческого на земле. «Рождение человека» один из читателей назвал жемчужиной, а Горький — самым удачным своим рассказом. Он органично спаивается с рассказом «Легкий человек», в котором, глядя на рабочего человека

Сашку, рассказчик думает, что «легкий человек Сашка везде был бы на месте: муж, отец, любовник,— городской голова, плотник,— чем ни поставь его — с ним будет хорошо и просто. Жизнь с ним должна идти быстро и толково, действенно и весело. Именно это обещает он»[1].

Всем пафосом своих произведений Горький утверждал, что творческое, обновляющее начало живет в глубинах народа, растет, развивается и потому — неистребимо. Оно и питает те гимны «светлому и радостному существу жизни», которыми переполнена книга, несмотря на то что светлое, яркое соседствует в ней со страшными картинами, запечатленными в очерках «Зрители», «Светло-серое с голубым» и особенно в рассказе «Страсти-мордасти», столь высоко ценимом В. И. Лениным.

Прославляя и поддерживая рост нового, человечного, революционного начала в российской действительности, Горький вместе с тем по-прежнему неутомимо обличает «свинцовые мерзости» жизни. В тяжелые годы реакции он, по примеру Щедрина, избирает для борьбы со столпами государства и его идеологическими приспешниками жанр политической сказки. Цикл «Русские сказки» — образец партийной сатиры, отрицающей самые основы эксплуататорского общества. Одна за другой проходят перед читателем «свинцовые рожи» охранителей существующего порядка, либеральничавших контрреволюционеров, националистов, шовинистов, идеологических защитников самодержавия — защитников поневоле или по расчету; философов, устраивающих свои материальные делишки с помощью проповеди пессимизма, поэтов-декадентов, воспевающих смерть как из моды, так и потому, что «жрать надо!». Здесь и «вольнонаемный истребитель живых существ обоего пола и всех возрастов Оронтий Стервенко», и убийственно меткий образ поэта-декадента Смертяшкина. После Гоголя и Щедрина в русской литературе мало кто пользовался с таким искусством всем арсеналом сатирических средств, как Горький.

Неотъемлемой частью всеобъемлющей картины, создаваемой писателем, являются и духоподъемные, по определению В. И. Ленина, «Сказки об Италии» — эта горсть солнечных лучей из будущего, подаренная Горьким человечеству еще до рассвета. Писатель воспевает ростки новой, классовой, социалистической правды в душах и сердцах людей, но именно поэтому новая правда оборачивается своей общечеловеческой сущностью, и — не только в сказках о матерях, о которых М. Коцюбинский сказал: «Это настоящий гимн женщине — ее героизму и огромному сердцу». Сам Горький разъяснял, что сказки — «не игра фантазии человека, которого слишком утомила, измаяла суровая действительность», а «картинки действительной жизни» итальянских тружеников, тянущихся к светлому будущему. Писатель несколько приукрасил их, романтизировал, но с единственной целью — «чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить! — со временем разрастутся пышно и ярко».

---

[1] «Летопись», 1917, май — июнь, № 5-6, с. 22.

Всеобъемлющая картина России, идущей к революции, оставалась в центре внимания писателя и после победоносного Октября 1917 года. Горький делает ее бездонно глубокой и многогранной в таких классических произведениях, как своеобразная художественная анатомия русского капитализма «Дело Артамоновых», монументальное эпическое повествование о сорока предреволюционных годах России — «Жизнь Клима Самгина», драматургическая дилогия «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и другие», рисующая обусловленный назреванием социалистической революции в нашей стране разлом старого мира изнутри.

Возвращаясь к излюбленной фигуре русского купца, «выламывающегося» из своего класса, Горький вылепливает почти монументальный образ Егора Булычова, по стечению общественных и личных обстоятельств особенно остро ощущающего непрочность своего положения, осознающего, что недюжинные силы, ум, талант истратил не на то дело. Выходец из народа, он, став богачом, не утратил многие народные черты. Они-то, а также порождаемое в русском купечестве головокружительным подъемом от «раба» к «повелителю» неверие в свою «свободу», выражавшееся в поисках пределов дозволенного, и подвигают его, когда почва начинает под ногами колебаться, на «озорство», «бунт», пугающие окружение. Он разит метким словом «святыни», «нормы», «догмы» частнособственнического общества. Наконец, исповедуется перед дочерью: «Понимаешь... какой случай... не на той улице я живу! В чужие люди попал, лет тридцать все с чужими. Вот чего я тебе не хочу! Отец мой плоты гонял. А я вот... этого я тебе не могу выразить». Несмотря на лаконизм, пьеса поражает богатством содержания, глубиной психологической разработки главных характеров, бесстрашием и проникновенностью авторского взгляда на недавнее прошлое, мудростью его. «Такая пьеса, такое мужественное отношение к прошлому, такая смелость правды,— писал Горькому В. Немирович-Данченко в декабре 1932 года,— говорят о победе, окончательной и полнейшей победе революции больше, чем сотни плакатов...»[1] В пореволюционной драматургии Горького пьеса «Егор Булычов и другие» — такая же вершина, как в дореволюционной — «На дне».

История русского общества, художественно воссозданная Горьким накануне Октября и после его победы, по глубине понимания социальных отношений, беспощадности изображения устоев частнособственнического мира, по многосторонности охвата действительности, богатству человеческих характеров не уступает истории французского общества в «Человеческой комедии» Бальзака и истории Второй империи в «Ругон-Маккарах» Золя, по ясности же видения перспектив развития жизни, изображению реальной силы, несущей миру избавление от всех форм гнета, порабощения, неизмеримо превосходит их. В основе ее лежит по преимуществу материал старой российской действительности. Но ведущие закономерности развития

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, М., Гослитиздат, 1952, т. 18, с. 420.

этой действительности выявляются с такой глубиной, что картина воспринимается как типичная для всего капиталистического мира в период его заката. С неотразимой художественной убедительностью показывая исчерпанность творческих возможностей буржуазной личности, оскудение и банкротство «командующих классов», Горький противопоставляет им творческую мощь революционного народа.

Создание эпического образа трудовой России, революционного народа в рассказах, в пьесе «Враги» и в повести «Мать», в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина» — выдающееся достижение Горького-художника. Этот образ выступает в творчестве писателя как могучее единство, как коллектив, но коллектив личностей, каждая из которых обладает своей яркой индивидуальностью.

До появления «Чапаева» Д. Фурманова советским писателям почти не удавалось нарисовать яркие характеры новых героев современности. На основании этого преходящего факта некоторые литературные критики, философы, социологи, писатели и у нас и за рубежом в свое время пытались утверждать, будто революция вообще нивелирует человеческую индивидуальность, личность растворяется в массе, поглощается ею. Тем самым проблема личности и коллектива выдвигалась на первый план, вызывая ожесточенные споры.

Включившись в дискуссию, Горький отстаивает идею неразрывности и взаимообусловленности коллектива и личности, энергично возражает против утверждений, что в ходе революции «общностью» начисто поглощается «личность». Как мы помним, все предыдущее творчество писателя отвергало подобные утверждения. В статье «Интеллигенция и революция» (1922) Горький заявил: «Русская революция с поражающей силой выдвинула на первый план как начало все решающее и все творящее — личность, индивидуальность,— Человека, начало всего сущего и воображаемого». И как бы в доказательство собрал и выпустил отдельным томом все написанные им до того литературные портреты. Для второго издания книга была переформирована, существенно дополнена и открывалась очерком о В. И. Ленине. В нее входили воспоминания о Л. Толстом, А. Чехове, Л. Андрееве, Л. Красине и других.

Она вводит нас в мир выдающихся людей России второй половины XIX — начала XX века, в атмосферу высочайшей интеллектуальности, насыщенную острейшими спорами — о будущем России и всего мира, о путях коренного преображения жизни, о смысле истории, о предназначении человека. И знаменательно: в книге нет ни одного смело и независимо мыслящего человека, который бы защищал старые формы жизни. В этом отношении интеллектуальная Россия единодушна. В понимании же путей преображения жизни она бесконечно многообразна. Собственно, в размышлениях, расхождениях, спорах, поисках ответа на этот главный вопрос и раскрываются характеры таких непохожих друг на друга людей, как Чехов и Андреев, Анненский и Красин, Лев Толстой и Ленин. Прислушиваясь прежде всего к тому, что они «думают» и говорят на эту тему, Горький как художник сумел добиться выразительности, пластичности, осязаемости воссоздаваемых им образов писателей, ре-

волюционных деятелей. Умением Горького нарисовать человека как живого, показав в то же время самое главное в нем, восхищался В. И. Ленин при чтении книги «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Стефан Цвейг писал Горькому: «Вы обладаете тем, чего недостает нам: острой и ясной прозорливостью, даром схватить черты живого человека и добиться того, чтобы он сошел живым со страниц книги. Во всей современной литературе я не знаю ничего равного, например, Вашим портретам Ленина и Толстого. Это единственные достоверные портреты, единственные, которые останутся»[1].

Луначарский верно заметил, что, рассказывая о живых людях, с которыми Горькому пришлось встречаться и которых он, стало быть, не имел права «домысливать», он рисует их портреты тем не менее не как мемуарист, а как художник[2]. Однако «правде дня», говорил сам Горький, он всегда предпочитал «правду эпохи». Поэтому в литературных портретах Горького не только человек показывается через эпоху, но и эпоха видится через человека,— принцип историзма определяет в них все. В этом, если сказать в самой общей форме, и заключается главное отличие большинства горьковских «воспоминаний» от многих произведений этого рода в русской и зарубежной литературах.

Особенно тщательно Горький работал над образами Толстого и Ленина, воплотив в них две эпохи в истории России: Толстой — это сама предреволюционная Россия с ее пробуждающимися, клокочущими силами, Ленин — сама революционная Россия, действующая в полную силу своих возможностей.

Со страниц воспоминаний о Льве Толстом встает гигантская фигура человека сложного, но внутренне не расколотого, противоречивого, но целеустремленного. Человек энциклопедически образованный, он в то же время с полным правом заявляет: «Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки». Все понимая, он удивляет наивностью предлагаемых им рецептов «исправления жизни». Величайший бунтарь, он выступает с осуждением революции 1905 года... И беспрерывно спорит. Спорит с богом. Спорит с царем. Спорит с революционерами. Спорит с друзьями. Спорит с самим собой. Спорит со всей жизнью. «Везде у вас заметен петушиный наскок на все»,— упрекает он Горького, сам же набрасывается на все, как беркут. Горький метко уподобил его целому оркестру. Мелодию же, которая гармонизирует все разнообразие мотивов, очень точно определил В. И. Ленин, сказавший как раз в связи с произведением Горького о Толстом: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было». «Мужицкое начало» ощущается во всем облике Толстого: «маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый»; «похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого

[1] «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами». М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 25.

[2] А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1964, с. 87.

русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов». «Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю...»; «старый кудесник» с «лохматыми бровями лешего».

Внимательно вслушиваясь в противоречивые суждения его, всматриваясь в черты его простонародной внешности, разбираясь в его спорах со всеми и всем, Горький начинает различать нечто поднимающее Толстого все выше, выше. И вот уже нам кажется, что этот человек «пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого».

Горький нашел своеобразную художественную форму: произведение составлено по принципу мозаики из множества кусочков разной формы и размера. И это оказалось настоящей находкой при воссоздании очень многогранного и очень противоречивого образа Толстого. Мы как бы через сотню подзорных труб разного масштаба всматриваемся в одну точку, где из бесконечно малых величин возникает стереоскопически ощутимая богатырская фигура. В данном случае с полным правом можно употребить слово «монтаж».

Очерк «В. И. Ленин» создан из крупных глыб, окольцованных ярким публицистическим вступлением и высокопатетическим заключением. Необычайная цельность натуры Ленина при поразительной многогранности его — вот главное. При этом Горький совершенно избегает элементов какой-либо романтизации. Уже в самом начале очерка он сталкивает существующие представления о «вождях» с действительностью и показывает, что Ленин не имел с ними ничего общего. И в дальнейшем, сравнивая Ленина с Плехановым, Бебелем, Морисом Хилквитом, Горький показывает, что рядом с ними Ленин «весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Перед нами простой энергичный коренастый человек с сократовским лбом, ласково поблескивающими, удивительно живыми глазами. Он заговаривает с автором о «Матери», вступает в спор с Мартовым, Даном, «самим» Плехановым, беседует в перерывах между заседаниями партийного съезда с рабочими, обедает с ними в дешевом ресторане. И мы ощущаем подлинное величие Ленина — нового руководителя новых масс, новой личности, находящейся в неразрывном единстве с новыми массами.

Удивительная гармония между мыслью и делом, словом и поступком, в сочетании с человечностью и добротой, ничего общего не имеющими со всепрощением, а, напротив, воинствующими,— вот что дает Ленину изумительную цельность.

В изображении Горького Ленин — человек своей эпохи, человек определенного класса, до мозга костей русский человек. Но писатель оттенял в национальном, классовом то, что входит неотъемлемой частью в общечеловеческое. Вот почему в вожде пролетарской революции мы видим Человека Человечества, который, как никто другой, был «Человеком из будущего».

Для Горького Ленин — самое полное, самое глубокое выражение неиссякаемых творческих сил революционной России, Коммунистической партии, российского пролетариата, русского народа, олицетворение организующей и вдохновляющей роли нашей партии в переустройстве жизни на социалистических основах, символ нового мира, нового человечества, его великого будущего. Поэтому тема Ленина, образ Ленина, мысль Ленина сопутствуют всему, что делает писатель. Восторженно рассказывая об успешном строительстве социализма в СССР, Горький с радостью отмечает, что образ Ленина «часто встает в памяти на богатой этой земле, где рабочий класс трудится, утверждая свое могущество».

Объединенная этим гигантским образом, вырисовывалась в творческом воображении Горького последних лет картина социалистической России, Союза Советов. Он старательно накапливал материалы для нее, начиная, по крайней мере, с середины двадцатых годов. В дальнейшем Горький встречается с сотнями советских людей, занятых во всех сферах социалистического строительства. О масштабах нового художественного замысла дает представление следующее признание самого писателя, сделанное еще в 1927 году: «Мне хочется написать книгу о новой России. Я уже накопил для нее много интереснейшего материала. Мне необходимо побывать — невидимым — на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомольцев, вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально опасных детей, у рабкоров и селькоров, посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок и т. д. и т. д. Это — серьезнейшее дело. Когда я об этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся»[1].

Этого замысла Горький не оставлял до последних дней жизни. Преждевременная смерть помешала ему написать книгу о новой России. Над такой книгой неутомимо работают, выпуская в свет часть за частью, советские писатели.

А. ОВЧАРЕНКО

[1] «Правда», 1928, 29 марта, № 75.

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана,— он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертво́ молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо».— Эге! А тебе что до этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает,

что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько,— он широко повел рукой на степь.— И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с пóтом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился,— дураком.

— Что ж,— он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем живу на свете?» — помыслил я со скуки,— скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырьях, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда

как-то странно, недовольно и требовательно звучавший — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь,— век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его,— удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла́ — это уж как раз!

И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поездит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине,— это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния

сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок,— важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковей»,— сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» — громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутом воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! «Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно!» Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данило, и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голу́бок ищи — те податливей.— И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушайка дальше.

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!»

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердце, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но — не на ту напал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Зобар умен и ловок,— вот лгут люди!» — и пошла прочь.

— Эге, красавица, у тебя остры зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня.— Здравствуйте, браты! Вот и я к вам!

— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Громом гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он.

Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар, песенку, повесели душу!» Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу луну!

Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

— Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, да— в лужу носом, усы запачкаешь, смотри.— Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

— Это песня! — сказал Данило.— Никогда не слыхал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая,— сказала она, точно снегом в нас кинула.

— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля:

— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило.— Да возьми, коли можешь!

— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде: — Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку,— вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком — грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула к себе,— вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел на его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией. но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется — сидит.

И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно.

Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

Весело мне стало! «Эх, важно! — думаю,— удалая девка Радда!» Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше!

— Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я — и все тут.

— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

— А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени,— сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко!

— Слышу! Сделаю,— застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видать, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

— Ну! — крикнула Радда Зобару.

— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще...— засмеялся он. Точно сталь зазвенела,— засмеялся.

— Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же,— простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!..— да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что ты скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «Надо связать его!..» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой, как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев цыган — Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

1892

ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ

— Ничего больше не остается делать, как идти на соль! Солона эта проклятущая работа, а все ж таки надо взяться, потому что этак-то, не ровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной косе верстах в трех от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось.

Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжелого черно-сизого дыма, оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

— Ну что ж, идем на соль!

— Так... иди!.. А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну, конечно!

— Ага! Что ж, это дело... пойдем! А эта проклятая Одесса — пусть ее черти проглотят! — останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдем; руганью не поможешь.

— Куда пойдем? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдем.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

— Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гроши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур...

— Ну ладно, будет! Пойдем!

— Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солью и сказать ему со всем нашим почтением: «Милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в суточки!» И тогда последует...

— Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбачки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому — незадача нам с тобой всю неделю, да и все тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и засунул руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

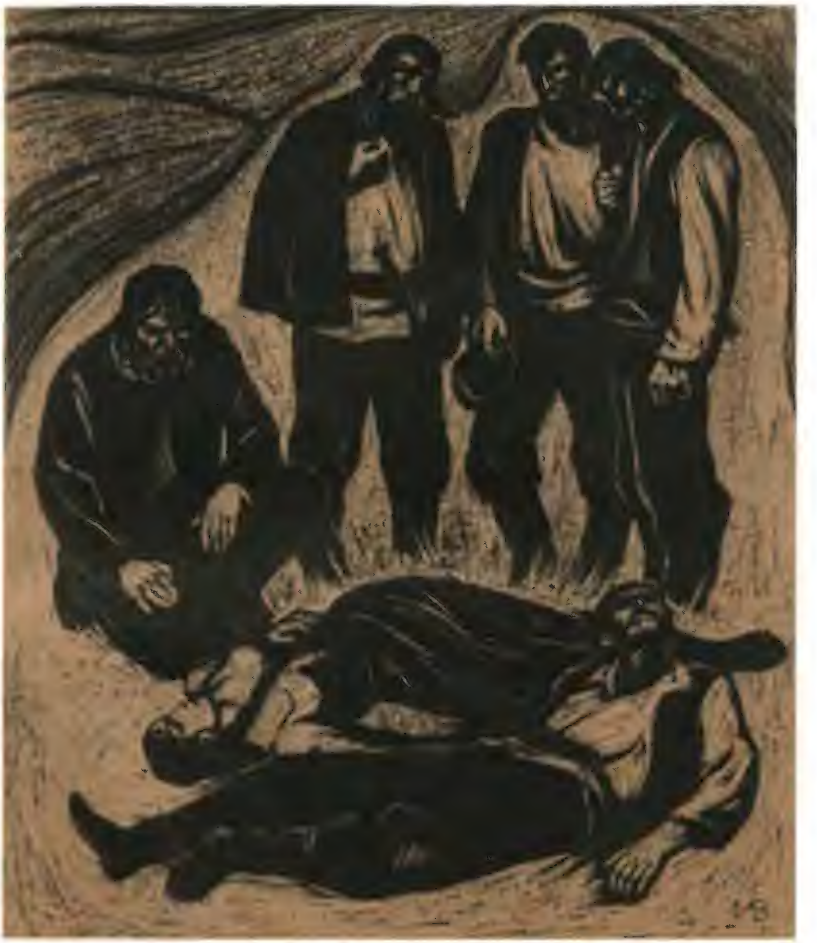
— Ничего!.. Четвертый день ищу, и все — ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набегавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и черные... С моря набегал славный свежий ветерок, опахивал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли.

Емельян, всегда веселый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

— Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

— Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому — брюхо пустует. Брюхо в человеке — главное дело, и какого хочешь урода найди — а без брюха не найдешь, дудки! А как брюхо покойно, значит и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит...



«Макар Чудра»
Художник В. Макеев
Темпера. 1966-1967 гг.
Музей А. М. Горького. Москва.

Он помолчал.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: «Максим, отверни кран!» — и буль-буль-буль — прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-орошее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты! — грабь — дери шкуру!.. выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться: «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» — «А?.. Что?.. В долг?! Не дам в долг!» — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам». Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!

— Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка — вон он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает?.. А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает — почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других-прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают,— вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьезное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, вывоpотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

— Не берешь? Врешь, возьмешь! — Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

— Ну, что ты скалишь зубы-то?.. Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение при-

давало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на «вы» и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и черен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаясь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

— Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так...— вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения,— Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

— Все это так,— перебил он меня, неопределенно махнув рукою.— А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами,— подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки,— так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту,— укокошил бы его?

— Нет, конечно,— отвечал я.— Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека.

— Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось,— наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

— И всяк человек — только разным способом — всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие.

Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева, и, вздохнув, проговорил:

— Покурить бы теперь...

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

— Здорово, панове! — окликнул их Емельян,— а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво проговорил:

— Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

— Здравствуйте! — сказал он,— где ж вы идете?

— К Очакову на соль.

— Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

— А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб ее галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню. Емельян скрипел зубами.

— Так вам табаку надо?

— Давно не курили,— сказал я.

— Что ж так? А вы бы покурили.

— Гей ты, чертов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок! Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! — гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные палки и став плотно друг к другу.

— Эге, братики, вот как вы просите!.. А ну, что ж, идите!..

Чертовы хохлы хотели драться, в чем у меня не было ни малейшего сомнения. Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнем глазам, тоже был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны:

— Стойте, братцы! Товарищ погорячился — не беда ведь! А вы вот что — дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдем себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита — на Михаила, и оба усмехнулись.

— Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда объемистый кисет и протянул мне:

— А ну, забери табаку!

Никита сунул руку в кишеню и затем протянул ее мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал еще мне табаку. Никита буркнул:

— Прощайте! — Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустился на землю и довольно громко прошипел:

— Чертовы свиньи!

Хохлы пошли в глубь степи тяжелым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с са-

лом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря поднялась гряда желто-лиловых облаков, окаймленных розовым золотом, и, еще более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю ее, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море — тут розоватое, там темно-синее — было дивно красиво и мощно.

— Теперь покурим! Черт вас, хохлов, растаскай! — И, покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул.— Мы дальше пойдем или тут заночуем?

Мне было лень идти дальше.

— Заночуем! — решил я.

— Ну и заночуем.— И он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплевывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

— А клюнуть денежного человека по башке — что ни говори — приятно; особенно ежели умеючи дело обставить,— неожиданно проговорил Емельян.

— Будет тебе болтать,— сказал я.

— Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести! Сорок семь лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска,— хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то — почему же мне не жить? Э? Черт вас возьми, дьяволы!

Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

— Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да не удалось малость... будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо изъявил свое согласие, и Емельян, закурив, начал:

«Было это, братец ты мой, в Полтаве... лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое — по положению. Вышел я, отсидев срок,— куда теперь? В городе знают; в другой пере-

браться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: «А ну, мол, Павел Петров, вызволи!» — «Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку,— коли они одной масти,— помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся». Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках — у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали — и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки — ах ты мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста! все прахом пошло.

Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю — ходят темные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь — Павел Петров даст за нее половину цены,— он, брат, честно платил,— сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и — ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же...

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! — Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

«Все это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук».—«Гм! как тебе сказать? — говорит.— С одной, говорит, стороны, курочка по зернышку клюет, а с другой — действительно, во всех делах у людей уважения к себе нет; вот в чем суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, я продам себя за сто рублей?» И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: «Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы, человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что».—«Гм! — говорит.— Это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например... Обаимов-то, говорит, с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на

беговых возвращается; а как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» Я задумался. Обаимов — это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. «Нужно обмозговать»,— говорю. «Не без этого»,— отвечает Павел Петров».

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой все более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то еще более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звездочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

«Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы залег, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню — в конце. Ночь — самая подходящая: темно, как в душе человеческой... Место — лучше желать не надо. Сейчас тут мост, и на самом съезде с него доски выбиты,— значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! — и баста!.. Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и все у меня готово. Раз! — и получи денежки. Так-то. Бац! — значит,— и все тут!

Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

Вижу: от города идет кто-то — пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет,— всхлипывает... Еще ближе подошел, смотрю — баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: «Милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. «Что за притча?» — думаю. А она прет прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь — куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: «За что?! за что?!»—и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что

я и сказать тебе не могу — сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее... И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и екнуло: ма-аленькая девчоночка, дите совсем — беленькая, кудряшки на щечках, глазенки большие такие — смотрят так... и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слезы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай каплять: «Кхе! кхе! кхе!» Как она крикнет: «Кто это? Кто? Кто тут?!» Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: «Это, мол, я».— «Кто вы?» — говорит. А глаза-то у самой во́ какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. «Кто вы?» — говорит».

Он засмеялся.

«Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня,— я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол, я». Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: «Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше все насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть — раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!..» — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: «Барышня, говорю, барышня!» — и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: «Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!» Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат,— вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..»

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа, я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

«Ну, а потом она встает и говорит мне: «Проводите меня домой». Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они,— ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит... Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. «Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь». —«Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам!» — «Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!» — пристает она. А я такой оборванный был, однако говорю: «Не надо, барышня». Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: «Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне...» Ну, это наплевать»,— оборвал Емельян снова, принимаясь закуривать.

«Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идет. «Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?» Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду — рраз! Крик, свист... в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую — мне все равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. «Где погуливал?» — спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него — человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему все, как и что. Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: «Вы, говорит, Емельян Павлыч,— дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!» — Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушел, и все тут.— Так-то вот было дельце, браток!»

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо — бархатное и звездное. И кругом все молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.

1893

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу,— ответил я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже сестер,— она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.

— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

—Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень,— пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной

из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже, когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

— Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему,— к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх,— впервые при них та́к убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд,— не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось

мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

— Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...

— Ты слышал...— сказал мудрец.

— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется,— что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

— Но она не твоя! — сказали ему.

— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили,— тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес,— хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон,— юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был

человеком... А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек — все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

— Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели,— странно запели. Сначала раздался контральто,— он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала и первый все лился впереди его...— третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слыхал. Никогда не слыхал...

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь,— красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье...— начал было я.

— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

— Я жила с матерью под Фальми, на самом берегу Бырлата; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке,— и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий — и усы и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

— А рыбак куда девался? — спросил я.

— Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе — и рыбака и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их

и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

— Это ты сделала? — наудачу спросил я.

— Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн,— задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

— А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила,— ничего... Но скучно стало...— всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидала... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого,— около Арцер-Паланки, помню,— ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

— Погоди!.. А где маленький турок?

— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох все... помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь... И все просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ло-

жилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он — что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

— Ну, отправилась ты в Польшу...— подсказал я ей.

— Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка,— он был маленький,— подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня,— тоже почти тень.

Она продолжала:

— В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего

не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлат, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал; пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крестнакрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя,— те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

— Знала также я и мадьяра одного. Он однажды ушел от меня,— зимой это было,— и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама

кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже,— помню,— дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко!.. Я ведь любила его, этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит,— подумала я,— не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидать... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью подползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат,— сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжко будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжко же. Пожалей же себя и его, и меня — мать!..»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он все говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и

мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки,— и, услыхав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» — сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» — спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало — помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня: «Ты воротишься туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и

думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, мóлилась.

С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад,— там были сильные и злые враги, другая — вперед, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых,— и трусливые слова стали слышны

в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе

обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими,— вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты,— сказали они,— ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— Вы сказали: «Веди!» — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью.— Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без

жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко,— кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

1894

ЧЕЛКАШ

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароходных винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань.

Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью,— к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие,— рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми,— машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов,— в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри,— слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и все кругом — казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговок разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках,— появился Гришка Челкаш, старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к черту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались,— спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи,— продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее,— ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме»,— стоял на своем Челкаш.

— С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот паговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки — здоровы? —

И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот...

— Ну, ну,— ты это брось! Ты,— не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть,— ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ Мишка,— он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и об-

ветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!..— обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый, добродушный парень с ребячьими светлыми глазами.— С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся,— цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!..— махнул рукой парень.— Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слыхал...

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет,— первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот мое дело...— говорил тот.— Отец у меня — умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля высосана,— что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятья в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! — Парень вздохнул.— А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятья идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублев два ста тяпну,— шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятья. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

— В Ту-урцию!.. — протянул парень.— Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что

его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты.

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик,— за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я... не прочь...— заговорил он.— Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека,— больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

«Макар Чудра»
Художник В. Макеев
Темпера, 1966-1967 гг.
Музей А. М. Горького. Москва.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль.

— Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг все!» — на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего

у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!..— лепетал Гаврила.— Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. На́, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно. и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается,— можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным, соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием,— длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься,— и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой-ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами

себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем,— ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!..— насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство,— охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что,— сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!..— шипел Челкаш.

— Богородице... дево...— шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш.— А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса

судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!..— безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш.— Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы коекак мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт,— какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их

все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!..— раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился пóтом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю-чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой

цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он.— Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!..— выдохнул Гаврила и крякнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, греби тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным, тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш.— Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, гладя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны!..— чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет,— кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по

туго натянутым нервам,— он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот,— но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешенные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем,— поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный. Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы...— Челкаш торжествующе оглянулся кругом.— Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеростовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина,

и все сжималося, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу,— тихо сказал он.

— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала,— и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне,— заговорил Челкаш,— придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные

играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш.— Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?..— вопросительно протянул Гаврила.— Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи...— Эх, важно бы!..— грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрохал — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь,— он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни—это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — и того ее горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого тре-

бовать уважения к себе... Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле пóтом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол!..— сказал он свирепо,— ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

— Да чудак-человек!..— снова оробел Гаврила.— Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты,— много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих.

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, всю деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, лов-

ким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово,— сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта.— Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Челкаш.

— О, сердитий пришел сегодня... Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги,— коротко сказал ему Челкаш.— А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы...— ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай!..— толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!..— широко улыбнулся наконец Гаврила.— Барином стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну, ежели бы две радужных?

— Два ста рублев, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.— Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!..— подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!..— прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман.— Э-эх-ма!.. Кабы этакие деньги!..— И он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш.— Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на́!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин...— задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!..— воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я...— Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так...— Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то страшно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш

не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну тя к черту! — махнул рукой Челкаш.— Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь... А мне — года нужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропащий ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри...— крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху.— Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы,

удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два,— другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда, за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с ним и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня...— дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай...— хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать.— Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел!— И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!..— презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову.— Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!..— взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму...— робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На́, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой!..— в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь.— За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!..— скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!..— еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

1894

«В Ы В О Д»

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо, медленно и шумно,— движется, как большая волна, а впереди ее шагает шероховатая

лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ноги ее дрожат, подгибаются, ее голова, в растрепанных темно-русых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Все тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. Она образовала красную полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная лента кожи. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах — живот чудовищно вспух и страшно посинел.

Ноги женщины, стройные и маленькие, еле ступают по серой пыли, весь корпус изгибается, и нельзя понять, почему женщина еще держится на этих ногах, сплошь, как и все ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, вися на руках, не волочится за телегой по теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик, в белой рубахе, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, свесилась прядь ярко-рыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Н-ну... ведьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!..

Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает. Бегут мальчишки... Иногда один из них забегает вперед и кричит в лицо женщины циничные слова. Взрывы смеха в толпе заглушают все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщи-

ны. Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча, и вот он захлестнулся под мышкой. Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной. Многие из толпы подскакивают к ней и скрывают ее собой, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, а избитая женщина по-прежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

«Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принять участие...»

А небо, южное небо, совершенно чисто,— ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи...

. . . . . .

Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды — нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется — «вывод». Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, и это я видел в 1891 году, 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда.

Я знал, что за измену у нас, в Заволжье, женщин обнажают, мажут дегтем, осыпают куриными перьями и так водят по улице. Знал, что иногда затейливые мужья или свекры в летнее время мажут «изменниц» патокой и привязывают к дереву на съедение насекомым. Слышал, что изредка изменниц, связанных, сажают на муравьиные кучи. И вот — видел, что все это возможно в среде людей безграмотных, бессовестных, одичавших от волчьей жизни в зависти и жадности.

1895

НА ПЛОТАХ

Пасхальный рассказ

I

...Грузные тучи медленно ползут над сонной рекой; кажется, что они спускаются все ниже и ниже; кажется, что вдали их серые лохмотья коснулись поверхности быстрых и мутных весенних волн, и там, где они коснулись воды,— встала до небес непроницаемая стена облаков, заградившая собою течение реки и путь плотам.

И волны, безуспешно подмывая эту стену, бьются о нее с тихим, жалобным рокотом, бьются и, отброшенные ею, разбегаются вправо, влево, где лежит сырая тьма весенней, свежей ночи.

Но плоты плывут вперед, а даль отодвигается пред ними в пространство, полное тяжелых облачных масс.

Берегов не видать — их скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкие волны разлива.

Река — точно море. Небо над нею окутано облаками, тяжело, сыро и скучно.

Плоты скользят по воде быстро и бесшумно, а навстречу им из тьмы выдвигается пароход, выбрасывая из трубы веселую толпу искр и глухо ударяя по воде плицами колес...

Два красных фонаря на отводах все увеличиваются, становятся ярче, а фонарь на мачте тихо покачивается из стороны в сторону и таинственно подмигивает тьме.

Пространство наполнено шумом разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглядывай! — раздается на плотах сильный грудной оклик.

У рулевых весел, на хвосте плота, стоят двое: Митя — сын сплавщика, русый, хилый, задумчивый парень лет двадцати, и Сергей — работник, хмурый, здоровый детина в рыжей бороде; из ее рамки выдаются крепкие, крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмешливо вздернутой кверху.

— Клади лево! — снова сотрясает тьму громкий крик спереди плотов.

— Знаем и сами, чего орешь? — недовольно ворчит Сергей и, вздыхая, наваливается грудью на весло.

— О-ух! Вороти крепчае, Митюк!

Митрий, упираясь ногами в сырые бревна, тянет к себе тонкими руками тяжелую жердь — руль — и хрипло кашляет.

— Гни... бери левей!.. Черти, дьяволы! — кричат спереди тревожно и озлобленно.

— Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку. Жаль было еще работника нанять кощею-снохачу. Ну, и рви теперь глотку-то!..

Сергей ворчит уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышат, и даже как бы желая этого...

Пароход мчится мимо плотов, с ропотом выметывая из-под колес пенистые волны. Бревна раскачиваются на воде, и скрученные из сучьев связи скрипят жалобным и сырым звуком.

Освещенные окна парохода смотрят на реку и плоты, как ряд огненных глаз, отражаются на взволнованной воде светлыми трепещущими пятнами и исчезают.

Волны сильно плещут на плоты, бревна прыгают, и Митрий, покачиваясь на ногах, крепко прижимается к рулю, боясь упасть.

— Ну, ну! — насмешливо урчит Сергей,— заплясал! Вот отец-то гаркнет тебе опять... А то пойдет да всадит тебе в бок-то раза́, тогда не так запляшешь! Бери право! Ой-ну! О-о!..

И упругими, как стальные пружины, руками Сергей мощно ворочает свое весло, глубоко разрывая им воду...

Энергичный, высокий, немного злой и насмешливый, он стоит так, точно прирос к бревнам босыми ногами, и в напряженной позе, готовый каждую секунду поворотить плоты, зорко смотрит вперед.

— Ишь отец-то у тебя, как обнимат Марьку-то! Ну и дьяволы же! Ни стыда, ни совести! И чего ты, Митрий, не уйдешь куда от них, чертей поганых?.. а? Слышь, что ли?

— Слышу! — вполголоса говорит Митрий, не глядя туда, где Сергей, сквозь тьму, видит его отца.

— Слышу-у! Эх ты, тюря! — дразнится Сергей и хохочет.— Дела! — продолжает он, подзадориваемый апатией Митрия.— Ну и старик — черт! Женил сына, отбил сноху и — прав! Старый галман!

Митрий молчит и смотрит назад по реке, где тоже образовалась стена густых облаков.

Теперь облака везде, и кажется, что плоты не плывут, а неподвижно стоят в этой густой и черной воде, подавленной тяжелыми темно-серыми грудами туч,— упав в нее с неба, они загородили ей путь.

Река кажется бездонным омутом, со всех сторон окруженным горами, высокими до неба и одетыми густым покровом тумана.

Кругом — томительно тихо, и вода точно ждет чего-то, слабо поплескивая на плоты. Много грусти и какой-то робкий вопрос слышится в этом бедном звуке, единственном среди ночи и еще более оттеняющем ее тишину...

— Ветру бы теперь дунуть...— говорит Сергей.— Нет, не надо ветру — ветер дождя нагонит,— возражает он сам себе, набивая трубку.

Вспыхивает спичка, слышно хрипение в засоренном чубуке, и красный огонек, то разгораясь, то угасая, освещает ныряющее во тьме широкое лицо Сергея.

— Митрий! — раздается его голос. Теперь он менее угрюм, и в нем яснее звучит насмешливая нота.

— А? — вполголоса отвечает Митрий, не отводя глаз из дали, где он пристально рассматривает что-то большими и грустными глазами.

— Как же это, брат ты мой, а?

— Чего? — отзывается Митрий недовольно.

— Женился-то?! Смехи! Как это было-то? Ну, пошли вы, значит, с женой спать? Ну, как же?!

— Эй, вы, там! По-оглядыва-ай! — угрожающе пронеслось над рекой.

— Ишь ревет, снохач анафемский! — с восхищением отмечает Сергей и снова возвращается к своей теме.—Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи, чай! а?

— Отстань, Серега! — говорил ведь! — просительно шепчет Митрий; но, должно быть, зная, что от Сергея не отвяжешься, торопливо начинает: — Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: «Не могу я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорит, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна да грех... Дети тоже... За них ответ богу дать надо...»

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громогласно хохочет.— Ну и что ж она, Марька-то? а?

— Ну... «Что же, говорит, мне делать теперь?» Плачет сидит. «Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая?» Бесстыдница она, Серега!.. «Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что ли, идти?» Я говорю: «Как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Дедушка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол?» Плачет все. «Загубили, говорит, мою девичью красоту». Жалко ее было мне. «Ничего, мол, как-нибудь обойдесся. А то, мол, в монастырь иди». Она ругаться: «Дурак ты, говорит, Митька, подлец...»

— А, б-батюшки! — восхищенным шепотом шипит Сергей.— Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал,— просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! Ах-ах и за дело! Вздуть бы еще надо! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит строго и внушительно.— Разве ты можешь супротив закону идти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты накося! Эко, выворотил корягу! В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что надо? Али монастырь? Ну и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девку погубил... полюбовницей стариковой стала — старика во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Го-олова!

— Закон-то, Сергей, в душе. Один закон про всех: не делай такого, что против души твоей, и никакого ты худа на земле не

сделаешь,— тихо и умиротворяюще проговорил Митрий, тряхнув головой.

— А ты вот сделал! — энергично возразил Сергей.— В душе! Эко, тоже... Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета полагать — нельзя. Душа, душа... Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того...

— Нет, ты это не так, Сергей! — горячо заговорил Митрий, точно вспыхнул вдруг.— Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупке она, вот что! Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе ведь бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя...

— Эй, вы! Деймоны сонные! Гляди в оба! — раскатисто загремело и поплыло по реке.

По силе звука чувствовалось, что кричит человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрик был вызван сплавщиками, а потому, что душа была полна чем-то радостным и сильным,— это радостное, сильное — просилось на волю, и вот — вырвалось в гремящем, энергичном звуке.

— Ишь как тявкнул, старый черт! — с удовольствием отметил Сергей, зорко глядя вперед.— Милуются, голубки! Завидно не бывать, Митька?

Митрий равнодушно посмотрел туда, к передним веслам, где две человеческие фигуры перебегали по плотам справа налево и, останавливаясь близко друг к другу, иногда сливались в одну плотную, темную массу.

— Не завидно? — повторил Сергей.

— Что мне? Их грех — их ответ,— тихо сказал Митя.

— Та-ак! — иронически протянул Сергей и подложил табаку в трубку. Снова во тьме заблестел красный огонек.

А ночь становилась все гуще, и серые тучи, черные, все ниже спускались над тихой, широкой рекой.

— Где ж это ты, Митрий, нахватал такой мудрости, а? Али уж у тебя это врожденное? Не в отца ты, браток. Герой у тебя отец-от. Смотри-ко — полсотни годов ему, а он какую кралечку милует! Сок один баба. И любит она его — что уж тут! Любит, брат. Нельзя не любить козыря такого. Король козырей, бардадым отец-от у тебя. Работает — любо глядеть, достаток большой; почета — хошь отбавляй, и голова на месте. Н-да. А ты вот ни в мать, ни в отца. Мить? А что бы отец-от сделал, кабы покойница Анфиса жива была? Чудно! Посмотрел бы я, как она его... Тоже баба была — бой, матка-то твоя... Под пару Силану-то.

Митрий молчал, облокотясь на весло и глядя в воду.

Сергей тоже замолчал. Спереди плотов доносился звонкий женский смех. Ему вторил басовитый смех мужчины. Затканные мглой, их фигуры были еле видны Сергею, с любопытством смотревшему на них сквозь тьму. Можно было видеть, что мужчина высок и стоит у весла, широко расставив ноги, вполоборота к кругленькой, маленькой женщине, прислонившейся грудью к другому веслу, саженях в полутора от первого. Она грозит мужчине пальцем, рассыпчато и задорно посмеиваясь. Сергей отвернулся со вздохом сокрушения и, сосредоточенно помолчав, заговорил опять:

— Эхма! И ладно же им там. Мило! Мне бы вот так-то, бобылю-шатале! Ни в жисть бы от такой бабы не ушел! Эх ты! Так бы все и мял ее в руках, не выпускал. На́, чувствуй, как люблю... Черт те! Не везет вот мне на бабу... Не любят, видно, бабы рыжих-то. Н-да. Капризная она — баба эта... А шельма! Жадна жить. Митя! Эй, спишь?

— Нет,— тихо ответил Митя.

— То-то! Как же ты, брат, жизнь проходить будешь! Ведь ежели говорить правду — один ты, как перст. Тяжело! Куда ж ты себя теперь определишь? Житья тебе настоящего на людях не найти. Смешон больно. Али это человек, который постоять за себя не умеет! Нужно, брат, зубы да когти. Всякий тебя будет забиждать. Рази ты можешь оборониться? Чем тебе оборониться? Эхе-хе! Чудён! Куда ж ты?

— Я-то? — вновь встрепенулся Митя.— Я уйду. Я, брат, осенью ныне — на Кавказ, и — кончено! Господи! Только бы скорее от вас! Бездушные! Безбожные вы люди, бежать от вас — одно спасенье! Зачем вы живете? Где у вас бог? Слово у вас одно... Али вы во Христе живете? Эх вы,— волки вы! А там иные люди, живы души их во Христе, и сердца их содержат любовь и о спасении мира страждут. А вы? Эх вы! Звери, пакость рыкающие! Есть иные люди. Видел я их. Звали меня. К ним и уйду. Книгу святого писания принесли мне они. «Читай, говорят, человек божий, брат наш любезный, читай слово истинно!..» И читал я, и обновилась душа моя от слова божия. Уйду. Брошу вас, волки безумные,— от плоти друг друга питаетесь вы. Анафема вам!

Митрий говорил это страстным шепотом и задыхался от переполнявшего его чувства презрительной злобы к безумным волкам, от жажды тех людей, души которых мыслят о спасении мира.

Сергей был ошеломлен. Он помолчал, широко открыв рот, держа в руке свою трубку, подумал, оглянулся кругом и сказал густым, угрюмым голосом:

— Ишь как взъелся!.. Злой тоже. Напрасно чёл книгу-то. Кто ё знает, какая там она? Ну... вали, вали, утекай, а то совсем

испортиться можешь. Айда! Беги, пока не озверел совсем... А что ж это за люди там, на Кавказе? Монахи? Аль, может, староверы? Они молоканы, что ли? А?

Но Митрий потух уже, так же быстро, как и вспыхнул. Он ворочал веслом, задыхаясь от усилий, и что-то шептал быстро и нервно.

Сергей долго ждал его ответа и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила мрачная, мертвенно тихая ночь, ему хотелось напомнить себе самому о жизни, будить эту тишину звуками, всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчание тяжелой массы воды, медленно лившейся в море, и уныло застывшие в воздухе неподвижные груды облаков. На том конце плота жили и его возбуждали к жизни.

Оттуда то и дело долетал то тихий, довольный смех, то отрывочные восклицания, стушеванные тишиной и тьмой этой ночи, полной запаха весны, возбуждавшего горячее желание жить.

— Брось, Митрий, куда воротишь? Ругнет старик-то, смотри,— заметил он наконец, не вынося более молчания и видя, что Митрий бесцельно буравит воду веслом. Митрий остановился, отер вспотевший лоб и замер, прислонясь грудью к веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходов чего-то... Кой час плывем, а всего один встрелся.

И, видя, что Митрий не собирается ответить, Сергей резонно объяснил сам себе:

— Это потому, что навигация еще не открылась. Начинается только еще. А живо мы сплывем в Казань-то — здорово тащит Волга. Хребет у нее богатырский — все поднимет. Ты чего стоишь? Осерчал, что ли, а, Мить? Эй!

— Ну что? — недовольно спросил Митрий.

— Ничего, чудак человек... Чего, мол, молчишь? Думаешь все? Брось. Вредно это человеку. Эх ты, мудрец, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нет,— это тебе и невдомек! Ха-ха!

И Сергей, посмеявшись, в сознании своего превосходства крепко крякнул, помолчал, засвистал было, но оборвал свист и продолжал развивать свою мысль далее:

— Думы! Али это для простого человека занятие? Вон, глянько, отец-от твой не мудрит — живет. Милует твою жену да посмеивается с ней над тобой, дураком мудрым. Так-то! Чу, как они? Ах ты, дуй их горой! Поди уже беременна Марька-то! Не бойсь, не в тебя дите-то будет. Такой же, надо полагать, ухарь, как и Силан Петров. А твоим ведь зачислится ребенок-то. Дела! Ха! «Тятька»,— скажет тебе. А ты ему, значит, не тятька, а брат

будешь. А тятька-то у него — дедушка! Эх ты, ловко! Эки пакостники! А удальцы народы! Так ведь, Митя?

— Сергей! — раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающий шепот.— Христа ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христом-богом прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя большой! Душу мою загублю я, не трожь ты меня! Богом кляну — прошу!..

Тишину ночи разорвал болезненно визгливый вопль, и Митрий, как стоял, опустился на бревна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху из угрюмых туч, нависших над черной рекой.

— Ну, ну, ну! — боязливо заворчал Сергей, поглядывая, как его товарищ метался по бревнам, точно обожженный огнем.— Чудак человек! Этакий чудак... сказал бы, чай... коли не тово тебе... не этово...

— Всю дорогу ты мучишь меня... за что? Ворог я тебе? а? ворог? — горячо шептал Митя...

— Чудак ты, брат! Ах, какой чудак! — смущенно и обиженно бормотал Сергей.— Рази я знал что? Мне твоя душа неведома, чай!

— Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой... мука лютая... свирепые вы люди! Уйду я! Навек уйду... Не в мочь мне...

— Да уходи!..— гаркнул Сергей на всю реку, подкрепил восклицание громоподобным циничным ругательством и сразу осекся, как-то съежился и присел, очевидно, тоже подавленный развернувшейся пред ним душевной драмой, не понять которой теперь — он не мог уже.

— Эй, вы! — носился над рекой голос Силана Петрова.— Что у вас? Чего лаете? а-эй?

Должно быть, Силану Петрову нравилось шуметь на реке среди тяжелого молчания своим густым и крепким басом. Окрики лились один за другим, сотрясая воздух, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедушную фигуру Митрия, уже снова стоявшего у весла. Сергей, во всю мочь отвечая хозяину, в то же время вполголоса ругал его крепкой и соленой русской руганью. Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались в одну густую ноту, сочную, как звук большой медной трубы, то, возвышаясь до фальцета, плавали в воздухе, гасли и гибли. Потом — снова стало тихо.

Сквозь разрыв в тучах на темную воду пали желтые пятна лунных лучей и, посверкав с минуту, исчезли, стертые сырой тьмой.

Плоты плыли дальше, посреди тьмы и молчания.

II

У одного из передних весел стоял Силан Петров, в красной рубахе с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, он что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению боком, и с улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно! — поворотился он к ней лицом.— Ничего. Держим прямо! О-ох! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде.— Не натужься больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает тоже ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу,— она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава те господи!

— Целую — не берегу! — передернул плечами Силан.

— И не след! — вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то, запели петухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право слово, знаю! Это Митрий жалился на нас Сережке, да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пытливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов, суровое и холодно упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить было нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.

— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклонясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крякнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал: — Иди, что ли... Не задорь...

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

— Будет уж! Светает... Видно нас с того конца.

Она попыталась оттолкнуться от него. Но он еще крепче прижал ее рукой.

— Видно? Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну что ж? Подержу ответ господу. А все ж таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя... Тяжко ему? Знаю. А мне? Али снохачом быть лестно? Хоть оно, положим, ты не жена ему... А все ж! С моим-то почетом — каково мне теперь? А перед богом не грех? Грех! Все знаю! И все преступил. Потому — сто́ит. Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно. Эх, Марья! Месяц бы мне один погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчас бы после смерти Анфисы сватов к тебе заслал — и шабаш! В законе. Без греха, без стыда. Ошибка моя была. Сгрызет она мне лет пяток-десяток, ошибка эта. Умрешь от нее раньше смерти...

— Ну ладно, брось, не тревожь себя. Было говорено про это не раз уж,— прошептала Марья и, тихонько освободившись от его объятий, подошла к своему веслу. Он стал работать порывисто и сильно, как бы желая дать исход той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Светало.

И тучи, редея, лениво расползались по небу, как бы не желая дать места всходившему солнцу. Вода реки приобрела холодный блеск стали.

— Опять он намедни толковал. «Батюшка, говорит, али это не стыд-позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то то есть,— усмехнулся Силан Петров,— брось, говорит, войди в меру».— «Сын, мол, мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку, мол, себе родил я тебя, выродка». Дрожит. «Батюшка! али, говорит, я виноват?» — «Виноват, мол, комар писклявый,— потому камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был,— хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную». Воет! Эх, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эхма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может, так и затянем друг друга.

— Это ты о чем? — робко спросила Марья, с испугом глядя на него, сурового, мощного и холодного.

— Так... Умер бы он... Вот что. Кабы умер... ловко бы! Все бы в колею вскочило. Отдал бы твоим землю, замазал бы им глотку-то, а с тобой — в Сибирь... али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документ бы такой достали... бумагу. Лавку бы открыл в деревне где. И жили бы. И грех наш перед господом замолили бы. Много ли нам надо? Помогли бы людям жить, а они бы помогли нам совесть успокоить... Хорошо? а? Маша?!.

— Да-а! — вздохнула она и крепко, зажмурив глаза, задумалась о чем-то.

Они помолчали... Журчала вода...

— Чахлый он... Может, скоро умрет,— глухо сказал Силан Петров.

— Дай-ко ты, господи, поскорее бы! — молитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

. . . . . .

Брызнули лучи весеннего солнца и заиграли на воде золотом и радугой. Дунул ветер, все дрогнуло, ожило и засмеялось. Голубое небо между туч тоже улыбалось раскрашенной солнцем воде. А тучи остались уже сзади плотов.

Там, собравшись в тяжелую, темную массу, они раздумчиво и неподвижно стояли над широкой рекой, точно выбирая путь, которым скорее уйдешь от живого солнца весны, богатого блеском и радостью, и врага им, матерям зимних вьюг, запоздавшим отступить пред весной.

Впереди плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но яркое по-весеннему, важно и красиво всходило все выше в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых волн реки.

Справа от плотов был виден коричневый горный берег в зеленой бахроме леса, слева — бледно-изумрудный ковер лугов блестел брильянтами росы.

В воздухе поплыл сочный запах земли, только что рожденной травы и смолистый аромат хвои.

Силан Петров посмотрел на задние весла.

Сергей и Митрий точно приросли к ним. Но еще трудно было, за далью, видеть выражение их лиц.

Он перевел глаза на Марью.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась в комок и стала совсем круглой. Вся облитая солнцем, она смотрела вперед задумчивыми глазами, и на ее губах играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину делает обаятельной и желанной.

«Старуха Изергиль»
Художник В. Макеев
Темпера. 1966—1967 гг.
Музей А. М. Горького. Москва.

— Поглядывай в оба, ребятушки-и! О-о!.. — во всю мочь громыхнул Силан Петров, чувствуя мощный прилив бодрости в своей широкой груди.

И от его крика все кругом как бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо.

1895

ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ

...Нас было трое приятелей — Семка Каргуза, я и Мишка — бородатый гигант с большими синими глазами, вечно ласково улыбавшимися всему и вечно опухшими от пьянства. Мы обитали в поле, за городом, в старом полуразрушенном здании, почему-то называвшемся «стеклянным заводом», может быть, потому, что в его окнах не было ни одного целого стекла. Мы брали разные работы: чистили дворы, рыли канавы, погреба, помойные ямы, разбирали старые здания и заборы и однажды даже попробовали построить курятник. Но это нам не удалось — Семка, всегда относившийся педантически честно к взятым на себя обязанностям, усомнился в нашем знакомстве с архитектурой курятников и однажды в полдень, когда мы отдыхали, взял да и снес в кабак выданные нам гвозди, две новые доски и топор работодателя. За это нас прогнали с работы; но так как взять с нас было нечего — к нам не предъявили никаких претензий. Мы перебивались «с хлеба на воду» и все трое ощущали вполне естественное и законное в таком положении недовольство нашей судьбой.

Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую в нас враждебное чувство ко всему окружающему и увлекавшее на подвиги довольно буйственные и предусмотренные «Уложением о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»; но вообще мы были меланхолично тупы, озабочены приисканием заработка и крайне слабо реагировали на все те впечатления бытия, от которых нельзя было чем-либо поживиться.

Мы все трое встретились в ночлежном доме недели за две до факта, о котором я хочу рассказать, считая его интересным.

Через два-три дня мы были уже друзьями, ходили всюду вместе, поверяли друг другу свои намерения и желания, делили поровну все, что перепадало кому-либо одному из нас, и вообще заключили между собой безмолвный оборонительный и наступательный союз против жизни, обращавшейся с нами крайне враждебно.

Мы весьма усердно отыскивали в течение дня возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать, перетаскать, и если

таковая возможность представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за работу.

Но потому, должно быть, что в душе каждый из нас считал себя предназначенным для выполнения более высших функций, чем, например, копание помойных ям или чистка их,— что еще хуже, прибавлю для непосвященных в это дело,— часа через два работы нам она переставала нравиться. Потом Семка начинал сомневаться в ее надобности для жизни.

— Копают яму... А для чего? Для помоев. А просто бы так лить на двор? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будет. Ишь ты! Помои будут пахнуть! Скажут тоже у безделья-то. Выброси, например, огурец соленый — чем он будет пахнуть, коли он маленький? Полежит день — и нет его, сгнил. Это вот ежели человека мертвого выбросить на солнце, он действительно попахнет, потому— гадина крупная.

Такие Семкины сентенции сильно охлаждали наш трудовой пыл... И это было довольно выгодно для нас, если работа была взята поденно, но при сдельной работе всегда выходило так, что плата за нее забиралась и проедалась нами ранее, чем работа была доведена до конца. Тогда мы шли к хозяину просить «прибавки»; он же в большинстве случаев гнал нас вон и грозил с помощью полиции заставить нас докончить труд, уже оплаченный им. Мы возражали, что голодные мы не можем работать, и более или менее возбужденно настаивали на прибавке, чего в большинстве случаев и достигали.

Конечно, это было непорядочно, но, право же, это было очень выгодно, и мы — ни при чем, если в жизни устроено так неловко, что порядочность поступка всегда почти стоит против выгодности его.

Пререкания с работодателями всегда брал на себя Семка и поистине артистически ловко вел их, излагая доказательства своей правоты тоном человека, измученного работой и изнывающего под тяжестью ее...

А Мишка смотрел, молчал и хлопал своими голубыми глазами, то и дело улыбаясь доброй, умиротворяющей улыбкой, как бы пытаясь сказать что-то и не находя в себе решимости. Он говорил вообще очень мало и только в пьяном виде бывал способен сказать нечто вроде спича.

— Братцы мои! — восклицал он тогда, улыбаясь, и при этом его губы странно вздрагивали, в горле першило, и он несколько времени после начала речи кашлял, прижимая горло рукой...

— Н-ну? — нетерпеливо поощрял его Семка.

— Братцы вы мои! Живем мы, как собаки... И даже не в пример хуже... А за что? Неизвестно. Но, надо полагать, по воле

господа бога. Все делается по его воле... а, братцы? Ну, вот... Значит, мы достойны собачьего положения, потому что люди мы плохие. Плохие мы люди, а? Ну, вот... Я и говорю теперь: так нам, псам, и надо. Верно я говорю? Выходит — это нам по делам нашим. Значит, должны мы терпеть нашу судьбу... а? Верно?

— Дурак! — равнодушно отвечал Семка на тревожные и пытливые вопросы товарища.

А тот виновато ежился, робко улыбался и молчал, моргая слипавшимися от опьянения глазами.

Однажды нам «пофартило».

Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку с лицом сморщенным и строгим. Голова у нее тряслась, и на совином носе попрыгивали большие очки в тяжелой серебряной оправе; она их постоянно поправляла, сверкая маленькими, сухо блестевшими глазками.

— Вы что — свободны? Работы ищете? — спросила она нас, когда мы все трое с вожделением уставились на нее.

— Хорошо,— сказала она, получив от Семки почтительный и утвердительный ответ.— Вот мне надо разломать старую баню и вычистить колодец... Сколько бы вы взяли за это?

— Надо посмотреть, барыня, какая такая будет у них, у баньки вашей, величина,— вежливо и резонно сказал Семка.— И опять же колодец... Разные они бывают. Иногда очень глубокие...

Нас пригласили посмотреть, и через час мы, уже вооруженные топорами и дрекольем, лихо раскачивали стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить колодец за пять рублей. Баня помещалась в углу старого запущенного сада. Невдалеке от нее в кустах вишни стояла беседка, и с потолка бани мы видели, что старушка сидит в беседке на скамье и, держа на коленях большую развернутую книгу, внимательно читает ее... Иногда она бросала в нашу сторону внимательный и острый взгляд, книга на ее коленях шевелилась, и на солнце блестели ее массивные, очевидно, серебряные застежки...

Нет работы спорее, чем работа разрушения...

Мы усердно возились в клубах сухой и едкой пыли, поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая глаза; баня трещала и рассыпалась, старая, как ее хозяйка...

— Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о! — командовал Семка, и венец за венцом, кряхтя, падал на землю.

— Какая бы это у нее книга? Толстенная такая,— задумчиво спросил Мишка, опираясь на стяг и отирая ладонью пот с лица. Мгновенно превратившись в мулата, он поплевал на руки, размахнулся стягом, желая всадить его в щель между бревнами, вса-

дил и добавил также задумчиво: — Ежели евангилье — больно толсто будто...

— А тебе что? — полюбопытствовал Семка.

— Мне-то? Ничего... Люблю я послушать книгу... священную ежели... У нас в деревне был солдат Африкан, так тот, бывало, как начнет псалтырь честь... ровно барабан бьет... Ловко читал!

— Ну, так что ж? — снова спросил Семка, свертывая папироску...

— Ничего... Хорошо больно... Хоть оно непонятно... а все-таки слово этакое... на улице ты его не услышишь... Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово для души.

— Непонятно, ты говоришь... а все-таки видно, что глуп ты, как пень лесной...— передразнил Семка товарища.

— Известно... ты всегда ругаешься...— вздохнул тот.

— А с дураками как говорить? Разве они могут что понимать? Валяй-ка вот эту гнилушину... о-о!

Баня рассыпалась, окружаясь обломками и утопая в тучах пыли, от которой листья ближайших деревьев уже посерели. Июльское солнце не щадило наших спин и плеч, распаривая их...

— А книга-то в серебре,— снова заговорил Мишка.

Семка поднял голову и пристально посмотрел в сторону беседки.

— Похоже,— кратко изрек он.

— Значит, евангилье...

— Ну, и евангилье... Так что?

— Ничего...

— Этого добра у меня полны карманы. А ты бы, коли священное писание любишь, пошел бы да и сказал ей: почитайте, мол, мне, бабушка. Нам, мол, этого взять неоткуда... В церкви мы, по неприличности и грязноте нашей, не ходим... а душа, мол, у нас тоже... как следует... на своем месте... Подь-ка, ступай!

— А и впрямь... пойду?

— И пойди...

Мишка бросил стяг, одернул рубаху, размазал ее рукавом пыль по роже и спрыгнул с бани вниз.

— Турнет она тебя, лешмана...— проворчал Семка, скептически улыбаясь, но с крайним любопытством провожая фигуру товарища, пробиравшегося среди лопухов к беседке. Он, высокий, согнувшийся, с обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу и задевая за кусты, тяжело двигался вперед и улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову навстречу подходившему босяку и спокойно мерила его глазами.

На стеклах ее очков и на их серебряной оправе играли лучи солнца.

Она не «турнула» его, вопреки предположению Семки. Нам не слышно было за шумом листвы, о чем говорил Мишка с хозяйкой; но вот мы видим, что он грузно опускается на землю к ногам старухи, и так, что его нос почти касается раскрытой книги. Его лицо степенно и спокойно; он — мы видим — дует в свою бороду, стараясь согнать с нее пыль, возится и наконец усаживается в неуклюжей позе, вытянув шею вперед и выжидающе рассматривая сухие маленькие руки старушки, методично перевертывающие листы книги.

— Ишь ты... лохматый пес!.. Отдых себе сделал... Айда — и мы? Чего так-то? Он там будет проклаждаться, а мы — ломи за него. Айда?

Через две-три минуты мы с Семкой тоже сидели на земле по бокам нашего товарища. Старушка ни слова не сказала встречу нам, она только посмотрела на нас пристально и снова начала перекидывать листы книги, ища в ней чего-то... Мы сидели в пышном зеленом кольце свежей пахучей листвы, над нами было раскинуто ласковое и мягкое безоблачное небо. Иногда пролетал ветерок, листья начинали шелестеть тем таинственным звуком, который всегда так смягчает душу, родит в ней тихое, умиротворяющее чувство и заставляет задумываться о чем-то неясном, но близком человеку, очищая его от внутренней грязи или по меньшей мере заставляя временно забывать о ней и дышать легко и ново...

— «Павел, раб Иисуса Христа...» — раздался голос старушки. Он старчески дребезжал и прерывался, но был полон благочестия и суровой важности. При первых звуках его Мишка истово перекрестился, Семка заерзал по земле, выискивая более удобную позу. Старушка окинула его глазами, не переставая читать.

— «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешаться с вами верою общею, вашею и моею».

Семка, как истинный язычник, громко зевнул, его товарищ укоризненно вскинул на него синими глазами и низко опустил свою лохматую голову, всю в пыли...

Старушка, не переставая читать, тоже строго взглянула на Семку, и это его смутило. Он повел носом, скосил глаза и — должно быть, желая изгладить впечатление своего зевка — глубоко и благочестиво вздохнул.

Несколько минут прошли спокойно. Вразумительное и монотонное чтение действовало успокоительно.

— «Ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и...»

— Что тебе нужно? — вдруг крикнула чтица на Семку.

— А... а ничего! Вы извольте читать,— я слушаю! — смиренно объяснил он.

— Зачем ты трогаешь застежки своей грязной ручищей? — сердилась старушка.

— Любопытно... потому — работа очень уж тонкая. А я это понимаю — слесарное дело мне известно... Вот я и пощупал.

— Слушай! — сухо приказала старушка.— Скажи мне — о чем я тебе читала?

— Это — извольте. Я ведь понимаю...

— Ну, говори...

— Проповедь... стало быть, поучение насчет веры, а также и нечестия... Очень просто и... все верно! Так за душу и щиплет!

Старушка печально потрясла головой и оглядела всех нас с укором.

— Погибшие... Камни вы... Ступайте работать!

— Она тово... рассердилась будто бы? — виновато улыбаясь, заявил Мишка.

А Семка почесался, зевнул и, посмотрев вслед хозяйке, не оборачиваясь удалявшейся по узкой дорожке сада, задумчиво произнес:

— А застежки-то у книжицы серебряные...

И он улыбнулся во всю рожу, как бы предвкушая что-то.

Переночевав в саду около развалин бани, уже совершенно разрушенной нами за день, к полудню другого дня мы вычистили колодец, вымочились в воде, выпачкались в грязи и в ожидании расчета сидели на дворе у крыльца, разговаривая друг с другом и рисуя себе сытный обед и ужин в близком будущем; заглядывать же в более отдаленное — никто из нас не имел охоты...

— Ну, какого черта старая ведьма не идет еще,— нетерпеливо, но вполголоса возмущался Семка.— Подохла, что ли?

— Эк он ругается! — укоризненно покачал головой Мишка.— И чего, например, ругается? Старушка — настоящая — божья. А он ее ругает. Этакий характер у человека...

— Рассудил...— усмехнулся его товарищ.— Пугало... огородное...

Приятная беседа друзей была прервана появлением хозяйки. Она подошла к нам и, протягивая руку с деньгами, презрительно сказала:

— Получите и... убирайтесь. Хотела я вам отдать баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.

Не удостоенные чести распилить баню, в чем, впрочем, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли деньги и пошли.

— Ах ты, старая кикимора! — начал Семка, чуть только мы вышли за ворота.— Накося! Не стоим! Жаба дохлая! Ну-ка, вот скрипи теперь над своей книгой...

Сунув руку в карман, он выдернул из него две блестящие металлические штучки и, торжествуя, показал их нам.

Мишка остановился, любопытно вытягивая голову вперед и вверх к поднятой руке Семки.

— Застежки отломал? — спросил он удивленно...

— Они самые... Серебряные!.. Кому не надо — рубль даст.

— Ах ты! Когда это ты? Спрячь... от греха...

— И спрячу...

Мы молча пошли дальше по улице.

— Ловко...— задумчиво говорил Мишка сам себе.— Взял да и отломил... Н-да... А книга-то хорошая... Старуха... обидится, чай, на нас...

— Нет... что ты! Вот она нас позовет назад, да на чай даст...— трунил Семка.

— А сколько ты за них хошь?

— Последняя цена — девять гривен. Ни гроша не уступлю... себе дороже... Видишь — ноготь сломал!

— Продай мне...— робко спросил Мишка.

— Тебе? Ты что — запонки хочешь завести себе?.. Купи, хаарошие запонки выйдут... как раз к твоей харе.

— Нет, право, продай! — И Мишка понизил тон просьбы...

— Купи, говорю... Сколько дашь?

— Бери... сколько там есть на мою долю?

— Рубль двадцать...

— А тебе сколь за них?..

— Рубль!

— Чай, уступи... для друга!..

— Дура нетрепанная! На кой те их дьявол?

— Да уж ты продавай знай...

Наконец торг был заключен, и застежки перешли за девяносто копеек в руки Мишки.

Он остановился и стал вертеть их в руках, наклонив кодластую голову и наморщив брови и пристально рассматривая два кусочка серебра.

— Нацепи их на нос себе...— посоветовал ему Семка.

— Зачем? — серьезно возразил Мишка.— Не надо. Я их старушке стащу. Вот, мол, мы, старушка, нечаянно захватили эти штуковины, так ты их... опять пристрой к месту... к книге этой самой... Только ты вот их с мясом выдрал... это как теперь?

— Да ты, черт, взаправду понесешь? — разинул рот Семка.

— А как?.. Видишь ты, такая книга... нужно, чтоб она в полной целости была... ломать от нее куски разные не годится... И старушка тоже... обидится... А ей умирать надо... Вот я и того... Вы меня, братцы, подождите с минутку... а я побегу назад...

И раньше, чем мы успели удержать его, он крупными шагами исчез за поворотом улицы...

— Ну, и мокрица-человек! Жиделяга грязная! — возмутился Семка, поняв суть факта и его возможные последствия.

И, отчаянно ругаясь через два слова в третье, он начал убеждать меня:

— Айда, скорей! Провалит он нас... Теперь сидит, чай, поди, руки у него назад... А старая карга уж и за будочником послала!.. Вот те и водись с этаким пакостником! Да он ни за сизо перышко в тюрьму тебя вопрет! Нет, каков мерзавец-человек?! Какая, подлой души, тварь с товарищем так поступить может?! Ах ты, господи! Ну, и люди стали! Айда, черт, чего ты растяпился! Ждешь? Жди, черт вас всех, мошенников, возьми! Тьфу, анафема! Не идешь? Ну так...

Посулив мне нечто невероятно скверное, Семка ожесточенно ткнул меня кулаком в бок и быстро пошел прочь...

Мне хотелось знать, что делает Мишка с нашей бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился к ее дому. Мне не думалось, что я подвергаюсь какой-либо опасности или неприятности.

И я не ошибся.

Подойдя к дому и приложившись глазом к щели в заборе, я увидел и услышал только следующее: старуха сидела на ступеньках крыльца, держала в руках «выдранные с мясом» застежки своей библии и через очки пытливо и строго смотрела в лицо Мишки, стоявшего ко мне задом...

Несмотря на строгий и сухой блеск ее острых глаз, по углам губ у нее образовалась мягкая складка кожи; видно было, что старушка хочет скрыть добрую улыбку,— улыбку прощения.

Из-за спины старухи смотрели какие-то три рожи: две женские, одна красная с повязанным пестрым платком, другая простоволосая, с бельмом на левом глазу, а из-за ее плеч высовывалась физиономия мужчины, клинообразная, в седых бачках и с вихром на лбу... Она то и дело странно подмаргивала обоими глазами, как бы говоря Мишке: «Утекай, брат, скорей!»

Мишка мямлил, пытаясь объясниться:

— ...Такая редкостная книга. Вы, говорит, все — скоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи — верно! Так надо говорить

по правде... сволочи мы и окаянные люди... подлецы! И опять же, думаю: барыня — старушка, может, у ней и утеха одна, что вот книга — да и все тут... Теперь застежки... много ли за них дадут? А ежели при книге, то они — вещь! Я и помыслил... дай-ка, мол, я обрадую старушку божию, отнесу ей вещь назад... К тому же мы, слава те господи, заработали малу толику на пропитание. Счастливо оставаться! Я уж пойду.

— Погоди! — остановила его старуха.— Понял ты, что я вчера читала?..

— Я-то? Где мне понять! Слышу — это так... да и то — как слышу? Разве у нас уши для слова божия? Нам оно непонятно... Прощевайте...

— Та-ак! — протянула старуха.— Нет, ты погоди...

Мишка тоскливо вздохнул на весь двор и по-медвежьи затоптался на месте. Его уже, очевидно, тяготило это объяснение...

— А хочешь ты, чтоб я еще почитала тебе?

— Мм... товарищи ждут...

— Ты плюнь на них... Ты хороший малый... брось их.

— Хорошо...— тихо согласился Мишка.

— Бросишь? Да?

— Брошу...

— Ну, вот... умница!.. Совсем ты дитя... а борода вон какая... до пояса почти... Женат ты?..

— Вдовый... померла жена-то...

— А зачем ты пьешь? Ведь ты пьяница?

— Пьяница... пью.

— Зачем?

— Пью-то? По глупости пью. Глуп, ну и пью. Конечно, ежели бы человеку ум... да рази бы он сам себя портил? — уныло говорил Мишка.

— Верно рассудил. Ну вот, ты и копи ум... накопи, да и поправься... ходи в церковь... слушай божие слово... в нем вся мудрость.

— Оно, конечно...— почти простонал Мишка.

— А я еще почитаю тебе... хочешь?..

— Извольте...

Старуха достала откуда-то из-за себя библию, порылась в ней, и двор огласился ее дрожащим голосом:

— «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же!»

Мишка тряхнул головой и почесал себе левое плечо.

— «...Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда божия?»

— Барыня! — плачевно заговорил Мишка,— отпустите меня для бога... Я вдругорядь лучше приду послушаю... а теперь больно мне есть хочется... так те вот и пучит живот-от... С вечера мы не емши...

Барыня сильно хлопнула книгой.

— Ступай! Иди! — отрывисто и резко прозвучало на дворе.

— Покорнейше благодарим!..— И он чуть не бегом направился к воротам.

— Нераскаянные души... Звериные сердца,— шипело по двору вслед ему...

Через полчаса мы с ним сидели в трактире и пили чай с калачом.

— Как буравом она меня сверлила...— говорил Мишка, ласково улыбаясь мне своими милыми глазами.— Стою я и думаю... Ах ты, господи! И зачем только пошел я? На му́ку пошел... Где бы ей взять у меня эти застежки, да и отпустить меня,— она разговор затеяла. Экий народ-чудак! С ними хочешь по совести поступать, а они свое гнут... Я по простоте души говорю ей: вот те, барыня, твои застежки, не жалуйся на меня... а она говорит: нет, погоди, ты расскажи, зачем ты их мне принес? И пошла жилы из меня тянуть... Я даже взопрел от ее разговору... право, ей-богу.

И он все улыбался своей бесконечно кроткой улыбкой...

Семка, надутый, взъерошенный и угрюмый, серьезно сказал ему:

— Умри ты лучше, пень милый! А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съедят...

— Ну уж! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте по стакашку... за окончание дела!

И мы дружно выпили по стакашку за окончание этого курьезного дела.

1895

КОНОВАЛОВ

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину.

По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми.— Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими, толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать,— было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил; хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат,— сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной

улыбкой,— ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся! — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь!.. — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Наработался, значит...— с горечью мотнул головой солдат.— Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись,— не возьмут! Нигде не возьмут...

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Лёса?

— Совсем,— отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный,— говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак.

— Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он.— Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну,— не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное, бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай,— и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я.— Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке. Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так

жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши!

— Изволь. Она кто?..

— Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр».

— Гм...— сказал Коновалов, почесав голову,— а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший,— мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она,— совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — по-

годи!» И все у меня было готово, деньги и все... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты,— спросил я его,— жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет,— может, человеком будет.

— Она с тобой хочет жить...

— Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожишь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет; и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого роду была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с этаким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Он спит,

а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили,— бывало, поедем с ней кататься,— во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня».— «Прощай, говорит, Саша». И — чудна́я — обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти,— недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благород-

ных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди,— это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего,— он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду,— так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают — видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на́ стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее,—едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь серые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату,— я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, влагавшего всю душу в работу свою,— как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И, ежели петь начну,— затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты,— штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто

и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а?..— попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами — у меня до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шепотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шепотом заговорил он.— На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмурив брови, изредка кротко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одервенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— То есть как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

— И — что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но — увы! — она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил он.— Написал человек книгу... бумага и на ней точечки разные — вот и все. Написал и... умер он?

— Умер,— сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь:

жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки,— вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям.— Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после,— решил Коновалов.— Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И вольют тоску в книги... Это уж не помогает, потому — сердце тронуто, из него тоски огнем не выжжешь... Остается — водкой ее заливать. Ну, и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде,— продолжал он развивать психологию сочинителей,— следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например,— что такое? Босяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет,—понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше?— допытывался я.

— Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне,— мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком — потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

— Погоди,— сказал я,— ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет,— ты грамотный... Оно, пожалуй,— ежели взять других,— так верно... А вот ежели я...

— То что?

— Ну, я — особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит — во мне самом что-то неладно... Не так

я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще не виданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости,— они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка,— хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов,— из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили все жарче.

— Да погоди,— кричал я,— как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудак-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Почитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне — которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой,— он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам,— теперь потемневшим и суженным,— исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай,— тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидел это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул на пол...»

— Будет!.. К черту!— крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу.— Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей пред нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне.— А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменая,— ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось — незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой пле-

сени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции,— стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по каравaю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот,— выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Лёса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

— Верно,— соглашается рассказчик.— А все-таки ты это к чему головой качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся

на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают,— значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал,— говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред ними, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлибкие и решительно неспособные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по нескольку часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролю-

биво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы...

Как всё, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините...

— Кого нужно? — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых, красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к гостье.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело!— торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра, но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чаянии видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

— Ничего...— уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки?..— настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе.— Все-таки... все-таки... Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» — и прочее такое, очень многое... А она: «Запой — наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не

«Челкаш»

Художник А. Пластов
Акварель. [1928 г.]
Музей А. М. Горького. Москва.

могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт!..» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? — спросил я.

— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрязает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решился. Какие резоны были! Мог бы и с приданым и... все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он,— пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, черт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймаешь, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он.— Я вот как возьму, да... а что, в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него.— Плохо метила. А уж бы...

— П'дё-ем! — рычал зверский бас.— П'дё-ем, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дё-ем! — лопотал бас.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай...— следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидал Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал:

— П'дё-ем!..

— Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеялась я... насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

— Я не спрятался...— подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов.— Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел: добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дё-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, черт, поверила...— рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспомнил отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Все!..— как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня!..— с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник.— В полицию попала... пьяная... с каким-то чертом. Скоро как порешила! — Он глубоко

вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дё-ем!..» — все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он.— Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов.— Эхма! Ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я — скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Затем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне

краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком,— медленно заговорил Коновалов.— А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренство... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.

— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? — встрепенулся он.— С Капкой? Шабаш...— Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлебы, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, перевертывает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь...— смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который вначале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки.— Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

— Максим!..

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж... Будет тебе...

— Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправе она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю... Вправе...— уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом...— попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие

принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

— Это чепуха!..

— Нет, верно!..— убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

— Саша, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается,— объяснил он.— Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг... совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?.. Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя... Слыхал я это... Тут не в жизни дела, а в человеке. Первое дело — человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться, как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле,— вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать...

— А может, оправится?!.

— Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегдатаи — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежа... Дня на три хватит всего. Все пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший,— сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень непременной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим... и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня.— Ну-ка, книжник и фарисей,— тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда,— сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить?..— Он засмеялся.— Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это,— может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне делать? Ведь я чувствую, все чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую — и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ,— ученый, черт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысойка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего неизвестно... Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-уходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал,— было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его

земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму,— все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку.— Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах, и тошно мне, тошно мне... то-о-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов.— Пей! Отводи душу — дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности,— одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренне, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там

начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском,— большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению сооружать,— стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору,— то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море,— так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремястами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли.

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких курт-

ках и в шароварах, узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастием губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы — сравнительно с работой на тачках и с киркой — более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ище дерни. Сто-ой! П'шел!..

Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик.— Заржали!..

— Митрич,— лопнешь!..— предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил

с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой...— он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже — солдат, по роже — студент. Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольст-

вием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну — бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» — «Надо быть, ты, коли признаешь».—«Должно, я, говорит; ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпороли. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная». Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с дитей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну я бы дикого утопил — на кой черт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три, да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... мы не в бараке, а тут

поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русых кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно-уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительства». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пілтавы»,— задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продол-

жал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно — ласковое такое... Хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдали уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься,— убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею.— И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхоличный звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

— Костер бы...— сказал он, покашливая.

— Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она, жизнь, вот как мы...

— Ого,— тряхнул головой хохол,— коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь...— Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да,— смутился тот,— зима — треклятое время. Для зимы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины

видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне...— спрашивал Коновалов,— почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее?.. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек,— удивился хохол.— Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно...— грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать,— с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам,— так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А поляжемте спать,— предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов, как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...

1896

ОЗОРНИК

По большой, светлой комнате редакции «N-ской газеты» нервно бегал взволнованный, гневный редактор и, тиская в руках свежий номер, отрывисто кричал и ругался. Редактор был маленький, с острым худым лицом, украшенным бородкой и золотыми очками. Топая ножками в серых брюках, он кружился подле длинного стола среди комнаты, заваленного скомканными

газетами, корректурными гранками и клочьями рукописей. У стола, облокотясь на него одной рукой, а другой потирая лоб, стоял издатель — высокий, полный блондин средних лет — и, с тонкой усмешкой на белом сытом лице, следил за редактором светлыми глазами. Метранпаж, угловатый человек с желтым лицом и впалой грудью, в коричневом сюртуке, очень грязном и не по росту длинном, робко жался к стене. Он поднимал брови кверху и таращил глаза в потолок, как бы что-то вспоминая или обдумывая, а через минуту разочарованно потягивал носом и уныло опускал голову на грудь. В дверях торчала фигура редакционного рассыльного; то и дело отталкивая его, входили и снова исчезали какие-то люди с озабоченными и недовольными лицами. Голос редактора — злой, раздраженный и звонкий — иногда поднимался до взвизгиваний и заставлял издателя морщиться, а метранпажа — испуганно вздрагивать.

— Нет... это такая подлость! Я уголовное преследование возбужу против этого мерзавца... Корректор пришел? Черт возьми,— я спрашиваю — пришел корректор? Собрать сюда всех наборщиков! Сказали? Нет, вы только сообразите, что теперь будет! Все газеты подхватят... Ср-рам! На всю Россию... Я не спущу этому мерзавцу!

И, подняв руки с газетой к голове, редактор замер на месте, как бы желая обернуть газетой голову и тем защитить ее от ожидаемого срама.

— Вы прежде найдите его,— сухо усмехаясь, посоветовал издатель.

— Н-найду-с! Н-найду! — сверкнул глазами редактор, снова пускаясь в бег, и, прижав газету к груди, начал ожесточенно теребить ее.— Найду и упеку... Да что же этот корректор?.. Ага... Вот... Ну-с, прошу пожаловать, милостивые государи! Гм!.. Смиренные командиры свинцовых армий... Проходите-с...

Один за другим в залу входили наборщики. Они уже знали, в чем дело, и каждый из них приготовился к роли обвиняемого; они единодушно изображали на своих чумазых лицах, пропитанных свинцовою пылью, полную неподвижность и какое-то деревянное спокойствие. Редактор остановился перед ними, закинув руки с газетой за спину. Он был ниже их ростом, и ему пришлось поднять голову кверху, чтобы взглянуть им в лица. Он сделал это движение слишком быстро, и очки вдруг вскочили ему на лоб; думая, что они падают, он взмахнул в воздухе рукой, ловя их, но в этот момент они снова упали на переносье.

— Черт вас,— скрипнул он зубами.

На чумазых рожах наборщиков засияли счастливые улыбки. Кто-то подавленно засмеялся.

— Я вас призвал сюда не затем, чтобы вы зубы ваши показывали мне! — озлобленно крикнул редактор, бледнея.— Кажется, достаточно оскандалили газету... Если среди вас есть честный человек, который понимает — что такое газета, пресса... он скажет, кто это устроил... В передовой статье...— Редактор стал нервно развертывать газету.

— Да в чем дело-то? — раздался голос, в котором не слышно было ничего, кроме простого любопытства.

— А! Вы не знаете? Ну вот извольте... вот... «Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметом горячего обсуждения... то есть говорения глупой ерунды и чепухи!..» Вот! вы довольны? Не угодно ли будет тому, кто добавил эти «говорения»...— и главное — говорения! как это грамотно и остроумно! — ну-с, кто же из вас автор этой «глупой ерунды и чепухи»?..

— Статья-то чья? Ваша? Ну, вы и автор всего, что в ней нагорожено,— раздался тот же спокойный голос, который и раньше спрашивал редактора.

Это было дерзостью, и все невольно предположили, что виновник события найден. В зале произошло движение; издатель подошел ближе к группе, редактор поднялся на цыпочки, желая взглянуть через головы наборщиков в лицо говорившему. Наборщики раздвинулись. Пред редактором стоял коренастый малый, в синей блузе, с рябым лицом и вьющимися кверху вихрами на левом виске. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы штанов, и, равнодушно уставив на редактора серые, злые глаза, чуть-чуть улыбался из курчавой русой бороды. Все смотрели на него — издатель сурово нахмурив брови, редактор с изумлением и гневом, метранпаж сдержанно улыбаясь. Лица наборщиков изображали и плохо скрытое удовольствие, и испуг, и любопытство...

— Это... вы и есть? — спросил наконец редактор, указывая пальцем на рябого наборщика, и многообещающе сжал губы.

— Я... — ответил тот, усмехнувшись как-то особенно просто и обидно.

— А-а!.. весьма приятно! Так это вы? Зачем же вы вставили, позвольте узнать...

— Да я разве сказал, что вставил? — И наборщик посмотрел на своих товарищей.

— Это он, наверное, Митрий Павлович,— обратился к редактору метранпаж.

— Ну я, так я,— не без некоторого добродушия согласился наборщик, махнув рукой.

Опять все замолчали. Никто не ожидал такого скорого и спокойного признания. Гнев редактора сменился на минуту изум-

лением. Пространство вокруг рябого стало шире, метранпаж быстро отошел к столу, наборщики расступились...

— Ты ведь это нарочно, с намерением? — спросил издатель, оглядывая рябого круглыми глазами.

— Извольте отвечать! — крикнул редактор, взмахивая смятой газетой.

— Не кричите... не боюсь! Многие на меня кричали, да без толку всё!..— И в глазах наборщика сверкнул ухарский, наглый огонек.— Точно...— продолжал он, переступив с ноги на ногу и обращаясь уже к издателю,— я это с намерением подставил слова...

— Слышите? — обратился редактор к публике.

— Да что же ты такое в самом деле, чертова ты кукла! — взбесился вдруг издатель.— Понимаешь ли ты, сколько ты вреда мне сделал?

— Вам-то ничего... еще, чай, розничную продажу увеличил. А вот господину редактору — действительно... не особенно по губе этакая штучка.

Редактор точно окаменел от негодования; он стоял перед этим спокойным и злым человеком и молча сверкал глазами, не находя слов для выражения волновавших его чувств.

— А ведь тебе за это, брат, худо будет! — злорадно протянул издатель и вдруг, смягчившись, ударил себя рукой по колену.

В сущности, он был доволен и происшествием и дерзким ответом рабочего: редактор относился к нему всегда несколько высокомерно, не стараясь скрывать сознания своего умственного превосходства, и вот теперь он, этот самолюбивый и самоуверенный человек, повержен во прах и — кем?

— За эту твою дерзость мы тебе, душа, воздадим!..— добавил он.

— Да уж, наверно, не спустите,— согласился наборщик.

Этот тон и эти слова опять произвели впечатление. Наборщики переглянулись друг с другом, метранпаж поднял брови и как-то съежился, редактор отступил к столу и, опершись на него руками, более растерянный и обиженный, чем гневный, пристально смотрел на своего врага.

— Зовут тебя как? — спросил издатель, вынув из кармана записную книжку.

— Николка Гвоздев! — быстро объявил метранпаж.

— А ты, Иуда, молчи, когда тебя не спрашивают,— сурово взглянув на метранпажа, сказал наборщик.— У меня свой язык есть, я сам за себя отвечу... Зовут меня Николай Семенович Гвоздев... Жительство...

— Найдем! — пообещал издатель.— А теперь убирайся к черту! Все идите!..

Громко топая, наборщики пошли вон. Гвоздев шел сзади всех.

— Постой... позволь...— сказал редактор тихо, но ясно и протянул руку вслед Гвоздеву.

Гвоздев обернулся к нему, ленивым движением прислонился к косяку двери и, покручивая бородку, уставился в лицо редактора дерзкими глазами.

— Я тебя вот о чем спрошу,— начал редактор. Он хотел быть спокойным, но это не удавалось ему: голос его срывался, переходил в крик.— Ты сознался... что, делая этот скандал... имел в виду меня. Да? Значит, это что же? — месть мне? Я тебя спрашиваю — за что? Ты понимаешь это? Можешь ты мне ответить?

Гвоздев передернул плечами, скривил губы и, опустив голову, помолчал с минуту. Издатель нетерпеливо притоптывал ногой, метранпаж вытянул вперед шею, а редактор кусал губы и нервно хрустел пальцами. Все ждали.

— Я, пожалуй, скажу... Только, как я необразованный человек, то, пожалуй, непонятно будет... Ну, уж извините тогда!.. Вот, стало быть, в чем дело. Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... Не умею я сказать вам все это подробно — грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что речи ведете каждый день... Ну, вот я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочего толкуете... а я все читаю... И противно мне читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова бесстыжие, Митрий Павлыч!.. Потому что вы пишете — не грабь, а в типографии-то у вас что? Кирьяков на прошлой недели работал три с половиной дня, выработал три восемь гривен и захворал. Жена приходит в контору за деньгами, а управляющий ей говорит, что не ей дать, а с нее нужно рубль двадцать получить — штрафу. Вот те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И как управляющий лается и мальчишек дует за всякую малость?.. Вам этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Пишете, что людям плохо жить на свете,— и потому вы, я вам скажу, все это пишете, что ничего больше делать не умеете. Вот и все... И потому под носом у себя вы никаких зверств не видите, а про турецкие зверства очень хорошо рассказываете. Разве это не пустяки — статьи-то ваши? Давно уж мне хотелось, стыда вашего ради, истинные слова в ваши статьи вклеить. И не так бы еще надо.

Гвоздев гордо выпятил грудь, высоко поднял голову и, не скрывая своего торжества, в упор смотрел на редактора. А ре-

дактор плотно прижался к столу, вцепившись в него руками, откинулся назад и то бледнел, то краснел и все улыбался презрительно, смущенно и болезненно. Широко открытые глаза его часто моргали.

— Социалист? — с боязнью и интересом спросил издатель, вполголоса обращаясь к редактору. Тот улыбнулся, но ничего не ответил, склонив голову.

Метранпаж ушел к окну, где стояла кадка с филодендроном, бросавшая на пол комнаты теневой узор, стал за кадку и смотрел оттуда на всех маленькими черными и подвижными, как у мыши, глазами. В них было какое-то нетерпеливое ожидание и порой вспыхивал радостный огонек. Издатель смотрел на редактора. Тот почувствовал это, поднял голову и с беспокойным блеском в глазах, с нервной дрожью в лице крикнул вслед уходившему Гвоздеву:

— Позвольте... постойте! Вы оскорбили меня. Но вы не вправе... я надеюсь, вы это чувствуете? Я благодарен вам за... в-вашу... прямоту, с которой вы высказались, но, повторяю...

Он хотел говорить с иронией, но вместо иронии в словах его звучало что-то бледное и фальшивое, и он сделал паузу, желая настроить себя к отпору, достойному и его и этого судьи, о праве которого судить его, редактора, он никогда еще не думал.

— Известно! — качнул головой Гвоздев.— Тот только и прав, кто много сказать может.

И, стоя в дверях, он оглянулся вокруг себя с таким выражением на лице, которое ясно показывало его нетерпеливое желание уйти отсюда.

— Нет, позвольте! — повышая тон и поднимая руку кверху, заявил редактор.— Вы выдвинули против меня обвинение, а раньше этого самовольно наказали меня за мою якобы вину пред вами... Я имею право защищаться, и я прошу вас слушать.

— Да вам какое до меня дело? Вы перед издателем защищайтесь, коли нужно. А со мной-то о чем говорить? Обидел я вас, так к мировому тащите. А то — защищаться! — Он круто поворотился и, заложив руки за спину, пошел.

На ногах у него были тяжелые сапоги с большими каблуками, он громко стучал ими, и шаги его гулко раздавались в большой, сараеобразной комнате редакции.

— Вот так история с географией! — воскликнул издатель, когда Гвоздев захлопнул за собою дверь.

— Василий Иванович, я тут ни при чем, в этом деле...— заговорил метранпаж, виновато разводя руками, и осторожными коротенькими шагами подошел к издателю.— Я верстаю набор

и никак не могу знать, что мне дежурный сунет. Я-с целую ночь на ногах... нахожусь здесь, а дома у меня жена хворает, дети без присмотра... трое... Я, можно сказать, кровью истекаю за тридцать рублей в месяц-то... А Федору Павловичу, когда они нанимали Гвоздева, я говорил: «Федор Павлович, говорю, я Николку с мальчишек знаю и должен вам сказать, что Николка озорник и вор, без совести человек. Его уже у мирового судили, говорю, сидел в тюрьме даже...»

— За что сидел? — задумчиво спросил редактор, не глядя на рассказчика.

— За голубей-с... то есть не за голубей, а за взломы замков. В семи голубятнях сломал замки в одну ночь-с... и все охоты выпустил на волю — всю птицу разогнал-с! И у меня тоже пара смурых, один турман с игрой да скобарь так и пропали. Очень ценные птицы.

— Украл? — любопытно осведомился издатель.

— Нет, этим не балуется. Судился и за воровство, да оправдали. Так он — озорник... Распустил птицу и рад, надсмехается над нами, охотниками... Били уж его не однажды. Раз после битья в больнице даже лежал... А вышел — у кумы моей в печи чертей развел.

— Чертей? — изумился издатель.

— Чушь какая! — пожал плечами редактор, наморщив лоб, и, снова кусая губы, задумался.

— Это совершенная истина, только сказал не так,— сконфузился метранпаж.— Он, видите, печник, Николка-то. Он на все руки: по литографской части смекает, гравер, водопроводчиком был тоже... Так вот кума — у нее свой дом, она из духовного звания — и наняла его печь переложить. Ну, он переложил, все как следует; но только, подлый человек, в стену-то печи вмазал бутылку со ртутью и с иголками... и еще чего-то кладется там. От этого происходит звук — особый этакий, знаете, как бы стон и вздох, и тогда говорят — черти в доме завелись. Печь-то вытопят, ртуть в бутылке нагреется и пойдет там бродить. А иголки по стеклу скребут, точно зубом кто скрипит. Кроме иголок, еще разные железины в ртуть кладут, и от них тоже разные звуки — иголка по-своему, гвоздь по своему, и выходит этакая чертовская музыка... Кума даже продать хотела дом, да никто не покупает,— кому понравится с чертями-с? Три молебна с водосвятием служила — не помогает. Ревет женщина, дочь у нее невеста, кур голов до ста, две коровы, хорошее хозяйство... и вдруг черти! Билась, билась, смотреть жалко. Николка же ее и спас, можно сказать. Давай, говорит, пятьдесят целковых — выгоню чертей! Она ему сначала четвертную дала, а потом — как он

вытащил бутылку да дознались, в чем дело,— ну и прощай! В суд хотела подать, но ей отсоветовали... И еще за ним многие художества водятся.

— За одно из этих милых «художеств» с завтрашнего дня я буду расплачиваться. Я?!— нервно воскликнул редактор и, сорвавшись с места, снова начал метаться по комнате.— О, боже мой! Как глупо, пошло все это...

— Ну-у, очень уж вы! — успокоительно сказал издатель.— Сделайте поправку, объясните, почему это вышло... Малый-то больно интересный, прах его возьми. Чертей в печку насажал, ха-ха! Нет, ей-богу! Проучить мы его проучим, но мерзавец с умом и возбуждает к себе что-то этакое... знаете!..— Издатель щелкнул над головой пальцами и кинул взгляд в потолок.

— Вас это занимает, да? — резко крикнул редактор.

— Ну так что? Разве не смешно? С умом, бестия! — отплатил издатель редактору за окрик.— По какой статье вы с ним считаться-то намерены?

Редактор быстро подбежал вплоть к издателю.

— Считаться я с ним не буду-с! Не могу-с, Василий Иванович, потому что этот фабрикант чертей прав! У вас в типографии черт знает что творится, вы слышали? А я играю дурака, по вашей милости. Он тысячу раз прав!

— И в том добавлении, которое внес в вашу статейку? — едко спросил издатель и иронически поджал губы.

— Ну так что ж? И в этом, да! Вы поймите, мы ведь либеральная газета...

— Печатаем две тысячи экземпляров, считая бесплатные и обменные,— сухо вставил издатель.— А наш конкурент в девяти тысячах расходится!

— Н-ну-с!

— Больше ничего.

Редактор безнадежно махнул рукой и снова с потускневшими глазами стал ходить взад и вперед по зале.

— Прелестное положение! — бормотал он, пожимая плечами.— Какая-то универсальная травля! Все собаки на одну, а эта в намордник. И этот несчастный р-рабочий! О, боже мой!

— Да плюньте, батенька, не волнуйтесь! — посоветовал вдруг Василий Иванович, добродушно усмехаясь, как бы утомившись волнениями и пререканиями.— Пришло и пройдет, и честь свою вновь восстановите. Дело гораздо больше смешное, чем драматическое.

Он миролюбиво протянул редактору свою пухлую руку и пошел было из залы в контору.

Вдруг дверь в контору растворилась, и на пороге явился Гвоздев. Он был в картузе и не без некоторой любезности улыбался.

— Я пришел сказать вам, господин редактор, что ежели вы хотите со мной судиться, то скажите — потому я отсюдова уеду, а по этапу возвращаться неохота.

— Убирайся вон! — чуть не рыдая от бешенства, взвыл редактор и бросился в глубину комнаты.

— Значит, квит,— сказал Гвоздев, поправил на голове картуз и, спокойно обернувшись на пороге, исчез.

— О-о, бестия! — с восхищением выдохнул из себя Василий Иванович вслед Гвоздеву и, блаженно улыбаясь, не спеша стал надевать пальто.

Дня через два после описанного Гвоздев, в синей блузе, подпоясанной ремнем, в брюках навыпуск, в ярко начищенных ботинках, в белом картузе, надетом набекрень и на затылок, и с суковатой палкою в руке, степенно гулял по «Горе».

«Гора» представляла собою пологий спуск к реке. В давние времена на спуске этом стояла густая роща. Теперь почти вся она была вырублена, и лишь кое-где могучие, корявые дубы и вязы, поломанные грозами, вздымали к небу свои старые дуплистые стволы, широко раскинув узловатые сучья. У корней их вилась молодая поросль, кустарники льнули к стволам, и всюду среди зелени гуляющая публика протоптала извилистые тропы, сползавшие вниз к реке, облитой сиянием солнца. Горизонтально пересекая «Гору», шла широкая аллея — заброшенный почтовый тракт — и по ней-то главным образом гуляла публика, расхаживая в два ряда, один навстречу другому.

Гвоздеву всегда очень нравилось бродить взад и вперед по этой аллее вместе с публикой и чувствовать себя таким же, как и все, так же свободно вдыхать воздух, напитанный запахом листвы, так же свободно и лениво двигаться, быть частью чего-то большого и чувствовать себя равным со всеми.

В этот день он был чуть-чуть навеселе, его решительное рябое лицо смотрело добродушно и общительно. С левого виска его вились кверху русые вихры. Красиво оттеняя ухо, они лежали на околыше фуражки, придавая Гвоздеву ухарский вид молодчины мастерового, который доволен собой, хоть сейчас готов спеть, поплясать, подраться и во всякую минуту не прочь выпить. Этими характерными вихрами сама природа точно желала рекомендовать всем Николая Гвоздева как малого с огонь-

ком и знающего себе цену. Одобрительно поглядывая вокруг себя прищуренными серыми глазами, Гвоздев миролюбиво толкал публику, без претензии сносил ее толчки, наступая дамам на шлейфы, вежливо извинялся, глотал вместе со всеми густую пыль и чувствовал себя прекрасно.

Сквозь листву деревьев видно было, как за рекой в лугах садилось солнце. Небо было там пурпурное, теплое и ласковое, манившее туда, где оно касалось краем темной зелени лугов. Под ноги гуляющим ложились узорные тени, и толпа людей наступала на них, не замечая их красоты. Франтовато засунув в левый угол губ папиросу и лениво выпуская из правого струйки дыма, Гвоздев присматривался к публике, ощущая в себе настоятельное желание потолковать с кем-нибудь за парой пива в ресторане, внизу «Горы». Знакомых никого не встречалось, а свести новое знакомство не было подходящего случая; публика, несмотря на праздник и ясный весенний день, была почему-то хмурая и не отвечала на его общительное настроение, хотя он уже не раз заглядывал в лица людей, шедших рядом с ним, с добродушной улыбкой и с выражением полной готовности вступить в беседу. Вдруг перед его глазами, в массе затылков, мелькнул хорошо знакомый гладко остриженный и плоский, точно стесанный, затылок редактора. Гвоздев улыбнулся, вспомнив, как он отделал этого человека, и с удовольствием стал смотреть на серую низенькую шляпу Истомина. Иногда шляпа редактора скрывалась за другими шляпами, это беспокоило Гвоздева; он приподнимался на носки, высматривая ее, находил и снова улыбался.

Так, следя за редактором, он шел и вспоминал о том времени, когда он, Гвоздев, был Николкой слесаревым, а редактор — Митькой дьяконицыным. У них был еще товарищ Мишка, прозванный ими Сахарницей. Был еще Васька Жуков, сын чиновника из крайнего в улице дома. Хороший дом был — старый, поросший мхом, облепленный пристройками. У Васькина отца была прекрасная голубиная охота. На дворе дома ловко было играть в прятки, Васькин отец скупой был и берег на дворе всякий хлам — какие-то изломанные кареты, бочки, ящики. Теперь Васька врачом в уезде, а на месте старого дома стоят железнодорожные пакгаузы. Все они обитали тогда на окраине города, в Задней Мокрой улице, жили дружно между собой и в постоянной вражде с мальчишками других улиц. Опустошали сады, огороды, играли в бабки, в шар-мазло и другие игры, учились в приходском училище... С той поры прошло лет двадцать...

Было время и — прошло, были мальчишки — такие же озорные и чумазые, как и Николка слесарев,— и стали теперь важными людьми. А Николка слесарев застрял в Задней Мок-

рой. Они, кончив приходское училище, в гимназию попали,— он не попал... А что, если заговорить с редактором? Поздороваться и начать разговор? Начать с того, что извиниться за скандал, и потом поговорить — так вообще, про жизнь...

Шляпа редактора все мелькала перед глазами Гвоздева, как бы подманивая его к себе, и Гвоздев решился. Как раз в это время редактор шел один в свободном пространстве, образовавшемся среди публики. Он шагал тонкими ногами в светлых брюках, голова то и дело повертывалась из стороны в сторону, близорукие глаза щурились, рассматривая публику. Гвоздев поравнялся с ним и сбоку любезно заглядывал ему в лицо, ожидая удобного момента, чтобы поздороваться, и в то же время ощущая острое желание знать, как отнесется к нему редактор.

— Здравствуйте, Митрий Павлович!

Редактор обернулся к нему, одной рукой приподнял шляпу, другой поправил очки на носу, разглядел Гвоздева и нахмурился.

Это не обескуражило Николая Гвоздева,— напротив, он приятнейшим манером нагнулся к редактору и, обдав его запахом водки, спросил:

— Прогуливаетесь?

Редактор на секунду остановился; губы и ноздри его брезгливо дрогнули, и он сухо кинул Гвоздеву:

— Что вам угодно?

— Мне? Ничего! Так я это... хорошо сегодня! И очень желательно мне поговорить с вами насчет происшествия.

— Я не желаю с вами ни о чем говорить! — заявил редактор, ускоряя шаг.

Гвоздев сделал то же.

— Не желаете? Понимаю... Вы в вашем праве, я это очень хорошо понимаю... Как я вас сконфузил, то, конечно, вы должны иметь против меня зуб...

— Вы, просто... вы пьяны...— снова остановился редактор.— И, если вы не оставите меня в покое, я полицию приглашу.

Гвоздев ласково засмеялся:

— Ну, зачем же?

Редактор искоса посмотрел на него тоскливым взглядом человека, попавшего в неприятное положение и не знающего, как из него выйти. Публика уже смотрела на них с любопытством. Истомин бессильно оглядывался вокруг.

Гвоздев заметил это.

— Давайте свернем,— сказал он и, не дожидаясь согласия, ловко оттер Истомина плечом в сторону с широкой аллеи на узкую тропу, спускавшуюся между кустарников вниз по горе.

Редактор не выразил протеста против этого маневра,— может быть, потому, что не успел, а может — потому, что вне публики, один на один, надеялся скорее и проще избавиться от своего собеседника. Он тихонько, осторожно упираясь палкой в землю, шел вниз по тропинке, а Гвоздев следовал за ним и дышал ему на шляпу.

— Вот тут близко есть одно дерево упавшее, мы и сядем... Вы, Митрий Павлович, не сердитесь на меня за этот мой поступок. Извините! Я ведь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбирает, что и вином не зальешь... Ну, в такую вот пору и созорничаешь над кем-нибудь: прохожему в рыло дашь или что другое... Я не каюсь — что сделано, то сделано, но, может, я даже очень хорошо понимаю, что сделал-то не совсем в меру... Перехватил.

Тронуло ли редактора это искреннее объяснение и личность Гвоздева возбудила в нем любопытство, или он понял, что ему не отделаться от этого человека, но он спросил Гвоздева:

— О чем же вы хотите говорить?

— А так... обо всем! Скорбит душа у меня, потому что обиду я чувствую себе... Вот тут сядемте.

— Мне некогда...

— Знаю я... газета! Уест она вам половину жизни, все здоровье на нее просадите. Я ведь понимаю! Он, издатель-то, что? У него в газете деньги, а у вас — кровь! Глаза-то вы уж прописали себе... Садитесь!

Пред ними вдоль тропы лежал большой пень — полусгнивший остаток когда-то могучего дуба. Ветви орешника наклонились над деревом, образуя зеленый навес; сквозь ветви просвечивало небо, в красках заката; пряный запах свежей листвы наполнял воздух. Гвоздев сел и, обращаясь к редактору, который все еще стоял, нерешительно оглядываясь, заговорил:

— Выпил я сегодня немного... Скучно мне жить, Митрий Павлович! От своих товарищей рабочих отстал я как-то, совсем у меня другое направление мысли. Увидал я сегодня вас и вспомнил, что ведь и вы товарищем мне были...

Он засмеялся, потому что редактор смотрел на него с такой быстрой сменой выражений на лице, которая делала его действительно смешным.

— Товарищем? Когда?

— А давно уж, Митрий Павлович... Тогда мы еще в Задней Мокрой существовали... помните? Через двор друг от друга. А против нас Мишка Сахарница:— по нынешним временам Михаил Ефимович Хрулев, следователь судебный — изволили иметь место жительства при своем строгом батюшке... Пом-

ните Ефимыча? Часто он нас с вами за вихры тряс... Да вы сядьте!

Редактор утвердительно кивнул головой и сел рядом с Гвоздевым. Он смотрел на него напряженным взглядом человека, вспоминающего нечто прочно забытое, и тер себе лоб.

А Гвоздев увлекался воспоминаниями.

— Житье было у нас тогда! И почему только человек на всю жизнь ребенком не остается? Растет... зачем? Потом врастает в землю. Несет всю свою жизнь несчастия разные... озлится, озвереет... чепуха! Живет, живет и — в конце всей жизни одни пустяки... А тогда мы, бывало, жили без всякой темной мысли, весело,— птички — и всё тут! Порхали через заборы по чужие плоды трудов... Помните, я вам однажды в огороде у Петровны на воровском деле в нос огурцом закатил? Вы крик подняли, а я — дра́ла... Вы с мамашей к моему отцу приходили с жалобой, и отец меня выпорол, как следует быть... А Мишка, Михаил Ефимович...

Редактор слушал и, помимо воли, улыбался. Ему хотелось бы сохранить серьезность и достоинство пред этим человеком. Но в рассказах о ясных днях детства было что-то трогательное, и в тоне Гвоздева пока еще не особенно резко звучали ноты, угрожавшие самолюбию Дмитрия Павловича. Да и кругом было хорошо. Где-то вверху шаркали по песку дорожки ноги гуляющей публики, чуть доносились голоса, иногда звучал смех; но вздыхал ветер — и все эти слабые звуки тонули в меланхоличном шорохе листвы. А когда шорох замирал, были моменты полной тишины, точно все кругом чутко прислушивалось к словам Гвоздева, сбивчиво рассказывавшего повесть о юности...

— Помните Варьку, маляра Колокольцова дочь? Теперь она замужем за типографщиком Шапошниковым. Такая барыня — мимо идти страшно... Тогда она девчурочка хворая была... Помните, пропала она однажды, и все мы — мальчишки со всей улицы — по полю да по оврагам искали ее! В лагерях нашли и вели ее полем домой... Шуму было — страсть! Колокольцов пряниками угостил, а Варька, увидавши мать свою, сказала: «А я была у барыни офицеровой, и она меня в дочки к себе зовет!» Хе-хе!.. В дочки!.. Славная девчурка была...

С реки доносились какие-то звуки, словно тихо охала чья-то могучая, тоскующая грудь. Пароход шел, в воздухе плыл шум воды, разбиваемой его колесами. Небо было розовое, а вокруг Гвоздева с редактором сгущался сумрак. Медленно наступала весенняя ночь. Тишина становилась полной, глубокой, и, как бы подчиняясь ей, Гвоздев понизил голос... Редактор молча слушал

его, вызывая в своей памяти смутные картины давно минувшего. Все это было...

— Так вот, Митрий Павлович, значит, оно и выходит, что птица я одного с вами гнезда... А полеты у нас разные... И, как вспомню я, что ведь вся разница между мной и моими товарищами бывшими — только в том, что не сидел я в гимназии за книгами,— горько мне и тошно бывает... Разве в этом человек? В душе он, в чувствах к ближнему своему, как сказано... Ну вот — вы мой ближний, а какую я цену имею для вас? Никакой — верно?

Редактор, увлеченный своими мыслями, не расслышал, должно быть, вопроса своего собеседника.

— Верно! — сказал он тоном искренним и рассеянным.

Но Гвоздев захохотал, и он спохватился:

— Позвольте? Что, собственно, верно?

— Верно, что я для вас — пустое место... Есть я или нет меня, вам все равно — наплевать. Зачем вам душа моя? Живу я один на свете и всем людям, меня знающим, очень надоел. Потому — у меня характер злой и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако у меня чувства тоже есть и ум есть... Я чувствую обиду в моем положении. Чем я хуже вас? Только моим занятием...

— Да-да... это печально! — сказал редактор, наморщив лоб, сделал паузу и продолжал каким-то успокоивающим тоном:— Но, видите ли, тут нужно применить другую точку зрения...

— Митрий Павлович! Зачем точка зрения? Не с точки зрения человек человеку внимание должен оказывать, а по движению сердца. Что такое точка зрения? Я говорю про несправедливость жизни. Разве можно меня с какой-нибудь точки забраковать? А я забракован в жизни — нет мне в ней хода... Почему-с? Потому, что не учен? Так ведь ежели бы вы, ученые, не с точек зрения рассуждали, а как-нибудь иначе,— должны вы меня не забыть и извлечь вверх к вам снизу, где я гнию в невежестве и озлоблении моих чувств? Или — с точки зрения — не должны?

Гвоздев прищурил глаз и, торжествуя, посмотрел в лицо своего собеседника. Он чувствовал себя в ударе и выпускал из себя всю свою философию, придуманную в долгие годы своей трудовой, безалаберной и бесплодной жизни. Редактор был смущен натиском собеседника и старался определить — что это за человек и что ему возразить на его речь? А Гвоздев, в упоении самим собой, продолжал:

— Вы люди умные, сто ответов мне дадите, и все будет — нет, не должны! А я говорю — должны! Почему? Потому что я и вы— люди из одной улицы и одного происхождения... Вы не настоящие

«На плотах»
Художник И. Симаков
Цинкография. 1919 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

господа жизни, не дворяне... С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: «Пшел к черту!» — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы — свой брат, и я могу требовать с вас указания пути моей жизни. Я мещанин, и Хрулев тоже, и вы — дьяконов сын...

— Но, позвольте...— просительно сказал редактор,— разве я отрицаю ваше право?

Но Гвоздеву совсем неинтересно было знать, что отрицает и что признает редактор; ему нужно было высказаться, и он чувствовал себя в этот момент способным сказать все, что когда-либо волновало его.

— Нет, вы позвольте! — уже каким-то таинственным шепотом говорил он, близко склоняясь к редактору и блестя возбужденными глазами.— Как вы думаете, легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я в старину носы раскваШивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватерклозет установлял, сорок копеек на чай получить? Ведь он человек одного со мною ранга... и было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчас, как тогда были...

Редактор задумчиво смотрел на него сбоку и молча соображал — что же сказать этому парню? Нужно сказать что-нибудь хорошее, правдивое и искреннее. Но у Дмитрия Павловича Истомина ничего нужного в данный момент не нашлось ни в голове, ни в сердце. Давно уже всякие идейные и выспренние разговоры по «вопросам» вызывали в нем чувство скуки и утомления. Он вышел сегодня отдохнуть, нарочно избегал встреч с знакомыми — и вот этот человек со своими речами. Конечно, в его речах, как и во всем, что говорят люди, есть некоторая доля правды. Они — любопытны и могли бы послужить очень интересной темой для фельетона...

— Все, что вы сказали,— не ново, знаете,— начал он.— О несправедливости отношений человека к человеку давно идет речь... Но, пожалуй, эти ваши речи являются новостью — в том смысле, что раньше их говорили люди иного сорта... Вы несколько односторонне и неверно формулируете ваши думы... но...

— Опять ваша точка зрения! — усмехнулся Гвоздев.— Эхма, господа, господа! Умом-то вы награждены, а сердце-то, видно, померло... Вы мне скажите что-нибудь такое, чтобы сразу по недугу мне пришлось... вот!

Он, опустив голову, ждал ответа.

Истомин снова посмотрел на него, наморщив лоб, ощущая сильное желание уйти. Ему казалось, что Гвоздев пьянеет и

оттого так раскис после своих возбужденных речей. Он смотрел на белую фуражку, съехавшую на затылок, на рябую щеку и задорный вихор Гвоздева, смерил взглядом всю его сильную жилистую фигуру и подумал про него, что это очень типичный рабочий, и если б...

— Так что же? — спросил Гвоздев.

— Да что же я могу вам сказать? Откровенно говоря, я не совсем ясно представляю себе, что именно хотели бы вы...

— То-то вот и есть!.. Ничего вы мне не можете ответить,— усмехнулся Гвоздев.

Редактор облегченно вздохнул, справедливо предполагая, что разговор окончен и Гвоздев уже не будет больше к нему приставать с вопросами... И вдруг он подумал:

«А что, как он побьет меня? Он — такой злой».

Ему вспомнилось выражение лица Гвоздева там, в редакции, во время этой глупой сцены. И он подозрительно покосился на него.

Было уже темно. Тишина прерывалась звуками песни, долетавшей издалека с реки. Пели хором, теноровые голоса слышались совсем ясно. Большие жуки, металлически звеня, носились в воздухе. Сквозь листву деревьев видны были звезды... Иногда та или другая ветка над головами отчего-то вздрагивала и слышалось тихое трепетание листьев.

— А ведь роса будет,— сказал редактор осторожно.

Гвоздев вздрогнул и поворотился к нему.

— Что вы сказали?

— Роса будет, говорю, вредно это...

— А-а!

Помолчали. На реке раздался крик:

— Эй-й! На-а барже-е!..

— Я думаю идти. До свидания!..

— А не распить ли нам пару пива? — предложил вдруг Гвоздев и, усмехаясь, добавил: — Окажите честь!

— Нет, извините, я в это время не могу. И потом пора мне, знаете...

Гвоздев встал с дерева и угрюмо посмотрел на редактора.

Тот протягивал ему руку, тоже встав.

— Не желаете, значит, пить пиво со мной?! Ну и черт с вами! — отрубил Гвоздев, нахлобучивая свою фуражку резким жестом.— Аристократия! На грош пара! Я и один напьюсь...

Редактор храбро повернулся спиной к своему собеседнику и пошел вверх по тропинке, странно втянув голову в плечи, точно боялся задеть ею за что-нибудь. Гвоздев крупными шагами пошел вниз по горе.

С реки доносился надрывавшийся голос:
— На барже-е! Черти-и! Да-а-вай лодку-у-у!
И среди деревьев разносилось тихое эхо:
— О-у-у-у!..

1897

В СТЕПИ

Мы вышли из Перекопа в самом сквернейшем настроении духа — голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжение половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и, когда убедились наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Куда? Вообще — дальше.

Мы готовы были пойти и во всех отношениях дальше по той жизненной тропе, по которой давно уже шли,— это было молча решено каждым из нас и ясно сверкало в угрюмом блеске наших голодных глаз.

Нас трое; мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра.

Один — солдат железнодорожного батальона, потом — якобы — дорожный мастер, рыжий и мускулистый человек, с холодными, серыми глазами; он умел говорить по-немецки и обладал очень подробным знанием тюремной жизни.

Наш брат не любит много говорить о своем прошлом, всегда имея на это более или менее основательные причины, и потому все мы верили друг другу — по крайней мере наружно верили, ибо внутренне каждый из нас и сам-то себе плохо верил.

Когда второй наш товарищ, сухонький и маленький человечек с тонкими губами, всегда скептически поджатыми, говорил о себе, что он бывший студент Московского университета,— я и солдат принимали это за факт. В сущности, нам было решительно все равно, был ли он когда-то студентом, сыщиком или вором,— важно было лишь то, что в момент нашего знакомства он был равен нам: голодал, пользовался особым вниманием полиции в городах и подозрительным отношением мужиков в деревнях, ненавидел и ту и других ненавистью загнанного, голодного зверя, мечтал об универсальной мести всем и всему,— одним словом, и по своему положению среди царей природы и владык жизни, и по настроению — был нашего поля ягода.

Третий был я. По скромности, со времен младых ногтей моих присущей мне, я ни слова не скажу о моих достоинствах и, не желая показаться вам наивным, умолчу о своих недостатках.

Но, пожалуй, в виде материала для моей характеристики, я скажу, что всегда считал себя лучше других и успешно продолжаю заниматься этим до сего дня.

Итак, мы вышли из Перекопа и шли дальше, имея в виду чабанов, у которых всегда можно попросить хлеба и которые очень редко отказывают в этом прохожим людям.

Я шел рядом с солдатом, «студент» шагал сзади нас. На плечах у него висело нечто, напоминавшее пиджак; на голове — острой, угловатой и гладко остриженной — покоился остаток широкополой шляпы; серые брюки в разноцветных заплатах обтягивали его ножки, а к ступням он пристроил веревочками, свитыми из подкладки его костюма, найденное на дороге голенище сапога, назвал это сооружение сандалиями и шагал молча, поднимая много пыли и поблескивая зеленоватыми маленькими глазками. Солдат был одет в красную кумачовую рубаху, которую, по его словам, он «собственноручно» приобрел в Херсоне; сверх рубахи на нем был еще теплый ватный жилет; на голове, по воинскому уставу — «с заломом верхнего круга на правую бровь»,— надета была солдатская фуражка неопределенного цвета; на ногах болтались широкие чумацкие шаровары. Он был бос.

Я тоже был одет и бос.

Вокруг нас во все стороны богатырским размахом распростерлась степь и, покрытая синим знойным куполом безоблачного неба, лежала, как громадное, круглое, черное блюдо. Серая, пыльная дорога резала ее широкой полосой и жгла нам ноги. Местами попадались щетинистые полосы сжатого хлеба, имевшие странное сходство с давно не бритыми щеками солдата.

Солдат шел и пел сиповатым басом:

— ...И святое воскресение твое поем и хва-алим...

Во время своей службы он был чем-то вроде дьячка батальонной церкви, знал бесчисленное множество тропарей, ирмосов и кондаков, знанием которых и злоупотреблял каждый раз, когда беседа наша почему-либо не вязалась.

Впереди, на горизонте, росли какие-то фигуры мягких очертаний и ласковых оттенков от лилового до нежно-розового.

— Очевидно, это и есть Крымские горы,— сказал «студент».

— Горы? — воскликнул солдат,— больно рано, друг, увидал ты их. Это... облака. Видишь, какие — точно клюквенный кисель с молоком...

Я заметил, что было бы в высшей степени приятно, если бы облака и в самом деле состояли из киселя.

— Ах, дьявол! — выругался солдат, сплевывая.— Хоть бы одна живая душа попалась! Никого... Приходится, как медведям зимой, собственные лапы сосать...

— Я говорил, что надо было к заселенным местам двигаться,— поучительно заявил «студент»...

— Ты говорил! — возмутился солдат.— На то ты и ученый, чтобы говорить. Какие тут заселенные места? Черт их знает, где они!

«Студент» замолчал, поджав губы. Солнце садилось, облака на горизонте играли разнообразными, неуловимыми словом красками. Пахло землей и солью.

И от этого сухого, вкусного запаха наши аппетиты еще более усиливались.

В желудках сосало. Это было странное и неприятное ощущение: казалось, что из всех мускулов тела соки медленно вытекают куда-то, испаряются, и мускулы теряют свою живую гибкость. Ощущение колющей сухости наполняло полость рта и глотку, в голове мутилось, а перед глазами мелькали темные пятна. Иногда они принимали вид дымящихся кусков мяса, караваев хлеба; воспоминание снабжало эти «виденья былого, виденья немые» свойственными им запахами, и тогда в желудке точно нож повертывался.

Мы все-таки шли, делясь друг с другом описанием наших ощущений, зорко посматривая по сторонам — не видать ли где-либо отары овец, и слушая — не раздастся ли резкий скрип арбы татарина, везущего фрукты на Армянский базар.

Но степь была пуста, безмолвна.

Накануне этого тяжелого дня мы втроем съели четыре фунта ржаного хлеба и штук пять арбузов, а прошли около сорока верст — расход не по приходу! Заснув на базарной площади Перекопа, мы проснулись от голода.

«Студент» справедливо советовал нам не ложиться спать, а в течение ночи заняться... но в порядочном обществе не принято вслух говорить о проектах нарушения права собственности, я молчу. Я хочу быть только правдивым, не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни и даже, когда берут за глотку своего ближнего с явной целью удушить его,— стараются сделать это с возможной любезностью и соблюдением всех приличий, уместных в данном случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости...

Так, глотая голодную слюну и стараясь дружеской беседой подавить боли в желудках, мы шли пустынной, безмолвной степью, в красноватых лучах заката; пред нами солнце тихо опу-

скалось в мягкие облака, щедро окрашенные его лучами, а сзади нас и с боков голубоватая мгла, поднимаясь со степи в небо, суживала неприветливые горизонты.

— Собирайте, братцы, материал для костра.— сказал солдат, поднимая с дороги какую-то чурбашку.— Придется ночевать в степи — роса! Кизяки, всякий прут — все бери!

Мы разошлись по сторонам дороги, собирая сухой бурьян и все, что могло гореть. Каждый раз, когда приходилось наклоняться к земле, в теле возникало страстное желание упасть и есть землю, черную, жирную, много есть, есть до изнеможения, потом — заснуть. Хоть навсегда заснуть, только бы есть, жевать и чувствовать, как теплая и густая кашица изо рта медленно опускается по ссохшемуся пищеводу в желудок, горящий от желания впитать в себя что-либо.

— Хоть бы коренья какие-нибудь найти...— вздохнул солдат.— Есть этакие съедобные коренья...

Но в черной вспаханной земле не было никаких кореньев. Южная ночь наступала быстро, и еще не успел угаснуть последний луч солнца, как уже в темно-синем небе заблестели звезды, а вокруг нас все плотнее сливались тени, суживая бесконечную гладь степи...

— Братцы,— вполголоса сказал «студент»,— там влево человек лежит...

— Человек? — усомнился солдат.— А чего ему там лежать?

— Иди и спроси. Наверное, у него есть хлеб, коли он расположился в степи.

Солдат посмотрел в сторону, где лежал человек, и решительно сплюнул.

— Идем к нему!

Только зеленые, острые глаза «студента» могли разобрать, что темная куча, возвышавшаяся саженях в пятидесяти влево от дороги,— человек. Мы шли к нему, быстро шагая по комьям пашни, и чувствовали, как зародившаяся в нас надежда на еду обостряет боли голода. Мы были уже близко — человек не двигался.

— А может, это не человек,— угрюмо выразил солдат общую всем мысль.

Но наше сомнение рассеялось в тот же момент, ибо куча на земле вдруг зашевелилась, выросла, и мы увидали, что это— самый настоящий, живой человек, он стоял на коленях, простирая к нам руку, и говорил глухим и дрожащим голосом:

— Не подходи,— застрелю!

В мутном воздухе раздался сухой, краткий щелчок.

Мы остановились, как по команде, и несколько секунд молчали, ошеломленные нелюбезной встречей.

— Вот так мер-рзавец! — выразительно пробормотал солдат.

— Н-да,— задумчиво сказал «студент».— С револьвером ходит... видно, икряная рыба...

— Эй! — крикнул солдат, очевидно решив что-то.

Человек, не изменяя позы, молчал.

— Эй, ты! Мы не тронем тебя,— дай нам только хлеба — есть? Дай, брат, Христа ради!.. Будь ты, анафема, проклят!

Последние слова солдат произнес себе в усы.

Человек молчал.

— Слышишь? — с дрожью злобы и отчаяния снова заговорил солдат.— Дай, мол, хлеба! Мы не подойдем к тебе... брось нам его...

— Ладно,— кратко сказал человек.

Он мог бы сказать нам «дорогие братья мои!» — и, если б он влил в эти три слова все самые святые и чистые чувства, они не возбудили бы нас так и не очеловечили бы настолько, как это глухое краткое «ладно»!

— Ты не бойся нас, добрый человек,— мягко улыбаясь, заговорил солдат, хотя человек не мог видеть его улыбки, ибо был отделен от нас расстоянием по крайней мере в двадцать шагов.

— Мы люди смирные,— идем из России в Кубань... подшиблись деньгой в дороге, все с себя проели,— а теперь вот уж вторые сутки не жрамши...

— Держи! — сказал добрый человек, взмахнув рукой в воздухе. Черный кусок мелькнул и упал неподалеку от нас на пашню. «Студент» бросился за ним.

— Еще держи! Больше нет...

Когда «студент» собрал эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имеем фунта четыре пшеничного черствого хлеба. Он был вывалян в земле и очень черств. Черствый хлеб сытнее мягкого: в нем меньше влаги.

— Так... и так... и так! — сосредоточенно распределял солдат куски.— Стой... не ровно! У тебя, ученый, надо ущипнуть кусочек, а то ему мало...

«Студент» беспрекословно подчинился утрате кусочка хлеба золотников в пять весом; я получил его, положил в рот.

И стал жевать, медленно жевать, едва сдерживая судорожное движение челюстей, готовых искрошить камень. Мне доставляло острое наслаждение чувствовать судороги пищевода и понемножку, капельками удовлетворять его. Глоток за глотком, теплые, неописуемо вкусные, проникали в желудок и, казалось, тотчас же превращались в кровь и мозг. Радость,— такая странная, тихая и оживляющая радость, грела сердце по мере того, как наполнялся желудок. Я позабыл о проклятых днях хрониче-

ского голода, позабыл о моих товарищах, погруженный в наслаждение ощущениями, которые я переживал.

Но когда я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба, то почувствовал, что смертельно хочу есть.

— У него, анафемы, сало там еще осталось или мясо какое-то...— ворчал солдат, сидя на земле против меня и потирая руками желудок.

— Наверное, потому хлеб имел запах мяса... Да и хлеб, наверно, остался,— сказал «студент» и тихонько добавил: — Если бы не револьвер...

— Кто он такой?

— Видно, наш брат Исакий...

— Собака! — решил солдат.

Мы сидели тесной группой, посматривая туда, где сидел наш благодетель с револьвером. Оттуда до нас не доносилось ни звука, ни признака жизни.

Ночь собирала вокруг свои темные силы. Мертвенно-тихо было в степи,— мы слышали дыхание друг друга. Иногда где-то раздавался меланхолический свист суслика... Звезды, живые цветы неба, горели над нами... Мы хотели есть.

С гордостью говорю — я был не хуже и не лучше моих случайных товарищей в эту несколько странную ночь. Я предложил им встать и идти на этого человека. Не нужно трогать его, но мы съедим все, что найдем. Он будет стрелять,— пускай! Из троих попадет только в одного,— если попадет; а если и попадет, так едва ли револьверная пуля убьет насмерть.

— Идем! — сказал солдат, вскочив на ноги.

«Студент» поднялся медленнее его.

И мы пошли, почти побежали. «Студент» держался сзади нас.

— Товарищ! — укоризненно крикнул ему солдат.

Навстречу нам неслось глухое бормотанье и резкий звук щелкающего курка. Вот сверкнул огонь, раздался сухой звук выстрела.

— Мимо! — радостно крикнул солдат, одним прыжком достигая человека.— Ну, дьявол, я ж тебе теперь задам...

«Студент» бросился к котомке.

А «дьявол» упал с колен на спину и, разметав руки, хрипел...

— Что за черт! — изумился солдат, уже поднявший ногу, чтобы дать пинка этому человеку.— Неужто он в себя ахнул? Ты! Что ты? Эй! Застрелился, что ли?

— И мясо, и какие-то лепешки, и хлеб... много, братцы! — раздался ликующий голос «студента».

— Ну, черт с тобой, издыхай... Едим! — крикнул солдат. Я вынул револьвер из руки человека, который уже перестал

хрипеть и лежал теперь неподвижно. В барабане был еще один патрон.

Мы снова ели, ели молча. Человек лежал и тоже молчал, не двигая ни одним членом. Мы не обращали на него внимания.

— Неужто, братцы родные, вы это только из-за хлеба? — вдруг раздался хриплый и дрожащий голос.

Мы все вздрогнули. «Студент» даже поперхнулся и, согнувшись к земле, стал кашлять.

Солдат, прожевав кусок, начал ругаться.

— Собачья ты душа, чтоб те треснуть, как сухой колоде! Шкуру, что ли, мы с тебя сдерем? На кой она нам нужна? Дурье твое рыло, поганый дух! На-ко! — вооружился и палит в людей! Анафема ты...

Он ругался и ел, отчего ругань его теряла выразительность и силу...

— Погоди, вот мы поедим, так рассчитаемся с тобой,— зловеще пообещал «студент».

Тогда в тишине ночи раздались воющие рыдания, испугавшие нас.

— Братцы... разве я знал? Стрелял... потому что боюсь. Иду из Нового Афона... в Смоленскую губернию... господи! Лихорадка смаяла... как солнце зайдет — беда моя! От лихорадки и с Афона ушел... столярил там... столяр я... Дома жена... две девочки... три года четвертый не видал их... братцы! Всё ешьте...

— Съедим, не проси,— сказал «студент».

— Господи боже! кабы я знал, что вы мирные, хорошие люди... разве бы я стал стрелять? А тут, братцы, степь, ночь... виноват я?

Он говорил и плакал, вернее — издавал дрожащий, пугливый вой.

— Вот скулит! — презрительно сказал солдат.

— У него должны быть деньги с собой,— заявил «студент».

Солдат прищурил глаза, посмотрел на него и усмехнулся.

— А ты — догадливый... Вот что, давайте-ка костер запалим, да и спать...

— А он? — осведомился «студент».

— А черт с ним! Жарить нам его, что ли?

— Следовало бы,— сказал «студент», качнув своей острой головой.

Мы сходили за набранными нами материалами, которые бросили там, где остановил нас столяр своим окриком, принесли их и скоро сидели вокруг костра. Он тихо теплился в безветренную ночь, освещая маленькое пространство, занятое нами. Нас клонило ко сну, хотя мы все-таки могли бы еще раз поужинать.

— Братцы! — окликнул столяр. Он лежал в трех шагах от нас, и порой мне казалось, что он что-то шепчет.

— Да? — сказал солдат.

— Можно мне к вам... к огню? Смерть моя приходит... кости ломит!.. Господи! не дойду я, видно, домой-то...

— Ползи сюда,— разрешил «студент».

Столяр медленно, точно боясь потерять руку или ногу, подвинулся по земле к костру. Это был высокий, страшно исхудавший человек; все на нем как-то болталось, большие, мутные глаза отражали снедавшую его боль. Искривленное лицо было костляво и даже при освещении костра имело какой-то желтовато-землистый мертвенный цвет. Он весь дрожал, возбуждая презрительную жалость. Протянув к огню длинные, худые руки, он потирал костлявые пальцы, суставы их гнулись вяло, медленно. В конце концов на него было противно смотреть.

— Что же ты это — в таком виде — пешком идешь? — скуп, что-ли? — угрюмо спросил солдат.

— Посоветовали мне... не езди, говорят, по воде... а иди Крымом,— воздух, говорят. А я вот не могу идти... помираю, братцы! Помру один в степи... птицы расклюют, и не узнает никто... Жена... дочки будут ждать — написал я им... а мои кости дожди будут степные мыть... Господи, господи!

Он завыл тоскливым воем раненого волка.

— О, дьявол! — взбесился солдат, вскочив на ноги.— Чего ты скулишь? Что ты не даешь покоя людям? Издыхаешь? Ну, издыхай, да молчи...

— Ляжемте спать,— сказал я.— А ты, коли хочешь быть у огня, так не вой, в самом деле...

— Слышал? — свирепо сказал солдат.— Ну, и понимай. Ты думаешь, мы возиться с тобой будем за то, что ты в нас хлебом швырял да пули пускал? Кислый черт! Другие бы,— тьфу!..

Солдат замолчал и вытянулся на земле.

«Студент» уже лежал. Я тоже лег. Напуганный столяр съежился в комок и, подвинувшись к огню, молча стал смотреть на него. Я слышал, как стучали его зубы. «Студент» лег слева и, кажется, сразу заснул, свернувшись в комок. Солдат, заложив руки под голову, смотрел в небо.

— Экая ночь, а? Звезд сколько...— обратился он ко мне.— Небо-то — одеяло, а не небо. Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно и голодно, но свободно уж очень... Нет над тобой никакого начальства... Хоть голову себе откуси — никто тебе слова не скажет. Наголодался я за эти дни, назлился... а вот теперь лежу, смотрю в небо... Звезды мигают мне: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся... И на

сердце хорошо... А ты,— как тебя? эй, столяр! Ты не сердись на меня и ничего не бойся... Что мы хлеб твой съели, это ничего: у тебя был хлеб, а у нас не было, мы твой и съели... А ты, дикий человек, пули пускаешь... Неужто ты не понимаешь, что пулей вред человеку можно сделать? Очень я на тебя давеча рассердился, и, ежели бы ты не упал, вздул бы я тебя, брат, за твою дерзость. А насчет хлеба — дойдешь ты завтра до Перекопа и купишь там,— деньги у тебя есть, конечно... Давно ты схватил лихорадку-то?

Долго еще в моих ушах гудел бас солдата и дрожащий голос больного столяра. Ночь — темная, почти черная — спускалась все ниже на землю, и в грудь лился свежий, сочный воздух.

От костра исходил ровный свет и живительное тепло... Глаза слипались.

. . . . . .

— Вставай! Живо! Идем!

Я с испугом открыл глаза и быстро вскочил на ноги, чему помог солдат, сильно дернув меня с земли за руку.

— Ну, живо! Шагай!

Лицо у него было сурово и тревожно. Я оглянулся вокруг. Всходило солнце, уже розовый луч его лежал на неподвижном, синем лице столяра. Рот у него был открыт, глаза далеко вышли из впадин и смотрели стеклянным взглядом, выражая ужас. Одежда на его груди вся изорвана, он лежал в неестественно изломанной позе. «Студента» не было.

— Ну, загляделся! Иди, говорю! — внушительно сказал солдат, таща меня за руку.

— Он умер? — спросил я, вздрагивая от утренней свежести.

— Конечно. И тебя удушить, так ты умрешь,— объяснил солдат.

— Его — «студент»? — воскликнул я.

— Ну, а кто же? Ты, может? А то я? Вот те и ученый... Ловко управился с человеком... и товарищей своих в рюху всадил. Знай я это, я бы вчера этого «студента» убил. Убил бы с одного разу. Трах его кулаком в висок... и нет на свете одного мерзавца! Ведь что он сделал, ты понимаешь? Теперь мы должны так идти, чтобы ни один глаз человеческий не видал нас в степи. Понял? Потому — столяра сегодня найдут и увидят — удушен и ограблен. И будут смотреть за нашим братом... откуда идешь, где ночевал? Хотя при нас с тобой и нет ничего... а револьвер-то его у меня за пазухой! Штука!

— Ты его брось,— посоветовал я солдату.

— Бросить? — задумчиво сказал он.— Вещь-то ценная... А может, нас и не словят еще?.. Нет, я не брошу... кто знает, что у столяра оружие было? Не брошу... Он рубля три стоит. Пуля

в нем есть... эхма! Как бы эту я самую пулю милому товарищу нашему в ухо выпустил! Сколько он, собака, денег огреб,— а? Анафема!

— Вот те и дочки столяровы...— сказал я.

— Дочки? Какие? А, у этого. Ну, они вырастут, замуж-то не за нас выйдут, об них и разговору нет... Идем, брат, скорее... Куда нам идти?

— Я не знаю... Все равно.

— И я не знаю, и знаю, что все равно. Идем вправо: там должно море быть.

Мы пошли вправо.

Я обернулся назад. Далеко от нас в степи возвышался темный бугорок, а над ним сияло солнце.

— Смотришь, не воскрес ли? Не бойся, догонять нас не встанет... Ученый-то, видно, со сноровкой парень, основательно управился... Ну, и товарищ! Здорово он нас всадил! Эх, брат! Портятся люди, из года в год все больше портятся! — печально сказал солдат.

Степь, безмолвная и пустынная, вся залитая ярким солнцем утра, развертывалась вокруг нас, сливаясь на горизонте с небом, таким ясным, ласковым и щедрым светом, что всякое черное и несправедливое дело казалось невозможным среди великого простора этой свободной равнины, покрытой голубым куполом небес.

— А жрать-то хочется, брат! — сказал мой товарищ, свертывая папироску.

— Чего мы сегодня поедим, и где, и как?

Задача!

. . . . . .

На этом рассказчик — мой сосед по больничной койке — кончил свою повесть, сказав мне:

— Вот и все. Я очень подружился с этим солдатом, мы с ним вместе дошли до Карсской области. Это был добрый и опытный малый, типичный бродяга. Я уважал его. До самой Малой Азии шли мы вместе, а там потеряли друг друга...

— Вы вспоминаете иногда о столяре? — спросил я.

— Как видите или — как слышали...

— И... ничего?

Он засмеялся.

— А что я должен чувствовать при этом? Я не виноват в том, что с ним случилось, как вы не виноваты в том, что случилось со мной... И никто ни в чем не виноват, ибо все мы одинаково — скоты.

1897

ЯРМАРКА В ГОЛТВЕ

Местечко Голтва стоит на высокой площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море. С трех сторон обрезанная капризным течением Псла, эта ровная площадь открывает широкие горизонты на север, запад и восток, и в южной части ее столпились в живописную группу белые хатки Голтвы, утопающие в зелени тополей, слив и черешен. Из-за хат вздымаются в небо пять глав деревянной церкви, простенькой и тоже белой. Золотые кресты отражают снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца свои формы,— похожи на факелы, горящие ярким пламенем.

На восток раскинулась равнина обработанных полей — вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые и темные; среди них там и тут стоят пышные, зеленые левады, белые хатки прячутся в садах, дороги вьются меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах — как игрушечные. На западе площадь крутым обрывом опускается к быстро текущему Пслу; его вода блестит на солнце серебром, на берегах стоят вербы и осокори; за Пслом опять поля до горизонта и опять на них куски яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна хуторов. Хутора, в рамках из тополей и верб,— всюду, куда ни взглянешь... Густо засеяна людьми благодатная земля Украйны!

Над громадным пространством, тесно заставленным возами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном и пыльном. Всюду толкутся, спорят и «грегочут» «чоловіки», горохом рассыпаются бойкие речи «жінок». Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько слов, сколько, в то же время, наговорят трое евреев, а трое евреев скажут в ту же минуту не более одного цыгана. Если сравнивать, то хохла следует применить к пушке, еврея — к скорострельному ружью, а цыган — это митральеза. Черные лица, черные волосы и белые хищные зубы цыган так и мелькают в толпе; их характерная, гортанная речь трещит в ушах,— за ней не успеваешь следить. Их проворные движения и жесты красивы, но заставляют опасаться, быстрые темные глаза с синеватыми белками сверкают хитростью и нахальством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки. Четверо из них осаждают какого-то «чоловіка», уже сбитого с толку и растерявшегося под градом убедительных речей, осыпающих его немудрую голову. Он стоит среди них, усердно чешет затылок и тяжело соображает. У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее хозяина — цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно следящая за ходом сделки.

— Підождить!..—говорит хохол.

— Не хочу! — восклицает цыган.— Что мне ждать: хиба ж я с того, что подожду, гро́ши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед богом: моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы, куда хочешь — хоть в Петербург! Вот на — какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками и глазами и все говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

— Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

— В убыток? Ну, и буду меняться в убыток! Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! Молитесь господу!..

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

— Ну, господи, благослови! — восклицает цыган.— Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце... Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и все!.. Кончено!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

— Два дам!

— Э! Четыре с половиной!

— Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостоверяясь — цела ли?

— Четыре ровно!

— Два! — упорно стоит на своем хохол.

— Ну,— утомленно говорит цыган,— идите ж теперь к вашей жінке и расскажите ей, какой вы дурень...

— Два! — говорит хохол.

— Вот что,— молитесь богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

— Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток: не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с полтиной?

— Ні,— качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую.

— Три с четвертью?

— Ні...

— Чтоб ваша жінка сказала вам сто раз «ні», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбованца? И то не даете?

Так берите ж за вашу цену... Э, пропали мои гроши и конь хороший!

Лошадей передают из полы в полу, и хохол уходит, ведя на поводу выменянную крупную рыжую кобылу, равнодушно переступающую разбитыми ногами. Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза на толпу людей.

Скоро хохол возвращается назад. Он идет торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним; лицо у него сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем странном языке.

— Це діло не законне,— покачивая головой, говорит хохол, подходя к ним.

— Какое дело? — осведомляется один из цыган.

— А це... Як же вы мені...

— А что мы тобі?..

— Підождить!.. Як же...

— А як же?

— Да підождить же!

— А чего ждать? Когда кобыла родит? Да ты ж, дядько, еще и не венчался с ней!

В толпе хохот. Бедняга хохол апеллирует к ней.

— Добрые люди — ратуйте! Воны мені беззубу коняку наміcто моій зубатой наміняли!

Толпа не любит неловких так же, как и слабых. Она становится на сторону цыган...

— А де ж у тэбе очи булы? — спрашивает хохла сивый старик.

— Не вмій з цыганами діла! — поучительно заявляет другой.

Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у коня, но на верхние не обратил внимания, а из них три оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба. Куда он годится такой? Он есть не может,— вон у него какой вздутый живот. Человека два-три из толпы начинают защищать хохла. Возникает гвалт, и громче всех кричит, не уставая, цыган...

— Э, добрый человік! чого ж ты затіяв таку заворуху? Хиба ты не знаешь, як треба конів куповаты? Конів куповаты — як жінку выбираты, все одно, так же важне діло... Слухай, я тобі скажу відну казку... Як булы на світі три братика, двое розумні, а третий дурень — ось як ты, або ж я...

Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его; хохлы лениво ругаются в ответ; толпа становится все гуще и теснее...

— Що ж мені зостається, добрі люди? — горестно вопрошает обиженный.

— Ходи до урядника! — кричат ему.

— А и пойду! — решает он.

— Стой, человіче! — останавливает его цыган.— Разорить меня хочешь? Разоряй! Давай мне три карбованца — я твою лощадь назад віддам! Желаешь? Давай два! Желаешь? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно «тягать к ділу» урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

— Ну, от що,— уныло говорит он цыгану,— нехай бог тебя судит... Отдай мені моего коня, а два карбованці, що ты в придачу узяв,— твои... Триста трясців тобі у бокі — грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

— Догадливі люди! — похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

— Деготь московский, атличный, фабричный, аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий! Шесть копеек кварта, пятнадцать четверть! — возглашает черниговец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам торговец — все это черно и жирно от дегтя и все двигается одной сплошной массой, распространяя вокруг себя характерный аромат.

— А, мабудь, и по пьять за кварту продадите? — справляется у дегтярника «чоловік» в необычайно широких штанах и в соломенной шляпе на голове.

— Тпру-у! По пять не могу, хозяину на шесть копеек присягал...

— А, мабудь, можно по пьять?

— Никак...

— Эге... Зовсім не можно?

— Слушай, дядько, продам тебе по пять, не говори только никому... Не скажешь?

— Ни, не скажу...

— Ну, давай баклажку.

— На що?

— А на деготь!

— Та мені того вашого дегтя не треба, бо я вже купив... И теж по шість копіек и теж у вас... Я спросив вас за тім, що, мабудь, вы теперь дешевше віддаете цей деготь.

Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и едет между

возов, возглашая о своем товаре... «Чоловік» провожает его взглядом и говорит другому, раскинувшемуся на возу:

— Коли б я не куповав кварты дегтя утром, була б в мэне копійка лишня у кишені...

— Эге ж... Жарко!

— Як у пеклі...

— Хиба ж твой батько писав тобі з пекла, як там жарко? — спрашивают с воза.

Томящий зной все усиливается. Запах дегтя, навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Всюду у возов стоят и лежат волы, жуют, не уставая, сено и смотрят в землю большими, добрыми глазами. Кажется, что они думают: у них такие осмысленные морды и в глазах светится спокойная, привычная печаль. Мычат коровы и телята, блеют овцы, раздается звон кос, пробуемых покупателями. «Чоловіки», приехавшие продавать скот или руно, лежат под возами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей. «Чоловіки» покупающие расхаживают между возами, высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбросанные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и, подходя к волам, покупатель считает нужным вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Волы медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах.

— Скільки за цю пару просите? — спрашивает покупатель пространство...

Из-под воза раздается неторопливый ответ:

— Девяносто рублів...

— И то гроши! — говорит покупатель и отходит или спрашивает:

— А чого ж бы вам, дядько, цілу сотнягу не просить?

— Та вже мені більш того, скільки треба,— не треба грошив. А коли вы вже такій добрый, то давайте и усю сотню — я візьму...

— Спасибо вам... А скільки ж бы ділом узяли?

— Та вже так, щоб не довго балакать, візьму я з вас... девяносто рублів...

Начинается торг. «Чоловіки» не торопятся,— это совсем не в их характере,— и продавец вылезает из-под воза не ранее того, как убедится, что покупатель серьезный. Понемногу горячатся, и вот уже бьют друг друга по рукам, молятся по десяти раз и более, расходятся, снова сходятся. Все делается медленно, но основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой ругани великорусов, от которой дух в груди спирает и глаза на лоб лезут, не слыш-

но,— ее заменяет меткий юмор, щедро украшающий речи. Не слышно и великорусского «тыканья». Сивый дід, у которого безусый хлопец торгует пару молоденьких бычков, так, например, отчитывает покупателя:

— Здаетця мені, что вы, хлопче, раненько маткину цицьку на люльку зміняли, бо разума у річах ваших не бачу я...

— Так як же, діду! Воны и некрасиві — ось роги якие...

— А хиба ж вы рогами пахати будете? Так куповайте же собі козлів: у них рога красивейши...

Сыны Израиля вертятся меж возов, как вьюны. Они обо всем спрашивают, все щупают и все покупают. «Чоловіки» говорят им «ты» и смотрят за ними во все глаза. Паны встречаются с «чоловіками» с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как «ненужна козявка у пчелином рои».

У одного из возов корова, привязанная к нему, вдруг зашаталась и в корчах повалилась на землю. «Жінка», продававшая ее, соскочила с воза и закрутилась вокруг больного животного, как в вихре. Испуг, граничащий с ужасом, выразился на лице бедной женщины, сразу лишившейся надежды продать свою скотину.

— Ой, господи! Ой, добрі люде! Ратуйте — що воно таке? Що воно? Ой, мати пречистая!

Сразу выросла толпа и принялась горячо обсуждать несчастие. Делали предположения, отчего именно заболела корова и как всего лучше лечить ее? Явился какой-то древний старик, весь, точно плесенью, покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя шепотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча ждала результатов моления, изредка крестясь. А корова билась на земле в судорогах, пыталась встать и снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с головы шапку, стал ею растирать хребет животного, трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи и столько же вокруг хвоста. И это не помогло. Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку животного, потом угостили его скипидаром, наконец явился коновал, угрюмый мужик, с разнообразными инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пробил ей каким-то ржавым гвоздем вену на шее. Тонкими струйками хлынула густая, черная кровь. Какой-то моралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову и ее хозяина, убитого горем, и сказал:

— От це вам, дядько, божие наказание... Здаетця менi, що хотiли вы утаиты, яка вона ваша корова... И открыв господь людям вашую думку... от як!

Хохол посмотрел на него и грустно покачал головой.

— Бог мою думку знае...— вздохнул он.

А рядом с этой сценой разыгрывается другая. «Жiнка», размахивая руками, как поломанная мельница крыльями, бранит своего «чоловiка». Он сидит на земле, упираясь в нее руками, и блаженно улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке, ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в грудь и лицо.

— Голодранец ты! Хиба же морді твоій не стыдно? Э-э, шибеник! Вiзьму кнут, та як учну стегать...

— Оле-ена! Утыхо-о-омырся-а! — тянет «чоловiк», подмигивая жiнке.— Слухай... Я и тобi пивквarты купив.

— О-о! — стонет жiнка.— Бесстыжи очи!

Наклоняясь к мужу, она с великим трудом приподнимает его с земли и старается засунуть это расслабленное хмелем тело под воз. «Чоловiк» стукается головой о колесо и предупреждает жену:

— У кармані штанів скляница... то як бы и... и вона не побилась... э?

Через минуту они оба дружелюбно распивают «пивквarты», и добрая, хотя строгая, супруга уже обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он мог свалиться в любую сторону без риска удариться своей головой о колесо.

Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и кричит:

— Роменский табак! Панский табак! Крепчайший табак! Черт курил — дымом жiнку уморил.

— От це добрый табачино, коли з его жiнки мрут! — замечает какой-то Солопий Черевик.

В центре ярмарки два длинных ряда палаток образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под одним из полотняных навесов приютился еврей с рулеткой. Его окружает плотная толпа преимущественно молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые, то возбужденные голоса:

— Красна! Черна! Чет!

В стороне бледный и встревоженный парубок уговаривает другого:

— Онисиме! Дай же мені карбованец! Бо я, мабудь, и ворочу мои гроши... О, не грать бы мені в ту бісову штуку... Вертыться, вертыться — та и вывернет твои карманці...

Остробородый ярославец торгует гребешками, ножичками, книжками, мылом...

— Паж-жалуйте-с! Заграничные товары! Столичные книги! Благовонные мыла! Небесные духи! Молодой юноша! — позвольте вам предложить книжечку для приятного чтения-с? Не угодно ли подробно рассмотреть, очень занимательная история — смерть господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого. При сем же веселая комедия — «Плоды просвещения». Очень тонко осмеяны господа столичные и русские мужики. Продаю за двадцать копеек-с! Графское сочинение — за двугривенный, дешевле никто не продаст! А вот еще не пожелаете ли — «Князь Серебряный»? Про царя Ивана Грозного... по случаю того, как эта книжечка уже читана,— за тридцать пять копеек отдам! Стихи поэта Пушкина-с — по пятачку и по три копейки книжка... Прекрасные стихи самого веселого содержания... «Андрей Бесстрашный, русская повесть»... цена три копейки. «Япанча, татарский наездник, взятие города Казани». О разведении кур — не желаете ли просветиться? Пять копеек цена... Машинка для усов — извольте-с! «Житие и иже во святых отца нашего»... Красавица! Купите зеркальце? Душистое мыло есть... Чего-с? За Ивана Ильича гривенник? Напечатано на книжке — двадцать. За гривенник могу продать вот-с «Еврейские рассказы»... Тетка! Ты так гребень сломаешь... Почтенный!— купите бритву? «Загробная жизнь, или О том, что ждет душу нашу по смерти»... Весьма полезно знать — цена полтина! Не желаете? «Болезни домашних животных» — полюбопытствуйте! «Веретагианская кухня»... А то вот часики продаю: серебро — как золото, ход самый правильный, цена дешевая... Почтеннейший — мыльца для дочки не желаете ли приобрести?.. Последнее слово, милый: за Ивана Ильича — восемнадцать копеек...

Ни одной секунды не молчит этот сухой и поджарый ярославец, продающий сразу двум десяткам покупателей. Его звонкий голос издали влечет к нему народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают его бойкую, рассыпчатую речь. Здоровенный усатый хохол долго таращил на ярославца большие, выпуклые глаза и вдруг расхохотался.

— Чого вы, пане, регочете? — спросил его сосед.

— Та ось він, цей москаль, нехай ему, бісову сыну, гадюка у глотку влізе... Він зовсім як та молотилка роботае. Доброму чоловіку у мисяць стільки не казати, як він у час кажет...

А у возов с глиняной посудой из Опошни,— посудой, замечательной по рисункам, но грубоватой по исполнению,— торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в руках подходит, берет макитру — подобие великорусской корчаги — и, рассмотрев ее, спрашивает:

— Скільки грошей?

— За що? — осведомляется продавец, возлежащий под возом на брюхе.

— А за макитру...

— Тридцать пьять копіек...

— О, лишечко! та то дуже дорого!

— Хиба ж?

— А звісно! Вон она не ровна, та корява...

— А що ж вы, пани, с цеі макитры стрелять хочете, чи що? Зачім ей буты ровной? Не ружье вона, а макитра.

— Та воно вірно... Ще и не гладка вона, та и тускла яка-то...

— Так же то зеркало гладко та блестяще, зеркало, а не макитра...

— Вона и дребезжит...

— О? То значится — в ней дірка е.

— То-то е дірка...

— Так вже світ устроен, пани, что у ним усе діряво... Вон и у вас, пани, хусточка з діркой.

Пани краснеет и оправляет платок на груди...

— А вы, пани, подивитеся, може и знайдете крепку макитру.

Пани смотрит макитры, а продавец, неподвижно лежа под возом, смотрит на нее...

— Будьте милостивы, скажить мені — от така хороша? — показывает пани выбранную посудину.

— Це? Зо всих наилучча...

Начинают торговаться. Это длится долго, часто прерываясь паузами, во время которых женщина выдумывает все новые и новые недостатки макитры, а торговец наслаждается покоем в тени воза. Бойчее торгуют «жінки». Они продают какое-то розовое питье, вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат на земле, и, так как ее здесь очень любят, она покупается хорошо. Звонкие голоса женщин так и режут уши.

— Рыба черноморска, керченска, вкусна та солена!

— А вот ще наилучча рыба!

Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Гонят скотину на Псел, раздается мычание, суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших,

собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дідовы могилы», собирается «танцювати» в виду их. Тополя на погосте тихо качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

А тепери я веліка,
Треб-ба мені чоловіка... —

распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные звуки сопилки.

Тени от возов становятся все длиннее. Жара спадает. С лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает; люди, изможденные хлопотами и зноем дня, укладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волы, пережевывая сено; фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

— Гóспода, сим восхва-а-алим и возблагодарим творца на-а-шего,— поет слепой, аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные шепчут что-то — видно, как шевелятся их губы, иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов. «Гей-гей!» — гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи, верхом на конях, во время похода, старыми свободолюбивыми «лыцарями», проливавшими свою бурную и горячую кровь «за віру християньску та вольності козачи»...

— Пойте славу бога нашего-о... яко он творец мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем упокоение...— поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним — в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

1897

БЫВШИЕ ЛЮДИ

I

Въезжая улица — это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворечницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел — жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора — это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью,— и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко развертывается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой, старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки — точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид — казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков.

Ворота отворены — одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора — низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка — длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась — только с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок из барочного днища тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола — сыростью, от нар — гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам,— «просто — жил! И славно жил, черт возьми! Умеючи жил, могу сказать!»

Это был широкоплечий, высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным око-

лышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен,— поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером — навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

— Что за человек? — спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

— Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

— Все в порядке. За ночь — две копейки, за неделю — гривенник, за месяц — три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри — не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

— А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

— Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику — хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц,— объяснял Кувалда деловым тоном,— ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать — вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин — значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно-строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

— Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

— Здорово. Жив. Говори дальше.

— Не узнали?

— Не узнал.

— А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

— Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

— Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

— Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

— Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

— Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабак с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

— А вы все такой же — все шутите?

— Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

— Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

— Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить,— резонировал ротмистр.— Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья — невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубовного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка вот тебе двугривенный,— иди и принеси косушку водки, на пятачок горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел.

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

— Приехали! Баста! — говорил ротмистр.— Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив — не покаешься, не покаявшись — не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя — скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел пред со-

бой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

— Н-ну, друг мой,— критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда,— штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения — верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

— Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? — смущенно осведомлялся клиент.

— Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

— Покорнейше благодарю за ласку! — говорит тронутый клиент.— Экой вы добряга, право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

— Что значит — на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты — ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь — какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно — и то ненадолго — мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель

был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол,— Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить,— можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведал еще несколько профессий, наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным, острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

— Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

— Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! — строго предупреждал его ротмистр.

— Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

— Хоть реви — не дам!

— Ну, и — кончено! — вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему спра-

ведливость — он вполне искренне увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

— Химик! Ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал — пеняй на себя!

— Его благородие настоящий воин — вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, невыразимыми словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

— Не можешь? — угрюмо спрашивал ротмистр.

Учитель утвердительно кивал головой.

— Потерпи еще день,— может быть, справишься? — предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга все трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

— В большинстве случаев бесполезно спорить с роком,— говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети — живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали все, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему однолетку, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, как вьюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватали за нос. Все это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по нескольку часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь — прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец — мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой в «ремешок», «в три листика», «в банковку», и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

— Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Объедок. Он промышлял торговлей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, расстриженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священ-

ники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче — он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший все оживлять и даже в камни влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали — днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

— Я — босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

— Ты — дурак! — решил Аристид Кувалда.— Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

— Нет, уж я поживу с вами.

— Для чего?

— А так...

— Ах ты — метеор! — сказал ротмистр.

— Вот я ему сейчас зубы вышибу,— предложил Мартьянов.

— А за что? — осведомился парень.

— Так...

— А я возьму камень и по голове вас тресну,— почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

— Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним... мы все живем без достаточного к тому основания...

— Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас,— посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и все замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они — «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик тряпичник Тяпá. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «Шаркнули просто так, озорство», и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной — он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

— Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпá хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпá при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпá, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпá молча слушал все, что читалось, и глубоко

«Дело с застежками»
Художник И. Симаков
Цинкография. 1919 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпá протягивал свою костлявую руку и говорил:

— Дай-ка...

— На что тебе?

— Дай,— может, про нас есть что...

— Про кого это?

— Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побило хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа,— все, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпá читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

— Эй ты, чернокнижник,— говорил ему Кувалда,— что ты понимаешь? Брось!

— А что ты понимаешь?

— И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...

— А я читаю...

— Ну, и — глуп! — решал ротмистр.— Когда в голове заведутся насекомые — это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь жить, старая жаба?

— Мне недолго уж,— говорил спокойно Тяпá.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпá кратко ответил ему:

— В тюрьме...

— Ты был там?

— Был...

— За что?

— Так... ошибся... Вот и библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

— Н-ну? Чем это?

— Вразумляет... Грамоте вот научился.... книгу достал... Все — даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпá уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю,— чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпá сгибал весь свой корпус набок,— долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

— Вот — ты ученый был... Библию-то читал?

— Читал...

— То-то... Помнишь ее?

— Ну — помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

— Помнишь, были там амаликитяне?

— Ну?

— Где они теперь?

— Исчезли, Тяпá,— вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

— А филистимляне?

— И эти тоже...

— Все вымерли?

— Все...

— Так... А мы тоже вымрем?

— Придет время — и мы вымрем,— равнодушно обещал учитель.

— А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

— Врешь ты все! — захрипел он, когда учитель кончил.

— Почему вру? — изумился тот.

— Какие ты народы назвал? Нет их в библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

— Из ума ты выживаешь, Тяпá, — убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым, грязным пальцем.

— От господа — Адам, от Адама — евреи, значит все люди от евреев... И мы тоже...

— Ну?

— Татары от Измаила... а он от еврея...

— Да тебе-то чего надо?

— Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

— Был ты ученый... должен знать — кто мы?

— Славяне, Тяпá,— ответил учитель.

— Говори по библии — там таких нет. Кто мы — вавилоняне, что ли? Или — эдом?

Учитель пустился в критику библии. Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

— Погоди,— брось! Значит, в народах, богу известных,— русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так ли? Которые в библии записаны — господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом,

разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения,— жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

— Н-не знаю! — протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

— Так и скажи!.. А то говоришь ты много,— будто все знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь — разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть — врешь ты... он в библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь,— какой он? Он — огромный... Сколько деревень на земле? Все народ там живет,— настоящий, большой народ. А ты говоришь — вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амаликитяне не умерли — они немцы или французы... а ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господа? Кто нас научит?..

Речь Тяпы́ была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и учителю, который, по обыкновению, был выпивши и в минорном настроении, стало наконец так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу́ в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым тоном, а — мягким, отечески-ласковым. И учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

— Какой ты человек?.. Душа у тебя изорванная... а говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...

— Эх, Тяпа́,— тоскливо воскликнул учитель,— это — верно! И народ — верно!.. Он огромный. Но — я ему чужой... и — он мне чужой... Вот в чем трагедия. Но — пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.. Я действительно говорю много... и это не нужно никому... но — я буду молчать... Только ты не говори со мной так... Эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

— Шел бы ты в деревню,— просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься? — сурово хрипел Тяпа́.

А учитель все плакал, наслаждаясь слезами.

С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

— Учитель охаживает Тяпу́, к деньгам его держит курс.

— Это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой — начинается чтение.

— Ну-с,— говорит ротмистр,— о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?

— Нет,— сообщает учитель.

— Жадничает издатель... а передовица имеется?

— Есть... Гуляева.

— Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.

— «Оценка недвижимых имуществ,— читает учитель,— произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»

— Это наивно,— комментирует ротмистр Кувалда,— продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...

— Статья и написана на эту тему,— говорит учитель.

— Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах действующим и страдающим лицом является купец — Аристид Кувалда искренне ликует. Обворовали купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили — приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец — великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

— Это было бы незаконно,— замечает учитель.

— Незаконно? Но законен ли сам купец? — спрашивает Кувалда.— Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление: прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик!

— Ловко! — одобряет публика вывод оратора.

А Тяпá мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра — «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он — зло ругается.

— Если б я писал в газетах! — восклицает он.— О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

— Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода,— исчезают люди из жизни...

— Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали,—людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-ви-жу!

— Оно и понятно, потому что и ты, брат, попран во прах ими же...

— Я? Я погиб от любви к жизни,— дурак! Я жизнь любил, а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это,— а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на все и на всех... и вся жизнь для меня—любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.

— Врешь! — говорит Объедок.

— Я вру? — орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

— Зачем кричать?—раздается холодный и мрачный бас Мартьянова.—Зачем рассуждать? Купец, дворянин—нам какое дело?

— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку...— вставляет дьякон Тарас.

— Отстаньте, Объедок,— примирительно говорит учитель.— Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гри-

масу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со всеми, а если это не удается ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

— Я повторяю,— более спокойно продолжает он,— я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

— Однако, брат,— говорит учитель,— купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

— Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

— А до этих тебе какое дело? — тихо спрашивает учитель.

— А — разве я не живу? Ага! Живу,— значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

— И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке,— задирает Объедок.

— Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы,— чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно,— поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни — новость...

— Несомненно, нам нужно это,— говорит учитель.

— Зачем? — спрашивает Конец.— Не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такою жизнью.

— И какая мы новость? — усмехается Объедок.— Гольтепа всегда была.

— И она создала Рим,— говорит учитель.

— Да, конечно,— ликует ротмистр,— Ромул и Рем — разве они не золоторотцы? И мы — придет наш час — создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия,— перебивает Объедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

— Все это глупости,— мечты,— ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек — он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее,— хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Объедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного — и у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:

— Баб ко мне не водить ... Бабы, купцы и философия — три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За философию — оторву голову...

Он мог оторвать голову — несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой все сокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клок их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог

играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

— Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

— Бывает,— подтвердил дьякон Тарас.— Я привык дьяконицу свою по воскресеньям после обедни бить; так, знаете, когда умерла она — такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил — вижу, плохо! Другое — стерпел. Третье — кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье — вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился...

— Дьякон,— врешь! Как ты мог в другой раз жениться? — оборвал его Объедок.

— А? А я так — она у меня за хозяйством смотрела.

— У вас были дети? — спросил его учитель.

— Пять штук... Один утонул. Старший,— забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять было... как же! Мы, духовенство, плодовитые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и — умолк.

О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди — интеллигенцией клуба.

По субботам — вечерами, в воскресенье — с утра до ночи — трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее

жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменье обо всем говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей — не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За все это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии: одна полагала, что «ротмистр — куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большущие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от сумы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

— Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворечницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? — жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

— Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города — и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек — девицы для упряжи вполне годные. А то разрушьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла: на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:

— А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

— Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу — ну и пускай!

— Некоторые дома попадать хотят...

— Не мешайте им, пускай падают! Упадут — дери с города вспомоществование: не даст — валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

— Вода — от дождя, скажут...

— Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит, да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вняла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более — признали необходимым проложить со временем по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся:

— Справедливо — одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста — верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я — посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку и капусту,— все это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

— Видел я,— говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину,— видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находится в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него,

ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.

— Видел? Понравилось? — спрашивает Яшка.

Публика сдержанно смеется.

— Нет, не понравилось,— отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

— Кажись бы, я старался,— бравирует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет».— Жена довольна,— не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры, и, разглядывая их, говорит:

— Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам — значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства — денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным — и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

— Верно,— подтверждает публика.

— Ну, это, чай, тово,— не случится! — говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем.— Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! — восклицает он с огорчением.— Чуть я что,— и пойдет меня есть, как ржа железо!

— Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену,— снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя,— у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

— Вот это верно,— восклицает Яков,— живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

— Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек — и терпит без вины перед тобой,— только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

— Оно так... черт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

— Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам — бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека,— мораль кабака и несчастия.

— Что, брат Яша, понял?

— Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену — вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? — философствует калачник Мокей Анисимов.— Жена — друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь — цепь почуешь...

— Погоди,— говорит Яков,— ведь и ты свою бьешь?

— А я разве говорю — нет? Бью... Иначе невозможно... Кого же мне — стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?

— Ну вот, и я тоже...— говорит Яков.

— Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

— И даже жену бей с оглядкой! — юмористически скорбит кто-то. Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызывали усиленную жажду обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились

глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

— Не горюй, братцы! Все имеет свой конец — это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят. и у воробья — пиво.

Но его речи не действовали — глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное. удалое веселие вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств?

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Все относительно на этом свете, и нет в нем для человека такого положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова,

с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу,— о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

Перед глазами ротмистра стоял этот купец — маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой, клинообразной бородкой, с высоким, изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкают узкие, серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» — выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

— Энто тот самый огарок — квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

— Сидишь? — спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его, или же хочет изобразить поклон.

— Мыкаешься? — в тон ему сказал ротмистр и сделал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

— Денег у меня много — вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход,—дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

— Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю,— комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

— Али это не все равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

— Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги, обыкновенно, являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает.... Совести меньше — денег больше...

— Это верно... А то есть люди, у которых ни денег, ни совести...

— Ты смолоду-то таким и был? — простодушно спрашивает Кувалда. Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван Андреевич вздыхает, щурит глазки и говорит:

— Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять пришлось!

— Я думаю....

— Работал я, ох как работал!

— А многих обработал?

— Таких, как ты? Дворян-то? Ничего,— достаточно их от меня Христовой молитве выучились...

— Не убивал, только грабил? — режет ротмистр. Петунников зеленеет и находит нужным изменить тему.

— А хозяин ты плохой — сидишь, а гость стоит...

— Пусть и он сядет,— разрешает Кувалда.

— Да не на что, вишь...

— На землю... земля всякую дрянь принимает...

— Я это по тебе вижу... Однако пойти от тебя, ругателя,— ровно и спокойно сказал Петунников, но глаза его излили на ротмистра холодный яд.

Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в месяц он не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал себе кости. Сколько уже он создал остроумных комбинаций падения и вяческих увечий, глядя на Петунникова, лазившего по лесам, как паук по своей сетке. Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со своего места.... Но — ничего не вышло.

И сегодня, как всегда, перед глазами Аристида Кувалды торчит это красное здание, прочное, плотное, крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется над ротмистром зияющими дырами своих

стен. Солнце льет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на уродливые домики Въезжей улицы.

«А вдруг! — мысленно воскликнул ротмистр, измеряя глазами стену завода.— Ах ты, черт возьми! Если бы...» Весь встрепенувшись, возбужденный своей мыслью, Аристид Кувалда вскочил и торопливо пошел в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про себя.

Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием:

— Вашему благородию здравия желаем!

Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера.

— Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть? — торопливо спросил Кувалда.

— Имею.

Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное.

— Покажи мне! — воскликнул ротмистр, стукая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.

— А зачем? — спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.

— Болван, неси скорей!

Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку.

— Где они у меня, эти самые бумаги?

На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу; тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке.

— Будет тебе кобениться,— прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.

— Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение...

— Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи мне сейчас план, купчую и все, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого — понял?

Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в дверь за буфетом. Через две минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже.

— Ан они, проклятые, дома!

— Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был...— не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув перед собой бумаги и все более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот наконец он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову:

— Погоди... не прячь их...

Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик выручки, запер его и подергал рукой — хорошо ли заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидал, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, потом вдруг радостно просияло.

— Ристид Фомич! Неужто? — воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним.

— Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю...

— Вглубь?.. Десять сажен два аршина!

— Что, догадался, бритая харя?

— Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас — в землю вы на три аршина видите! — с восхищением воскликнул Вавилов.

Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:

— Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения,— очень приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоит! Мировую! Тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом — с битым кирпичом, с ямой под новый фундамент,— все высчитаем! Даже время примем в счет! И — позвольте, Иуда, две ты-ся-чи рублей!

— Не даст! — тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов.

— Врет! Даст! Ты пошевели мозгами — что ему делать? Ломать? Но — смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя

будут — не продавайся дешево! Пугать будут — не бойся! Положись на нас...

Глаза у ротмистра горели свиреной радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать возможно скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый.

Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?

Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в каждом было это чувство в разных степенях его развития.

Две недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за все это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки.

Не идет, не идет мой ненаглядный-й...
Эх, знать, не любит он м-меня-а! —

пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-скорбно глядя в гору.

И вот однажды под вечер Петунников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера — краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а! — торжествуя, возгласил ротмистр.

Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происходившего.

— Что значит привычка воровать — человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько укра-

дет,— соболезновал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний.

— Ой, малый! — воскликнул наконец Петунников, взорванный насмешками,— гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!

— Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца,— предупредил ротмистр.

— Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, да ведь и на тебя найдется управа!

Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и погруженный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону.

— Молоденький паучок имеет хорошую выдержку,— заметил Объедок, подробно проследив все действия и движения Петунникова-младшего.

Обмерив все, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.

— Ого! решительный молодой вор — да! Ну-ка, что будет дальше? — спросил Кувалда.

— А дальше Петунников-младший купит Егора Вавилова,— уверенно сказал Объедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.

— А ты этому рад, что ли? — сурово спросил Кувалда.

— А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются,— с наслаждением объяснил Объедок, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице.

Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к Объедку, усмехнулся.

— А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и мокрицы... У тебя есть нюх на все подлое, да... Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего... Сколько взял с них Егорка? Он — взял. Он их же поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят! Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевок летит обратно в твои же глаза.

Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым заключена сделка. Сознание неумения причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто.

— Итак,— чего же мы тут торчим? Нам нечего больше ждать... кроме магарыча, который я сдерну с Егорки,— сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню.— Благоденственному и мирному житию нашему под кровлей Иуды пришел конец. Попрет нас Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне департаменту санкюлотов.

Конец мрачно засмеялся.

— Тюремщик, ты чего? — спросил Кувалда.

— Куда ж я пойду?

— Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя ответит на него, не беспокойся,— задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво двинулись за ним.

— Мы подождем критического момента,— говорил ротмистр, шагая среди них.— Когда нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами... В критические моменты человек становится энергичнее... и если б жизнь, во всей ее совокупности, сделать сплошным критическим моментом, если б каждую секунду человек принужден был дрожать за целость своей башки... ей-богу, жизнь была бы более живой, люди более интересными!

— То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу,— пояснил Объедок, улыбаясь.

— Ну, так что же? — задорно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли пояснялись.

— А ничего,— это хорошо. Когда хотят скорее куда-нибудь доехать, лошадей бьют кнутом, а машины раздражают огнем.

— Ну да! Пусть все скачет к черту на кулички! Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других...

— Свирепо! — усмехнулся Объедок.

— Так что? Я — бывший человек,— так? Я отвержен — значит, я свободен от всяких пут и уз... Значит, я могу наплевать на все! Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону все старое... все манеры и приемы отношений к людям, существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я отстал от них, я должен воспитать в себе что-то новое — понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие господа жизни,

вроде Иуды Петунникова, при виде моей представительной фигуры — трепет хладный в печенках ощущали!

— Экий у тебя язык храбрый,— смеялся Объедок.

— Эх ты!..— презрительно оглядел его Кувалда.— Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты думать? А я — думал... И читал книги, в которых ты не понял бы ни слова.

— Еще бы! Где мне щи лаптем хлебать... Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли....

— Пошел к черту! — вскричал Кувалда.

Его разговоры с Объедком всегда так кончались. Вообще без учителя его речи,— он сам это знал,— только воздух портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним; но не говорить — он не мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Симцову:

— Ну, а ты, Алексей Максимович, куда приклонишь свою седую голову?

Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой нос и объявил:

— Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил, да еще!

— Почтенная, хотя и простая задача! — похвалил его ротмистр.

Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его женщины очень любят. Это была правда: старик всегда имел двух-трех любовниц-проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины — причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношения к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо починенным и более чистым, чем костюм товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовет Редька жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.

Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали — она жила недалеко под горой и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

— Ишь ты, старый черт! — выругался Объедок, глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.

— А почему они меня любят? Потому что я знаю, чем жива их душа...

— Н-да? — вопросительно воскликнул Кувалда.

— Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет,— хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и — убьет...

— Это я убью! — решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой.

— Кого? — спросил Объедок, отодвигаясь от него в сторону.

— Все равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

— Зачем? — осведомился Кувалда.

— Хочу в Сибирь... Мне надоело это... Подлая жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...

— Д-да, там укажут подробно,— меланхолически согласился ротмистр.

О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему.

Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство: в нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не возбуждал других к такому насилию над собой.

Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесаные головы — хаотическое соединение царства растительного с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян — высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения услаждали взоры никому не нужных людей...

А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена.

Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой:

— Егор Терентьевич Вавилов — это вы и есть?

— Точно так! — ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него.

— Имею к вам дело,— заявил Петунников.

— Вполне приятно... Пожалуйте в комнаты!

Они прошли в комнаты и сели — гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным трехстворчатым киотом, на стене, около него, висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально осмотрели друг друга, и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова, Вавилову — открытое, холодное и решительное лицо Петунникова с широкими, крепкими скулами и частыми белыми зубами.

— Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить! — начал Петунников.

— Насчет иску... я так полагаю,— почтительно сказал унтер.

— Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души,— поощрил Петунников собеседника.

— Солдат я...— скромно сказал тот.

— Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.

— Вот именно.

— Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.

— Покорно благодарю,— сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.

— Но, скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко,— прямо с суда?

Вавилов пожал плечами и смолчал.

— Было бы проще прийти к нам и устроить все миром — а? Как вы думаете?

— Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну,— уж поздно.

— Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?

— В этом роде...

— Ну-с, так желаете кончить дело миром?

— С полным удовольствием! — воскликнул солдат.

Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил:

— А почему вы этого желаете?

Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петунникова-сына.

— Известно почему... с людьми надо стараться жить в мире.

— Ну,— перебил его Петунников,— это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.

Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как, бывало, говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу по три зуба.

— Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее полутораста человек, со временем — более. Если сто из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит в месяц вы продадите на четыреста стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгодность нашего соседства.

— Это верно-с,— кивнул головой Вавилов,— это я знал.

— И что же? — громко осведомился купец.

— Ничего-с... Давайте помиримся...

— Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензии против отца. Прочитайте и подпишите.

Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.

— Позвольте... подписать? А как же это?

— Просто, вот напишите имя и фамилию и больше ничего,— обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петунников.

— Нет — это что-о! Я не про это... Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?

— Да ведь вам эта земля ни к чему! — успокоительно сказал Петунников.

— Однако она моя! — воскликнул солдат.

— Конечно... А сколько вы хотели бы?

— Да хоть бы — по иску... Как там прописано,— робко заявил Вавилов.

— Шестьсот? — Петунников мягко засмеялся.— Ах вы чудак!

— Я имею право... Я могу хоть две тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую — ломать!

— Валяйте... Мы, может быть, и сломаем... года через три, втя-

нув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше вашей—вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся.

Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя пред лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.

— А в таком близком соседстве с нами находясь и в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете — табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее... Все это будет иметь хороший сбыт.

Вавилов слушал и, как неглупый малый, понимал, что отдаться на великодушие врага — всего лучше. С этого и надо бы начать. И, не зная, куда девать свою злобу, солдат вслух обругал Кувалду:

— Пьяница, ан-нафема!

— Это вы того адвоката, который сочинял вам прошение? — спокойно спросил Петунников и, вздохнув, добавил: — Действительно, он мог сыграть с вами скверную шутку, если б мы не пожалели вас.

— Эх! — махнул рукой огорченный солдат.— Двое тут... Один нашел, другой писал... Корреспондент проклятый!

— Это почему же — корреспондент?

— Пишет в газеты... Всё — ваши постояльцы... Вот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбойники! Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья нет от них,— отчаянные люди — того гляди, ограбят или подожгут...

— А этот корреспондент,— он кто такой? — заинтересовался Петунников.

— Он? Пьяница! Учителем был — выгнали. Пропился, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый человек!

— Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с! Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке,— леса там, что ли, нашел неправильно поставленными.

— Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и хвалился — вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.

— Н-да... Ну-с, так как же вы — мириться намерены?

— Мириться?

Солдат опустил голову и задумался.

— Эх ты, жизнь наша темная! — с обидой в голосе воскликнул он, почесав затылок.

— Учиться надо,— порекомендовал ему Петунников, закуривая папиросу.

— Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой! Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу... с постоянной оглядкой... вполне лишен свободы желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот кикимора учитель в газетах пишет на меня... санитарный надзор навлекает, штрафы плачу... Постояльцы ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их — они даже рады — хлеб им даровой.

— А вот мы их устраним,— если сойдемся с вами,— пообещал Петунников.

— Как же мы сойдемся? — с тоской и угрюмо спросил Вавилов.

— Говорите ваши условия.

— Да что же? Шестьсот по иску...

— Сто рублей не возьмете? — спокойно спросил купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко улыбнувшись, добавил: — Больше не дам ни рубля...

После этого он снял очки и медленно стал вытирать их стекла вынутым из кармана платком. Вавилов смотрел на него с тоской в сердце и в то же время проникался почтением к нему. В спокойном лице молодого Петунникова, в его серых, больших глазах, в широких скулах, во всей его коренастой фигуре было много силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов понимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рассматривая его, почти любуясь им, он не вытерпел и, ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту заглушившего все остальные его ощущения, почтительно спросил Петунникова:

— Где изволили учиться?

— В технологическом институте. А что? — вскинул тот на него улыбавшиеся глаза.

— Ничего-с, это я так,— извините! — Солдат понурил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже вдохновенно воскликнул: — Н-да! Вот оно, образование-то! Одно слово,— наука — свет! А наш брат,— как сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше благородие! Давайте кончим дело?

Он решительным жестом протянул руку Петунникову и сдавленно сказал:

— Ну — пятьсот?

— Не больше ста рублей, Егор Терентьевич,— как бы сожалея, что больше дать не может, пожал плечами Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей белой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел навстречу желанию Петунникова крупными скачками, а тот был непоколебимо тверд. И когда Вавилов получил сто рублей и подписал бумагу,— он ожесточенно бросил перо на стол и воскликнул:

— Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться! Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!

— А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму иска,— предложил Петунников, спокойно пуская изо рта тонкие струйки дыма и следя за ними.

— Да разве они этому поверят? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавилов остановился вовремя, смущенный едва не сказанным сравнением, и с боязнью взглянул на купеческого сына. Тот курил, весь был поглощен этим занятием. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову разорить гнездо беспокойных людей. Вавилов смотрел ему вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крикнуть что-нибудь злое и обидное в спину этого человека, твердыми шагами поднимавшегося в гору по дороге, изрытой ямами, засоренной мусором.

Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался навстречу ему.

— Н-ну, достойный потомок Каина и Иуды, рассказывай...

— Порешили,— сказал Вавилов, вздохнув и опуская глаза.

— Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?

— Четыреста целковых...

— Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за открытие, четвертную учителю за написание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам.

Вавилов позеленел и широко открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы, Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...

Кувалда взглянул на часы за стойкой.

— Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конец тебе кое-что продал? Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего — помешаем. И сегодня же ночью... Понял?

— Аристид Фомич! За что? — взвыл отставной унтер.

— Без слов! Понял или нет?

Высокий, седой и внушительно нахмурившийся Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще гудел в пустой харчевне. Вавилов всегда немножко боялся его, как бывшего военного и человека, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним в новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а в том, что он говорил тоном командира, уверенного в повиновении, звучала нешуточная угроза. И Вавилов чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет, погубит с удовольствием. Нужно было покориться силе. Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз попробовал увернуться от кары. Он глубоко вздохнул и смиренно начал:

— Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич... хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я получил только...

— Дальше,— бросил ему Кувалда.

— А не четыреста, как сказал вам. Значит...

— Ничего не значит... Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят пять рублей. Это скромно...Ну?

— Эх, господи боже мой! Я вашему благородию всегда, сколько мог, оказывал внимания.

— Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!

— Извольте,— я дам... Только вас бог накажет за это.

— Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! — гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами.— Я наказан богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя, говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!

Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зубами, оскалив их.

Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и учащенно моргать глазами. Потом по щекам его покатились две крупные слезы. Они были какие-то серые, и, когда скрылись в его усах, две другие явились на их место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, встал там перед образами и так стоял долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых коричневых щек.

Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но ротмистр и все остальные единодушно обругали и дьякона и природу, решив пить у себя на дворе.

— Один, два, три...— считал Аристид Фомич,— итого нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать персон. По два с половиной огурца на брата, по фунту хлеба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылке... Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои, мерзавцы? Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это — кровь и плоть его!

На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили пития и яства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить, сверкавшее у всех в глазах.

Наступал вечер, тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо.

— Приступим, братия! — скомандовал ротмистр.— Сколько чаш имеем мы? Шесть, а нас — тринадцать... Алексей Максимович! Наливай! Готово? Н-ну, перррвый взвод... пли!

Выпили, крякнули и стали есть.

— А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видал? — спросил Кувалда.

— Никто...

— Это не в его характере! Ну, все равно. Выпьем еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, черт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он на некоторое время лишил меня своего общества.

— Это остроумно,— сказал Объедок и закашлялся.

Ротмистр с сознанием своего превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел.

Выпив дважды, компания сразу оживилась — порции были внушительные. Полтора Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в спор с Кубарем о преимуществах худых женщин пред толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая Кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами. Объедок дразнил Тяпу́.

— Я уже подсмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь!

— Твое счастье,— хрипел Тяпа́.

— Я, брат, у тебя их поддедюлю!

— Бери...

Кувалде было скучно с этими людьми: среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его.

— Где бы это мог быть учитель? — вслух подумал он.

Мартьянов посмотрел на него и сказал:

— Придет...

— Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их? Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... как Илья Муромец бил татар татарином. С деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он — пойдет... дать ему сто рублей в месяц — и пойдет! Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать...

— И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоит,— убедительно говорил дьякон.— Первая дьяконица моя покупала на платье двенадцать аршин, а вторая десять... Так же и в пище...

Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил:

— У меня тоже была жена...

— Это со всяким может случиться,— заметил Кувалда.— Ври дальше...

— Была худая, но ела много... И даже от этого померла...

— Ты отравил ее, кривой,— убежденно сказал Объедок.

— Нет, ей-богу! Она севрюги объелась,— рассказывал Полтора Тараса.

— А я тебе говорю — ты ее отравил! — решительно утверждал Объедок.

С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.

Дьякон вступился за друга.

— Нет, он отравить не мог... не было причины...

— А я говорю — отравил! — взвизгнул Объедок.

— Молчать! — грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению,—

опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутыль водки, уже наполовину пустую. Тяпá смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Объедок лежал на животе и кашлял, съежив все свое маленькое тело. Остальные — всё молчаливые и темные фигуры — сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.

Жила-была в Суздале
Барыня незнатная,
И с ней случилась судорга
Оч-чень неприятная! —

вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал.

Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:

— Ишь какие черти!

Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крякнули...

— Ну, и тоска же! — воскликнул дьякон.— Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вивилонских»!

— Он разве умеет? — спросил Симцов.

— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был... Ну, Кривой... На-а-ре-е-е-ка-а...

Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.

Объятый тьмою выморочный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем.

Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.

— Вы, собаки! Погодите выть...— сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь.— Кто-то едет... на пролетке...

Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:

— Ну, где же?

Кто-то ответил:

— А вон к тому дому, должно быть.

— Дальше не поеду...

— Это к нам! — воскликнул ротмистр.

— Полиция! — прозвучал тревожный шепот.

— На пролетке-то! Дурак! — глухо сказал Мартьянов.

Кувалда встал и пошел к воротам.

Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.

— Это ночлежный дом? — спрашивал кто-то дребезжащим голосом.

— Да,— прогудел недовольный бас ротмистра.

— Здесь жил репортер Титов?

— Это вы его привезли?

— Да...

— Пьяный?

— Болен!

— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

— Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите под мышки... Был доктор. Очень скверно...

Тяпá встал и медленно пошел к воротам, а Объедок усмехнулся и выпил.

— Зажгите-ка огонь там! — крикнул ротмистр.

Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком ввели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При по-

мощи Тяпы́ его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.

— Мы с ним в одной газете работали... Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете...» Но он молит меня: «Отправьте домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и вот привез его... Ведь это именно здесь... да?

— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? — грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга.— Тяпа́, ступай принеси холодной воды!

— Так вот...— смущенно помялся человечек.— Я полагаю... я не нужен ему?

— Вы? — Ротмистр критически посмотрел на него.

Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.

— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много...— сказал ротмистр, отворачиваясь от человечка.

— Значит, до свидания! — Человечек пошел к двери и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится... вы известите в редакцию... Моя фамилия — Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы...

— Гм, некролог, говорите? Двадцать строк — сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог, дня на три хватит... у него ноги толстые... Ели же вы его все там живого...

Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:

— Филипп!

Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.

— Это, брат, нелепо! — сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмурив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.

Пришел Тяпа́ с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.

— Не надо воды,— махнул рукой ротмистр.

— Попа надо,— уверенно сказал старый тряпичник.

— Ничего не надо,— решил ротмистр.

Они помолчали, глядя на учителя.

— Пойдем выпьем, старый черт!

— А он?

— Ты ему поможешь?

Тяпá повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.

— Что там? — спросил Объедок, обращая к ротмистру свою острую морду.

— Ничего особенного. Умирает человек...— кратко сообщил ротмистр.

— Избили его? — поинтересовался Объедок.

Ротмистр не ответил, он пил водку.

— Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить,— сказал Объедок, закуривая панировсу.

Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл:

— Иде же праведнии у-по-ко-я-ются-а!

— Ты! — зашипел Объедок,— что орешь?

— Дай ему в рожу! — посоветовал ротмистр.

— Дурак! — раздался хрип Тяпы́.— Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами, грозившем дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось— вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на группу этих людей.

— А... скверно на душе, когда умирает человек близкий...— заикаясь, проговорил ротмистр и склонил голову на грудь.

Никто ему не ответил.

— Среди вас — он был лучший... самый умный и порядочный. Мне жалко его...

— Со-о святы-ими упоко-ой... пой, кривая шельма! — забурлил дьякон, толкая в бок своего друга, дремавшего рядом с ним.

— Молчать!.. ты! — злым шепотом воскликнул Объедок, вскакивая на ноги.

— Я его ударю по башке,— предложил Мартьянов, поднимая голову с земли.

— А ты не спишь? — необычайно ласково сказал Аристид Фомич.— Слышал? Учитель-то у нас...

Мартьянов тяжело завозился на земле, встал, посмотрел на полосы света, исходившего из двери и окон ночлежки, качнул головой и молча сел рядом с ротмистром.

— Выпьем? — предложил тот.

Ощупью отыскав стаканы, они выпили.

— Пойду посмотрю...— сказал Тяпá,— может, ему надо чего.

— Гроб надо...— усмехнулся ротмистр.

— Не говорите вы про это,— глухим голосом попросил Объедок.

За Тяпóй встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел встать, но свалился набок и громко выругался.

Когда Тяпá ушел, ротмистр ударил по плечу Мартьянова и вполголоса заговорил:

— Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен чувствовать... Ты был... впрочем, к черту это. Жалко тебе Филиппа?

— Нет,— помолчав, ответил бывший тюремщик.— Я, брат, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь...

— Да? — неопределенно произнес ротмистр.— Ну... что же? Выпьем еще!

— Н-наше дел-ло маленькое... выпил — да еще-о!

Это проснулся и блаженным тоном пропел Симцов.

— Братцы?! Кто тут? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился, ткнувшись головой в чей-то бок.

Минуты две продолжалось молчание, такое же темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то зашептал...

— Что? — раздался вопрос.

— Я говорю, славный он парень был. Голова, тихий такой,— говорили вполголоса.

— Деньги имел... и не жалел их для своего брата...— И опять наступило молчание.

— Кончается! — раздался хрип Тяпы́ над головой ротмистра.

Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.

— Пошто идешь? — остановил его Тяпá.— Не ходи. Пьяный ведь ты... нехорошо!

Ротмистр остановился, подумал.

— А что хорошо на этой земле? Пошел ты к черту!

По стенам ночлежки все прыгали тени, как бы молча борясь друг с другом. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное и — не мог и невыразимо страдал от этого.

Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину, и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил, болезненно наморщив лоб:

— Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди — скоты, ты был для меня — человек... хотя ты пьяница! Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою... и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...

Таинственная, все уничтожающая сила, именуемая смертью, как бы оскорбленная присутствием этого пьяного человека при мрачном и торжественном акте ее борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое бесстрастное дело,— учитель, глубоко вздохнув, тихо простонал, вздрогнул, вытянулся и замер.

Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.

— Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей! Зачем, говоря прямо, сдерживать себя... Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради?..

Он взял его за ногу и потянул к себе.

— А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи... Завтра я все это разъясню тебе и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе... А теперь спи... если ты не умер...

Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к своим, объявил:

— Уснул... или умер... Не знаю... Я н-немножко пьян...

Тяпá еще более согнулся, осеняя свою грудь крестным знамением. Мартьянов молча поежился и лег на землю. Объедок стал быстро возиться на земле, вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:

— Черт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же? Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рассказывать? Придет время — я сам умру... не хуже его... Не хуже я других.

— Это верно! — громко говорил ротмистр, грузно опускаясь на землю.— Придет время, и все мы умрем не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это пустяки! Но мы умрем — как все. В этом — цель жизни, верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть. И умирает... И если это так — не все ли равно, как он жил? Мартьянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока живы.

Накрапывал дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света, исходившая из ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла. Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин. Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерешительно. С горы из города неслись унылые, редкие удары в колокол — сторожили церковь.

Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический вздох металла.

Наутро первым проснулся Тяпá.

Повернувшись на спину, он посмотрел на небо — изуродованная шея его только в этом положении позволяла ему видеть небо над головой.

Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился сырой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв собою голубую беспредельность, изливал на землю уныние. Тяпá перекрестился и привстал на локте, чтоб посмотреть, не осталось ли где водки. Бутылка была пустая. Перелезая через товарищей, Тяпá стал осматривать чашки. Одну из них он нашел почти полной, выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо ротмистра.

— Вставай... эй! Слышь?

Ротмистр поднял голову, глядя на него тусклыми глазами.

— Надо полиции заявить... ну, вставай!

— А что? — сонно и сердито спросил ротмистр.

— Что умер он...

— Это кто?

— Ученый-то...

— Филипп? Да-а!

— А ты забыл... эхма! — укоризненно хрипел Тяпá.

Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся так, что у него кости хрустнули.

— Так иди ты, объяви...

— Я не пойду... не люблю я их,—угрюмо сказал Тяпá.

— Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.

Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр подумал, что, если б учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпá, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел:

— Да... вот и умер... И я умру скоро...

— Тебе пора,— хмуро сказал ротмистр.

— Пора уж! — согласился Тяпá.— И тебе тоже надо бы умереть... Все лучше, чем так-то...

— А может, хуже? Ты почем знаешь?

— Хуже не будет. Помрешь — с богом будешь иметь дело... А тут с людьми... А люди — что они значат?

— Ну ладно, не хрипи,— сердито оборвал его Кувалда.

В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо.

Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом Тяпá спросил:

— Хоронить его ты будешь?

— Я? Нет! Полиция пускай хоронит.

— Ну! Чай, ты схорони... ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги... Я дам, коли не хватит...

— Деньги его у меня... а хоронить не стану.

— Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заесть хочешь...— пригрозил Тяпá.

— Глуп ты, старый черт,— презрительно сказал Кувалда.

— Не глуп я... а только нехорошо, мол, не по-дружески.

— Ну и ладно. Отвяжись!

— Ишь! А сколько денег-то?

— Четвертная...— рассеянно сказал Кувалда.

— Вона!.. Дал бы мне хоть пятерочку...

— Экой ты мерзавец, старик...— равнодушно посмотрев в лицо Тяпы́, сказал ротмистр.

— Право, дай....

— Пошел к черту!.. Я ему на эти деньги памятник устрою.

— На что ему?

— Куплю жернов и якорь. Жернов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему. Это будет очень тяжело...

— Зачем? Чудишь ты...

— Ну... не твое дело.

— Я, смотри, скажу...— снова пригрозил Тяпá.

Аристид Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.

— Слышь... едут! — сказал Тяпá, встал и ушел из ночлежки.

Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя:

— Отчего он умер?

— Спросите у него... Я думаю, от непривычки...

— Что такое? — спросил следователь.

— Я говорю — умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал...

— Гм... да! А он давно хворал?

— Вытащить бы его сюда, не видно там ничего,— предложил доктор скучным тоном.— Может быть, есть знаки...

— Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его,— приказал пристав Кувалде.

— Зовите сами... Он мне не мешает и тут...— равнодушно отозвался ротмистр.

— Ну! — крикнул полицейский, делая свирепое лицо.

— Тпру! — отпарировал Кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.

— Я, черт возьми!..— крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью.— Я вам этого не спущу! Я...

— Добренького здоровьица, господа честные! — сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в дверях.

Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил:

— Что это здесь? Никак человека убили?

— Да вот что-то в этом роде,— ответил ему следователь.

Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:

— А, господи боже мой! Как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай! Потом придешь домой, и все такое начинает мерещиться — боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину этому, вот... главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но боюсь все... знаете... народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не того...

Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.

— Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них... совершенно атаман разбойников.

— А вот мы его пощупаем,— многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами.— Он мне тоже хорошо известен!..

— Да, мы с тобой, брат, старые знакомые...— подтвердил Кувалда фамильярным тоном.— Сколько я тебе и присным твоим взяток за молчание переплатил!

— Господа! — воскликнул пристав,— вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А-а! Так вот что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-ращу, мой друг...

— Не хвались на рать идучи...— спокойно говорил Аристид Фомич.

Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следователь со зловещим вниманием, Петунников

с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакивая на него.

В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.

— Однако давайте же что-нибудь делать, господа! — предложил доктор.

Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг — чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.

— Видите? — тревожно сказал купец, указывая на Мартьянова.— Вот какие люди! а?

Кувалда хохотал. Доктор и следователь смеялись, а к дверям ночлежки подходили все новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на головах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.

— Куда лезете! — усовещивал их городовой, дергая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был один, а их много, и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и зловещие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенное обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:

— Господа! Может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Все равно — рано или поздно, вам придется, по обязанностям службы, знакомиться с ними...

Доктор смущенно засмеялся. Следователь плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:

— Сидоров! Свисти... скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу...

— Ну, а я пойду! — сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла.— Квартирку вы мне сегодня ослободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь к полиции...

На дворе пронзительно рокотал свисток полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее обитатели, позевывая и почесываясь.

— Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!.. — смеялся Аристид Кувалда.

Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в ноги покойника.

— Господи благослови... на погребение грешного праха...

— Что-о? — гаркнул ротмистр.— Ты — на погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю... мер-рзавец! Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши... разражу!

— Ваше благородие! — испуганно крикнул купец, хватая пристава за локти. Доктор и следователь выскочили вон, пристав громко звал:

— Сидоров, сюда!

Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом, оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.

Кувалда, потрясая кулаком над головой Петунникова, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:

— Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь — бери, говорю... а то я в зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунников протянул дрожащую руку к своей лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды, говорил:

— Будьте свидетелем, господин пристав, и вы, добрые люди.

— Мы, купец, недобрые люди,— раздался дребезжащий голос Объедка.

Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел, а другую руку держал в воздухе над головой Петунникова, извивавшегося перед ним так, точно он хотел влезть ему в живот.

— Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги целовать у этого трупа? Х-хочешь?

И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда швырнул его, как котенка, к двери.

Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать купцу место для падения. И он растянулся у их ног, испуганно и бешено воя:

— Убивают! Караул... убили-и!

Мартьянов медленно поднял свою ногу, прицеливаясь ею в голову купца. Объедок со сладострастным выражением на своей физиономии плюнул в лицо Петунникова. Купец сжался в маленький комок и, упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор, поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду, кричал:

— Арестовать! Связать!

— Вяжите его, голубчики! — умолял Петунников.

— Не сметь! Я не бегу... я сам пойду,— говорил Кувалда, отмахиваясь от городовых, подбежавших к нему.

Бывшие люди исчезали один по одному. Телега въехала во двор. Какие-то унылые оборванцы уже тащили из ночлежки учителя.

— Я т-тебя, голубчик... погоди! — грозил пристав Кувалде.

— Что, атаман? — ехидно спрашивал Петунников, возбужденный и счастливый при виде врага, которому вязали руки.— Что? Попал? Погоди! То ли еще будет!..

Но Кувалда молчал. Он стоял между двух полицейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя взваливали на телегу. Человек, державший труп под мышки, был низенького роста и не мог положить головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе, точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не дававших ему покоя.

— Веди его,— скомандовал пристав, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим окаменелым лицом пошел за ним. Двор купца Петунникова быстро пустел.

— Н-но, поехали! — взмахнул извозчик вожжами над крупом лошади.

Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот наконец он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее,— никогда не воротится... Петунников, провожая его взглядом, благочестиво перекрестился, потом тщательно начал обивать своим картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по мере того как пыль исчезала с его поддевки, на лице его являлось спокойное выражение довольства. Со двора ему видно было, как по улице в гору шел ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышком, похожим на полосу крови.

Петунников улыбнулся улыбкой победителя и пошел к ночлежке, но вдруг остановился, вздрогнув. В дверях против него стоял с палкой в руке и с большим мешком за плечами страшный старик, ершистый от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело, согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь так, точно он хотел броситься на купца.

— Ты что? — крикнул Петунников.— Ты кто?

— Человек,— раздался глухой хрип.

Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он даже улыбнулся.

— Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?

И, посторонившись, он пропустил мимо себя старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:

— Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на чистенького человека с острой седой бородкой, ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.

1897

СКУКИ РАДИ

...Извергая клубы тяжелого, серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба,— вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-желтая, небо — ярко-голубое. И та и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишенным фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты — главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления ее служащим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно одетых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, равнодушные лица — звонок, свистки — и с грохотом они уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица, и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их сердцах — смутная зависть к людям, которые еже-

дневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами черную ленту,— она исчезает в золотом море хлеба,— молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции — добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник — рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука — маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик.

На скамье у двери станции сидит жена начальника, маленькая, толстая женщина, сильно страдающая от жары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда начальник станции говорит, обращаясь к жене:

— А что, Соня, самовар готов?

— Конечно,— лениво и тихо отвечает она.

— Лука! Ты тут, того... подмети полотно и перрон... видишь— сколько нашвыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвей Егорович...

— Да... ну, что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

— По обыкновению,— говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

— А что, Соня, обед готов?

Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

— Ну, что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

— Как всегда...

Уходят с перрона в комнату, где много цветов и мало мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, вокруг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

— Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в желтом? Ядовитая штукенция!..

— Недурна, но одета безвкусно,— отвечает помощник.

Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он кончил гимназию. У него есть тетрадка в черном коленкоре; он записывает в нее разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признает его авторитет во всем, что не касается службы, и слушает его вни-

мательно. Особенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

— Разве желтое не к лицу брюнеткам?

— Я говорю о фасоне, а не о цвете.— объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы себе на блюдечко.

— Фасон — это другое дело!.. — соглашается начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изощрены — беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своем великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда; но прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведен. Эти новости не обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснется земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение. возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается краем к земле и лениво уходит в нее или за нее. В небе еще долго после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но она все бледнеет. и наступают сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит ночь, черная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздается звонок — повестка к поезду; торопливый звук колокола несется в степь и быстро тонет в ней.

Вскоре после звонка из темной дали выбегает красный сверкающий огонь. и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окруженной тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в деревню за семь верст от станции. Там

у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого и степенного стрелочника «подежурить» на станции.

При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке:

— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно...

А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый солдат с круглым, красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

— Хозяйство! — восклицает он, усмехаясь.— Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ах ты птичий губернатор! — презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг нее, целый день, не смолкая, раздается птичий гам. Плененные солдатом перепела неустанно кричат свое однообразное «подь-полоть», скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними все свое свободное время и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовет ужом, Гомозова — кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они «бабьи прихвостни» и что следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но, если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

— Гарниза ты серая, крысиный объедок! Что ты можешь понимать, отставной козы барабанщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шел жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его — не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплевываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим... Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди, да не осужден будешь...

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать...

Кроме жены начальника, на станции была еще одна женщина— кухарка. Звали ее Арина; ей было лет под сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом лице блестели узкие испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее нескладной фигуре, толстые губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать. Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он говорил ей «здорово!». Она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришел в кухню начальника станции и предложил Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то сама понесла их к нему.

— Вот и спасибо! — сказал Гомозов.— Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть — тридцать копеек следует тебе... Верно?

— Да уж так...— ответила Арина.

Гомозов задумался и долго молчал.

— А ты какой губернии? — спросил он наконец женщину, все время смотревшую на его бороду.

— Рязанской...— сказала она.

— Издалека! А сюда как же попала?

— А так... одна я... одинокая...

— От этого и дальше можно зайти...— вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачского уезда...— заговорил Гомозов.— Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дети — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так... А я того... замотался с горя. Да-а... Потом пробовал опять устроиться — ан нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со своей дороги... вот и бьюсь третий год уж...

— Плохо, когда нет своего гнезда,— тихо сказала Арина.

— Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?

— Девка...

— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.

— Ей-богу, девка,— уверила его Арина.

— Что же замуж не вышла?

— Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть... да и с лица некрасивая...

— Да-а...— задумчиво протянул Гомозов и, поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом справился, сколько она получает жалованья.

— Два с полтиной...

— Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что... ты приди-ка вечером за ними... часов этак в десять, а? Я тебе и отдам... чаю попьем, поговорим скуки ради... Оба мы одинокие... приходи!

— Приду,— просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал ее к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа на койке, посмотрел на нее и, подвинувшись к стене, сказал:

— Садись.

А когда она села, объявил ей:

— Ты вот что,— храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

— Чтобы ни одна душа — ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он принимал ее снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

— А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

— Приходи сегодня...

И она покорно являлась к нему с таким серьезным выражением на своем рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так,— это все-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

— А сегодня жарче вчерашнего,— сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

— Это от скуки кажется, что жарче...

— Гм! Пожалуй... действительно... Вот карты хороши в этом случае... но — нас только трое...

Николай Петрович повел плечами и, прищурив глаза, отчетливо произнес:

— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко! — умилился Матвей Егорович.— Как это? Банкротство мысли... да-а! А кто сказал?

— Шопенгауэр, немец, философ...

— Фи-илософ? Мм...

— А что эти философы — в университетах служат? — полюбопытствовала Софья Ивановна.

— То есть как вам сказать? Это не чин, а... так сказать, природная способность... Философом может быть всякий... кто родится с привычкой думать и во всем искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы... но они могут быть и просто так... даже служить на железной дороге.

— И много получают те, которые при университетах?

— Глядя по уму...

— Но, если бы был четвертый,— премило бы мы повинтили!— со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребенок.

— Арина там? — спрашивает Матвей Егорович.

— Конечно...— кратко отвечает ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович...

— Оригинальность — первый оттиск банальности,— как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

— Как? — оживляется начальник.

И когда Николай Петрович вразумительно повторяет изре-

чение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голоском говорит:

— Как вы хорошо помните то, что читали... а я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то такое интересное, такое забавное,— а что? ни слова не помню!

— Привычка,— кратко объясняет Николай Петрович.

— Нет, это лучше этого... как его? Шопенгауэра...— улыбаясь, говорит Матвей Егорович.— Выходит, что все новое будет старым!

— И наоборот, ибо один поэт сказал: «Да, экономна мудрость бытия: все новое в ней шьется из старья».

— Фу ты, черт! Как это у вас... точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеется, его жена мило улыбается, а Николай Петрович польщен и безуспешно хочет скрыть это.

— Кто это сказал насчет банальности-то?

— Барятинский, поэт.

— А другое?

— Тоже поэт — Фофанов.

— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и нараспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двустишье.

Скука как бы играет с ними,— на минуту освободит их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи — только солнце.

— Да, так я заговорил об Арине,— вспоминает Матвей Егорович.— Странная эта баба, смотрю я на нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чем-то, не смеется она, не поет, говорит мало... пень какой-то. Но между тем она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребенку...

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услыхала его слова. Он знает, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

— Ну, уж ты оставь... ты не все знаешь о ней!

Любви раба,
Я так слаба
В борьбе с тобой,
О демон мой! —

тихонько и речитативом напевает Николай Петрович, отбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.

— Что, что такое? Она... ну, ну, это вы уж врете оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него трясутся, и со лба быстро стекают капельки пота.

— Это совсем даже не смешно! — останавливает его жена.— Во-первых, у нее на руках ребенок; во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А почему?

— Да-а, хлеб действительно не того... нужно ей сделать внушение! Но, ей-богу! это... этого я не ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, черт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого черта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозов...— кратко говорит Николай Петрович.

— Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того — не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами, то серьезно говорит о необходимости сделать влюбленным строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно...— не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

— Телеграп стучит...

— Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку. Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: «могу ли отправить поезд № 42», а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

— А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки, скуки ради, посмеемся хоть немного...

— Это позволительно!..— соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.

Им очень скоро представилась возможность посмеяться.

Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них — ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, все шептала про себя молитвы, известные ей.

Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шепотом:

— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!

— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.

— Заперли нас...

— Как так? — спросил он, вскакивая.

— Подошли и... замком...

— Врешь ты! — испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.

— Погляди сам,— покорно сказала она.

Он встал и, задевая за все, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это солдат...

За дверью раздался ликующий хохот.

— Выпусти! — громко попросил Гомозов.

— Что? — раздался голос солдата.

— Выпусти, мол...

— Утром выпустим,— сказал солдат и пошел прочь.

— Дежурство у меня, черт! — сердито и умоляюще крикнул Гомозов.

— Я подежурю... сиди, знай!..

И солдат ушел.

— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник.— Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальник... что ты ему скажешь? Он спросит — где Гомозов — а? Вот ты и отвечай ему тогда...

— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему,— тихо и безнадежно сказала Арина.

— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов.— Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: — Врешь ты!

Она ответила тяжелым вздохом.

— Что же это будет? — спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери.— Срам-то мне какой! А все ты, уродина чертова, все ты это... у-у!

Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же молчала.

Сырая тьма окружала их,— тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции.

— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов со злобой и презрением.— Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, черт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я связался с этакой!..

— Я прощения попрошу,— тихо объявила Арина.

— Ну?

— Может, простят...

— Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее. А время шло жестоко медленно. Наконец женщина с дрожью в голосе попросила его:

— Прости ты меня, Тимофей Петрович!

— Колом бы тебя по башке простить! — зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.

— Господи! хоть бы светало скорее,— тоскливо взмолилась Арина.

— Молчи ты... я те вот засвечу! — пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени все увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.

Гомозов задремал наконец и проснулся от крика петуха, раздававшегося рядом с погребом.

— Эй, ты... ведьма! Спишь? — глухо спросил он.

— Нет,— тяжелым вздохом ответила Арина.

— А то бы заснула! — с иронией предложил стрелочник.— Эх ты...

— Тимофей Петрович,— почти взвизгнув, воскликнула Арина,— не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом богом прошу — пожалей! Одна ведь я, одна-то одинешенька! И ты мне... родной ты мой — ведь ты мне...

— Не вой — не смеши людей-то! — строго остановил Гомозов истерический шепот женщины, несколько смягчавший его.— Молчи уж... коли бог убил...

И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот наконец в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребе. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.

— М-мучители! — замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и напряженное.

— Господи!.. помилуй...— прошептала Арина.

Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок, и раздается строгий голос начальника:

— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну, живо!..

— Иди ты! — вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.

Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:

— С законным браком поздравляю! Пожалуйте! Музыка — играй!

Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.

Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:

— Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

Тимофею да Орина
Сладки речи говорила...—

пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.

— Ну, идите... ну... под руку бери ее!..— кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя... будет... ах! умру!

За миг свиданья
Терплю страданья! —

пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.

— Ур-ра новобрачным! — скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули «ура», причем солдат кричал ревущим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.

— Мотя, вели им... поцеловаться!.. ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро все грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, пел:

А и густо ты, Орина,
Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.

— Новобрачный удрал, а... она осталась,— кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы — в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.

— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна.— Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.

— Как, как? — переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел время и место вставить маленькую мудрость:

Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно! —

сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил: — Но много смеяться — вредно!

Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою красавицу.

— По оригинальности — это грехопадение номер первый,— сказал Николай Петрович начальнику.

— Грехопадение и есть,— хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

— Вначале она мне все подмаргивала.

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

— Но «не в шитье была тут сила»...— заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете, из Некрасова — из стихотворения «Нарядная и убогая»... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неугомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту, подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать. И в то время, как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

— Господи!.. помилуй...

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрекот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной желтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине ее и уж никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества,— никто, никогда...

К вечеру она услыхала крики:

— Арина-а! Аришка, че-ерт!..

Один голос был голосом Луки, другой — солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, все сильнее терзавшую ее. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погреба и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй...— вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из веревки, на которой сушила выстиранное ею белье.

Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле? Николай Петрович неопровержимо доказал, что виноват — Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожного мастера было поручено свезти ее в степь и там закопать. Когда же это было исполнено — на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова ее обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетавшими мимо них.

...А зимой, когда по степи с воем и ревом носятся вьюги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими звуками,— обитателям станции живется еще скучнее.

1897

ПРОХОДИМЕЦ

I

ВСТРЕЧА С НИМ

...Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стекла пальцем и провозглашал:

— Пустите прохожего ночевать?!

В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к черту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого — молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:

— Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома...

Я понял ее так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа... Пожалев, что он дома, я пошел к следующему окну.

— Добрые люди! Пустите прохожего ночевать?!

Мне ласково ответили:

— Иди с богом — дальше!

А погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал еще много невеселых звуков, нарушая скорбной музыкой темную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут — осень, люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать. Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и наконец уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы,— хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжелой тьме.

Но вот я вижу, что в трех шагах от меня возвышается что-то большое и еще более темное, чем тьма. Догадываюсь — это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях; между полом магазина и землей есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться,— стоит только лечь на живот и проползти туда.

Очевидно, судьба хотела, чтобы я провел эту ночь не под крышей, а под полом. Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздается спокойно предупреждающий голос:

— Держите левее, почтенный...

Это было поистине неожиданно.

— Кто тут? — спросил я.

— Человек... с палкой!..

— Палка и у меня есть...

— А спички есть?

— И спички.

— Вот хорошо!

Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.

— А что, в деревне не пускают ночевать? — спросил невидимый голос.

— Не пускают,— сказал я.

— И меня тоже не пустили...

Это было ясно,— если только он просился на ночлег. Но он

мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтоб выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден богу, но все-таки я решил крепко держать в руке мою палку.

— Не пустили, черти! — повторил голос.— Дубье! В хорошую погоду пускают, а вот в такую — хоть реви!

— А вы куда идете? — спросил я.

— В... Николаев. А вы?

Я сказал куда.

— Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю.

Спички отсырели; я очень долго и нетерпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот наконец вспыхнул маленький огонек,— из тьмы выглянуло бледное лицо в черной бороде.

Большие, умные глаза с усмешкой посмотрели на меня, потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:

— Хотите курить?

Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете ее еще раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:

— Ну, нам, кажется, можно не стесняться,— берите папиросу.

У него в зубах была другая — разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом. Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан веревкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи — «поршни», как их зовут на Дону.

— Странник? — спросил я.

— Пешествую. Вы?

— Тоже.

Он завозился, брякнуло что-то металлическое,— очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам; но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдает странника, в его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность, и пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов «от писания». Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой «бродячей Руси»,— худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же и шел он на Николаев, где нет мощей...

— А откуда шагаете? — спросил я.

— Из Астрахани...

В Астрахани тоже нет мощей. Тогда я спросил его:

— Значит, вы от «моря до моря» ходите, а не по святым местам?

— И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место. Там всегда хорошо кормят... особенно, если со мнихами в интимность вступить. Наш брат Исакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчет этого?

— Пользуюсь.

— Кормовые места. А откуда идете? Ага! Путина протяженная. Запаливайте спичку,— еще покурим. Когда куришь, как будто теплее становится...

Было действительно холодно: и от ветра, который нахально врывался к нам, и от мокрой одежды.

— Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны.... дать?

— Ворону? — спросил я с любопытством.

— А вы их не едите? Напрасно...

Он сунул мне большую краюху хлеба.

— Я не пробовал ворон...

— Нате, попробуйте. Осенью они вкусные. И потом — гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданные тебе рукой ближнего из окна дома его... который всегда, после того как примешь милостыню,— хочется поджечь!..

Это он резонно говорил, резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления: я знал, что в Одессе зимой «раклы» едят крыс, в Ростове — улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь, а есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении.

— А как же вы ловите ворон? — осведомился я.

— Не ртом, конечно. Их можно убивать палкой или камнем, но вернее — удить! Нужно привязать на конец длинной бечевки кусок сала, мяса или корку хлеба. Ворона схватит, проглотит и — тащи ее! Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром.

— Хорошо бы теперь посидеть у костра! — вздохнул я.

Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб: он с таким болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порою вместе с ним прилетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.

— Скучно лежать молча!..— сказал мой соночлежник.

— А говорить — холодно,— заметил я.

— А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется!

— Спасибо за совет...

— Вместе, что ли, пойдем? Нам по дороге...

— Пойдемте!

— Так познакомимся... я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов...

Отрекомендовался и я.

— Ну-с, так вот! Теперь спрошу: вы как попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?

— От скуки жизни...

— И это возможно... А вы знаете одно сенатское издание, именуемое: «Справки о судимости»?

— Знаю...

— Ваше имя там напечатано?

Я в то время еще нигде не печатался, о чем и заявил ему.

— И я тоже не пропечатан...

— Но надеетесь?

— Все в руце божией!

— А вы, кажется, веселый человек?

— О чем горевать?!

— Не всякий скажет это, будучи в вашем положении,— усомнился я в искренности его слов.

— Положение — сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Взойдет солнце — ведь оно взойдет? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедим, согреемся... Разве плохо?

— Хорошо! — согласился я.

— Ну вот видите! Все дурное имеет свои хорошие стороны...

— Все хорошее — свои дурные...

— Аминь! — тоном диакона возгласил Промтов.

Ей-богу, с ним весело! Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним.

Пока мы беседовали, дождь перестал, тьма незаметно начала таять; уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась и свежесть утра — приятная и бодрящая, когда она застает человека одетым в сухое и теплое платье.

— Не найдем ли мы тут чего-нибудь для костра? — спросил Промтов.

Ползая по земле, мы поискали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к своему месту. Отодрав, превратили ее в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли провертеть дыру в полу магазина, дабы достать зерен ржи,— ибо если рожь сварить в воде,—

получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно: мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтоб взять ее два-три фунта.

— А вам какое до этого дело? — спросил Промтов.

— Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности...

— Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя! И нужно только потому, что она для всякого другого — чужая...

Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности и что приятность знакомства с ним, наверное, имеет свои неудобства.

Явилось солнце, веселое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зеленой извилистой ленте деревьев вдали от нас.

— Там — река,— сказал мой знакомый.

Я смотрел на него и думал, что ему, должно быть, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, темные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твердой и спорой походке, в ранце из кожи, ловко прикрепленном на спине, во всей его фигуре видна была привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья сноровка.

— Пойдем мы с вами так,— говорил он,— сейчас за рекой, верстах в шести, будет село Манжелея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички... Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о писании с ними — ни слова! Они сами в писании, как дома...

Мы выбрали себе место недалеко от группы осокорей, набрали камней на берегу речонки, мутной от дождя, и на камнях развели костер. Верстах в двух от нас на возвышенности стояла деревня, солома ее крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени. Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые и багряные цвета листвы и нежно-голубое небо между нею.

— Я буду купаться,— объявил Промтов.— Это необходимо после такой скверной ночи. Советую и вам. А пока мы освежимся — чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо.

Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И когда я увидал его обнаженным, грязные лохмотья, сброшенные им с

себя, показались мне более гнусными, чем казались до сей поры... Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наше платье, согретое у костра. Потом сели к огню пить чай.

У Промтова была железная кружка; он налил в нее кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но черт, который всегда готов посмеяться над человеком, дернул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил:

— Спасибо! Пейте сначала вы, я подожду!

Я сказал это в твердой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мною в великодушии и вежливости,— тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал:

— Ну, хорошо...

И поднес кружку к своему рту.

Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его темные глаза. А он прихлебывал чай, жевал хлеб, вкусно чмокая губами, и делал все это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали, я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.

— Что,— засмеялся Промтов,— невыгодно деликатничать-то?

— Увы! — сказал я.

— Ну и прекрасно! Учитесь... Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и говорят, что все люди— братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками...

— Уж будто вы именно так думаете?

— А чего ради я говорил бы не так, как думаю?

— Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был...

— Не пойму я, чем вызвал у вас такое недоверие ко мне!..— пожал плечами этот волк.— Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своем месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни...

— И мне тоже этого хочется... Скажите мне: кто и что вы?— спросил я у него.

Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:

— Человек никогда точно не знает, кто он... Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает.

— Хотя бы так!

— Ну... думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я — широк... Может быть, это неверно. Но на свете

есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри их живет тревожный зуд желания чего-то нового... Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу, и от этого всегда не удовлетворены, несчастны, крупных ничто не удовлетворяет — ни деньги, ни женщины, ни почет... Таких людей не любят: они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство ближних — пятачки, ходовая монета... и вся разница между ними только в годах чеканки. Этот — стерт, тот — поновее, но цена им одна, материал их одинаков. и во всем они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак,— хотя, может быть, я семишник... Вот и все!

Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство, я решил идти за ним, пока не узнаю,— кто он? Было ясно, что это так называемый «интеллигентный человек». Их много среди бродяг, все они — мертвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишенные способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днем своей жизни падают все ниже в грязь и гадость; потом растворяются в ней и исчезают из жизни.

Но у Промтова было что-то твердое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.

— Ну что же? Идем? — предложил он.

— Идем!

Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по ее течению.

— А вы как добываете пропитание? — спросил я Промтова.— Работаете?

— Ра-аботаю? Нет, я до этого не охотник...

— Но как же?

— А — вот увидите!

Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то веселую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твердо, как человек, идущий к цели.

Я смотрел на него. и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне.

...Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на нее она, пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону. как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточенно лая. Выбегали ее подруги, но они не отличались таким усердием: тявкнут раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, еще более возбуждало рыжую собачонку.

— Видите, какая подлая натура? — сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку.— И ведь лжет она, понимает, что лаять не нужно, она не зла — она труслива, но — желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей... Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами...

— Благодарю,— сказал я.

— Не на чем. Однако мне нужно пострелять...

На его выразительном лице явилась скорбная мина, глаза стали глупыми, весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нем встали стоймя, как плавники ерша.

— Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе,— объяснил он мне свое превращение и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребенка. Промтов поклонился ей и просительно сказал:

— Ненько моя! А дайте ж странним людям хлеба!

— Не прогневайтеся! — ответила женщина, окинув нас подозрительным взглядом.

— Чтоб у тебя в грудях сперло, суча дочка,— сурово пожелал ей мой спутник.

Женщина взвизгнула, как ужаленная, и бросилась к нам.

— Ах вы...

Промтов, не двигаясь с места, смотрел ей в лицо своими черными глазами, и выражение их было дико и зловеще... Баба побледнела, вздрогнула и, что-то пробормотав, быстро пошла в хату.

— Идемте,— предложил я Промтову.

— А вот подождем, пока она вынесет хлеба...

— Она вышлет на нас мужа с вилами.

— Много вы понимаете,— скептически усмехнулся этот волк.

Он был прав,— женщина явилась перед нами, держа в руках полкаравая хлеба и солидный шматок сала. Молча и низко поклонившись Промтову, она просительно сказала ему:

— Пожалуйте, возьмите, человече божий, не гневайтесь...

— Спаси тебя боже от злого ока, от ворожбы и трясци!..— внушительно напутствовал ее Промтов. И мы пошли...

— Послушайте,— сказал я, когда мы были уже далеко от хаты,— что это у вас какой странный... чтобы не сказать более, способ прошения?

— Самый верный... Если на бабу стрельнуть хорошенько глазами — она примет за колдуна, испугается и не только хлеба— всю мужнину «кишеню» целиком отдаст. Для чего мне просить и унижаться пред ней, когда я могу приказать? Я всегда думал, что лучше вырвать, чем выпросить...

— А не случалось, что вам вместо хлеба...

— По шее давали? Нет. Суньсь-ка ко мне! У меня, батенька, есть с собой магическая бумажка — стоит мне ее показать мужику, и он — раб мой... Хотите, покажу?

Я держал в своих руках эту довольно грязную и измятую бумажку и видел: это было проходное свидетельство, выданное Павлу Игнатьеву Промтову, высланному административным порядком из Петербурга, для следования из Астрахани в Николаев. На бумажке была печать астраханского полицейского правления и соответствующие подписи,— всё как следует...

— Не понимаю! — сказал я, возвращая этот документ в руки собственника.— Каким это случаем вы, высланный из Петербурга, следуете из Астрахани?

Он рассмеялся, всей своей фигурой выражая сознание своего превосходства надо мной.

— А очень просто! Подумайте — меня высылают из Петербурга и, высылая, мне предлагают выбрать — за известными исключениями — место жительства. Я называю Курск, скажем к примеру. Являюсь в Курск, иду в полицию... Честь имею представиться! Курская полиция не может принять меня любезно: у нее своих хлопот — полон рот. Она предполагает, что пред ней ловкий мазурик, если от него не могли избавиться по силе и при помощи статей закона, а должны были, для его искоренения, прибегнуть к административным мерам. И она всегда рада сбыть меня куда-нибудь — хоть в омут головой! Видя ее затруднения, я прихожу к ней на помощь. «Так как,— говорю я,— я сам избирал место жительства, то не пожелаете ли вы, чтоб я и еще раз избрал его?» Они рады скачать меня с шеи. Я и говорю, что готов уйти из круга их попечения о неприкосновенности личностей и имущества, но мне, за мою любезность, следует дать на дорогу. Они дают рублей пять, десять, больше и меньше, смотря по настроению и характеру,— всегда дают с удовольствием. Лучше потерять пять целковых, чем приобрести в лице моем лишнее беспокойство,— не так ли?

— Может быть,— сказал я.

— Да уж — именно так! И они снабжают меня бумажкой, совершенно не похожей на паспорт. В различии же этой бумажки с паспортом и заключается ее магическая сила. На ней написано: «Адми-ни-стра-тивно высланному из Пе-те-рбу-рга»! Я показываю ее старосте, который, по обыкновению, глуп, как пень, он в ней ни дьявола не понимает. Он боится ее: на ней печати. Я говорю ему: «На основании этой бумаги ты должен дать мне ночлег». Он дает. «Должен накормить меня!» Он кормит. Иначе он не может, потому что в бумаге изображено — из Петербурга, администра-

тивно! Черт знает, что оно такое — «административно»? Может быть, это значит: послан тайно для расследования насчет кустарных промыслов, подделки фальшивой монеты, тайного винокурения, тайной продажи питий? Или насчет того — как усердно посещают православную церковь?.. А может быть, что-нибудь касательно земли? Кто разберет, что такое значит — административно? Может быть, я кто-нибудь переряженный?.. Мужик глуп, что он понимает?

— Да, он мало понимает,— заметил я.

— И это очень хорошо! — убежденно заявил Промтов.— Именно таким он и должен быть, и в таком лишь виде он и необходим для всех, как воздух. Ибо — что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь — съедобное животное. Например,— я! Разве возможно было бы мне пребывание на земле без мужика? Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик!

— А земля?

— Был бы мужик — земля будет! Стоит ему приказать: «Эй ты! Сотвори землю!» И — бысть земля. Он не может ослушаться...

Любил говорить этот веселый пройдоха! Мы давно уже вышли из села, прошли мимо многих хуторов, и уже снова пред нами стояла деревня, вся утопавшая в оранжевой листве осени. Промтов болтал — веселый, как чиж, а я слушал и думал о новом для меня виде паразита, разъедающего мужицкое призрачное благосостояние...

— Послушайте-ка! — вдруг вспомнил я одно обстоятельство.— Мы встретились с вами при таких условиях, которые заставляют меня сильно усомниться в силе вашей бумажки... это как объяснить?

— Э! — усмехнулся Промтов.— Очень просто: я уже проходил по сим местам, а — не всегда, знаете, удобно напоминать о себе...

Его откровенность нравилась мне. Я внимательно вслушивался в развязную болтовню моего спутника, пытаясь определить, таков ли он, каким себя рисует?

— Вот пред нами деревня,— желаете, я покажу вам действие моей бумажки? — предложил Промтов.

Я отказался от этого опыта, предложив ему лучше рассказать мне, за что именно его наградили бумажкой?..

— Ну, это, знаете ли, длинная история!— махнул он рукой.— Но я расскажу — когда-нибудь. А пока что — давайте отдохнем и закусим. Пищевой снаряд у нас есть в достаточном количестве, значит, идти в деревню и беспокоить ближнего нам пока не требуется.

Отойдя в сторону от дороги, мы уселись на землю и стали есть. Потом, разленившись под теплыми лучами солнца и дуновением мягкого ветра степи, улеглись и заснули... А когда проснулись, солнце, багровое и большое, уже было на горизонте, и на степь ложились тени южного вечера.

— Ну, вот видите,— объявил Промтов,— судьбе угодно, чтоб мы заночевали в этой деревушке...

— Пойдемте, пока еще светло,— предложил я.

— Не бойтесь! Сегодня ночуем под кровом...

Он был прав: в первой же хате, куда мы толкнулись с просьбой о ночлеге, нас гостеприимно пригласили войти.

Хозяин хаты, крупный и добродушный «чоловік», только что приехал с поля, его «жінка» готовила «вечеряти». Четверо чумазых ребятишек, сбившись в кучу в углу хаты, смотрели оттуда любопытными и робкими глазами. Дородная «жінка» быстро и молча металась из хаты в сени и обратно, внося хлеб, кавуны, молоко. Хозяин сидел против нас на лавке и сосредоточенно тер себе поясницу, кидая на нас вопрошающие взгляды.

Вскоре с его стороны последовал обычный вопрос:

— Где ж вы идете?

— Ходим, добрый человек, от моря до моря, до Киева города!..— бойко отвечал Промтов словами старой колыбельной песни.

— Чего ж там, у Киеви? — подумав, спросил человек.

— А — святые мощи?

Хозяин посмотрел на Промтова и молча сплюнул. Потом, после паузы, спросил:

— А видкиля идете?

— Я — из Петербурга, он — из Москвы,— отвечал Промтов.

— От що? — поднял брови хохол.— А що этот Петербург? Кажуть люди, шо він на морі построен... и що его заливае...

Дверь отворилась, и явилось двое хохлов...

— А мы до тебе, Михайло! — объявил один из них.

— Що ж вы до мене?

— Та воно — таке діло... Що се за люди?

— Ось цеи? — спросил хозяин, кивая на нас головой.

— Эге ж!

Хозяин помолчал, подумав и покрутив головой, объявил:

— Хиба ж я знаю?

— Мабудь, вы странники? — спросили у нас.

— Эге! — ответил Промтов.

Воцарилось молчание. Три хохла рассматривали нас упорно, подозрительно, любопытно... Наконец все уселись за стол и начали с треском уничтожать кроваво-красные кавуны...

— Мабудь, который из вас есть письменный? — обратился к Промтову один из хохлов.

— Оба,— кратко ответил Промтов.

— Так не знаете ли вы, часом, шо треба делать чоловіку, як в него хребет ноет и зудит до тóго, что ночью спати не можно?

— Знаем! — объявил Промтов.

— А що?

Промтов долго жевал хлеб, потом вытирал руки о свои лохмотья, потом задумчиво смотрел в потолок и, наконец, решительно и даже сурово заговорил:

— Нарвать крапивы и велеть бабе на ночь тою крапивой растереть хребет, а потом смазать его конопляным маслом с солью...

— Что ж с того буде?— осведомился хохол.

— А — ничего не будет,— пожал плечами Промтов.

— Ничого?

— Как есть ничего!

— А поможеть воно?

— Поможет...

— Спытаю... Спасибо вам...

— На здоровьечко!— пожелал Промтов совершенно серьезно.

Долгое молчание, хруст кавунов, шепот детей...

— А слухайте вы,— заговорил хозяин хаты,— як того... воно не звистно вам... мабудь, краем вуха зловили вы в Петербурги або в Москви... насчет Сибири... можно переселяться чи не можно? Бо земскій,— бреше він чи справды,— бачил, шо зовсім не можно?

— Не можно! — рубит Промтов.

Хохлы переглянулись друг с другом, и хозяин пробормотал в усы себе:

— Хай им жаба в брюхо влизе!

— Не можно! — вновь объявил Промтов, и вдруг лицо его стало каким-то вдохновенным...— А потому не можно, что незачем ехать в Сибирь, когда везде земли — сколько хочешь!

— Та воно вирно, що для покойників земли везде у волю... для живых бы треба!.. — грустно заявил один хохол.

— В Петербурге решено, —торжественно продолжал Промтов,— всю землю, какая есть у крестьян и у помещиков, отобрать в казну...

Хохлы дико вытаращили на него глаза и молчали. Промтов строго осмотрел их и спросил:

— Отобрать в казну — зачем?

Молчание приняло характер напряженный, и бедняги хохлы, казалось, вот-вот лопнут от ожидания. Я смотрел на них, едва сдер-

живая злобу, возбужденную издевательством Промтова над бедняками. Но разоблачить пред ними его нахальное вранье — значило бы отдать его на избиение им. Я молчал.

— Та говорите ж, добрый чоловік! — тихо и робко попросил один из хохлов.

— Затем отобрать, чтоб правильно разделить всю землю между крестьянами! Признано там,— Промтов ткнул рукой куда-то вбок,— что истинный хозяин земли есть крестьянин, и вот сделано распоряжение: в Сибирь не пускать, а ожидать раздела...

У одного из хохлов даже кусок кавуна вывалился из руки. Все они смотрели в рот Промтова жадными глазами и молчали, пораженные его дивной вестью. И потом — через несколько секунд — раздалось одновременно четыре восклицания:

— Мати пречиста! — истерически вздохнула «жінка».

— А... мабудь, вы брешете?

— Та говорите ж, добрый чоловіче!

— Ось к чому цей год таки ярки зори! — убедительно воскликнул тот хохол, у которого болел хребет.

— Это — только слух,— сказал я,— может быть, все это окажется брехней...

Промтов с искренним изумлением взглянул на меня и горячо заговорил:

— Как слух? Как так брехня?

И полилась из уст его мелодия наглейшего вранья — сладкая музыка для всех слушателей, кроме меня. Увеселительно он сочинял! Мужики готовы были вскочить ему в рот. Но мне было дико слушать эту вдохновенную ложь, она могла накликать на головы простодушных людей большое несчастие. Я вышел из хаты и лег на дворе, думая, как бы разоблачить скверную игру моего спутника? Потом я заснул и был разбужен Промтовым на восходе солнца.

— Вставайте, идем! — говорил он.

Рядом с ним стоял заспанный хозяин хаты, а котомка Промтова топорщилась во все стороны. Мы простились с ним и ушли. Промтов был весел, пел, свистал и иронически поглядывал на меня сбоку. Я обдумывал речь к нему и молчал, шагая рядом с ним.

— Ну-с, что же вы меня не распинаете? — вдруг спросил он.

— А вы сознаете, что следует? — сухо осведомился я.

— Ну, разумеется... Я понимаю вас и знаю, что вы должны меня шпынять... Даже скажу вам, как вы будете это делать. Хотите? Но — лучше бросьте это. Что дурного в том, что мужики помечтают? Они только будут умнее от этого. А я — выигрываю. Посмотрите, как они туго набили мне котомку!

— Но ведь вы можете подвести их под палку!

— Едва ли... А хотя бы? Какое мне дело до чужой спины? Дай боже свою сберечь в целости. Это, конечно, не морально; но какое мне, опять-таки, дело до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что никакого дела нет!

«Что же? — подумал я,— волк прав...»

— Положим, что они через меня потерпят, но ведь и после этого небо будет голубым, а море — соленым.

— Но неужели вам не жалко...

— Меня не жалеют... Аз есмь перекати-поле, и всякий, кому ветер бросает меня под ноги,— пинает меня в сторону...

Он был серьезен и сосредоточенно зол, глаза его блестели мстительно.

— Я всегда так действую, а порой и хуже... Одному мужичку в Саратовской губернии от боли в животе я рекомендовал пить настоянное на черных тараканах деревянное масло,— за то, что он был скуп. Да мало ли я наделал злого и смешного во время моих странствий? Сколько я разных нелепых суеверий и мечтаний ввел в духовный оборот мужика... И вообще, я не стесняюсь... Зачем бы мне это? Ради каких законов, я спрашиваю? Нет законов иных, разве во мне!

Я, слушая его, думал, что с моей стороны будет очень умно, если я вспомню первый псалом царя Давида и сойду с пути этого грешника. Но мне хотелось знать его историю.

Дня три еще провел я с ним и в эти три дня убедился во многом, о чем раньше догадывался. Так, например, мне стало ясно, каким путем в котомку Промтова попали разные ненужные вещи, вроде подсвечника медного, стамески, куска кружев, мониста. Я понял, что рискую ребрами и даже могу попасть туда, куда обыкновенно попадают коллекционеры, подобные Промтову. Нужно было расстаться с ним... Но — его история!

И вот однажды, в день, когда дул свирепый ветер, сбивая нас с ног, и мы с Промтовым зарылись в стог соломы, дабы укрыться от холода, Промтов рассказал мне историю своей жизни...

II

ИСТОРИЯ ЕГО ЖИЗНИ

— Ну-с, будем рассказывать,— на пользу и в поучение вам... Начну с папаши. Папаша у меня был человек строгий и благочестивый, достукался к шестидесяти годам до полной пенсии и переехал на жительство в уездный городишко, где купил себе домик... А мамаша была женщина доброго сердца и горячей крови,—

так что, может быть, мой-то папаша мне и не отец. Он меня не уважал: за всякую малость ставил в угол, на колени, а то ремнем хлестал. Мамаша же любила меня, и с ней мне хорошо жилось. За каждую записочку, которую она, бывало, пошлет со мной другу своего сердца,— а у нее друзья сердца всегда были,— я получаю от нее должное вознаграждение, а за скромность — особо. Когда папаша уехал, я остался в шестом классе гимназии и вскоре из нее был исключен за то, что перепутал учителей физики — нужно было брать уроки у нашего инспектора, а я брал их у инспекторской горничной. Инспектор на меня за это обиделся и прогнал меня к папаше. Явился я к нему и рассказываю, что вот, мол, вследствие недоразумений с инспектором исключен я из храма науки. А инспектор-то, оказалось, уже письмом изложил папаше всю суть дела, только умолчал благоразумно о том, что он застал меня на месте преступления, в комнате горничной, и что сам он явился туда ночью и в халате, а входя, шептал сладким голосом: «Дунечка?» Но это уж его дело. Папаша, встретив меня, стал, конечно, ругаться нехорошими словами, мамаша — тоже. Поругали и решили отправить меня во Псков, где у папаши был брат. Сослали меня во Псков; вижу я: дядюшка свирепый и глупый, но кузины хорошенькие,— стало быть, жить можно. Но оказалось, что и тут я не ко двору пришелся: через три месяца турнул меня дядюшка, обвинив в развратном поведении и в дурном влиянии на дочерей его. Снова меня разругали и снова сослали — на этот раз в деревню к тетушке, в Рязанскую губернию. Тетушка оказалась славной и веселой бабой, молодежи у нее всегда была куча! Но в то время все были заражены дурацкой модой читать запрещенные книжки... Буц! И вот меня заперли в острог, где я и просидел, должно быть, месяца четыре. Мамаша письменно сообщает мне, что я ее убил, папаша извещает меня, что я его опорочил,— очень скучные родители были у меня!

Знаете, если бы человеку было позволено самому себе родителей выбирать, это было бы много удобнее теперешних порядков— верно? Ну-с, выпустили меня из острога, и я поехал в Нижний-Новгород, где у меня сестра замужем. А сестра оказалась обремененной семейством и злой по сей причине... Что делать? На выручку мне явилась ярмарка,— поступил я в хор певцов. Голос был у меня хороший, наружность красивая, произвели меня в солисты, я и пою себе... Вы думаете, я пьянствовал при этом? Нет, я и теперь почти не пью водки, разве иногда,— очень редко, и то как согревающее. Я никогда не был пьяницей,— впрочем, напивался, если были хорошие вина,— шампанское, например. Марсалу дадите в обилии,— непременно упьюсь, ибо люблю ее, как женщин. Женщин я люблю до бешенства... а может быть, я их ненавижу...

потому что, взяв что следует с женщины, я сейчас же ощущаю непреоборимое желание сделать ей какую-нибудь мерзопакость — такую, знаете, чтоб она не боль и унижение чувствовала, а чтоб казалось ей, будто кровь ее и мозг костей ее напитал я отравой, и чтоб всю жизнь гадость этой отравы она носила в себе и чувствовала ее каждую минуту... Н-да! Уж за что я так на них зол — не знаю и не могу объяснить себе этого... Они всегда были благосклонны ко мне, ибо я был красив и смел. Но и лживы они! Впрочем, черт с ними. Люблю я, когда они плачут и стонут,— смотришь, слушаешь и думаешь — ага! поделом вору и мука!..

Ну-с, так вот — пою я и ничего себе, весело живу. Является однажды предо мною некий бритый человек и спрашивает: «Играть на сцене не пробовали?» — «Играл в домашних спектаклях...» — «На водевильные роли по двадцать пять рублей в месяц желаете?» Ну, и поехали мы в город Пермь. Играю я, пою в дивертисментах,— наружность — страстного брюнета, прошлое — политического преступника; дамы от меня в восторге. Дали мне вторых любовников,— играю. Пробуйте, говорят мне, героев. Пробую в «Блуждающих огнях» играть Макса, и — сам чувствую — хорошо вышло! Проиграл сезон, на лето составилось превеселое турне: играли в Вятке, играли в Уфе, даже в городе Елабуге играли. На зиму опять воротились в Пермь.

И в эту зиму я почувствовал к людям ненависть и отвращение. Выйдешь, знаете, на сцену, да как сотни дураков и мерзавцев воткнут в тебя свои глаза — по коже пробежит этакая рабья, трусливая дрожь и щиплет тебя, точно ты в муравьиную кучу уселся. Смотрят они на тебя, как на свою игрушку, как на вещь, которую купили для своего пользования. В их воле осудить и одобрить тебя... И вот они следят — достаточно ли ты прилежно ломаешься пред ними? И, если найдут, что прилежно,— орут, как ослы на привязи, а ты слушаешь их и чувствуешь себя довольным их похвалой. На время позабудешь, что ты их собственность... потом вспомнишь и за то, что тебе было приятно их одобрение, чуть не бьешь себя по морде...

До судорог противна была мне эта публика, и часто хотелось плюнуть на нее со сцены, выругать ее самыми похабными словами. Бывало, чувствуешь, как ее глаза впиваются в тело, точно булавки, и как жадно ждет она, чтобы ты пощекотал ее... ждет с уверенностью той помещицы, которой дворовые девки на ночь пятки чесали... Чувствуешь это ее ожидание и думаешь, как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу было можно всему первому ряду зрителей носы срезать... Черт бы их взял!

Но я, кажется, в лиризм ударился? Так, значит, играю, ненавижу публику и хочу бежать от нее. В этом мне помогла супруга

господина прокурора. Она мне не понравилась, а это ей не понравилось. Привела она в движение своего супруга, и очутился я в городе Саранске — точно пылинку ветром унесло меня с берегов Камы. Эхма! Все — как сон в сей подлой жизни.

Сижу в Саранске, и сидит со мной молодая жена одного пермяка, купеческого звания. Баба она была решительная и очень любила мое искусство. Вот мы с ней и сидим. Денег у нас нет, знакомств — тоже. Мне скучно, ей тоже. Она мне и стала говорить от скуки, что я ее не люблю. Сначала я это терпел, но потом надоело; я и говорю ей: «Да поди ты от меня ко всем чертям!» — «Так-то?»— говорит. Схватила револьвер, трах в меня — прямо в плечо левое засадила пулю; немножко ниже — и был бы я в раю. Ну, я, конечно, упал. А она испугалась, да со страха-то в колодец и прыгнула. До смерти размокла там.

А меня водворили в больницу. Ну, разумеется, явились дамы: их хлебом не корми, лишь бы им повертеться около какого-нибудь амурного дела. Вертелись они вокруг меня, пока я не встал на ноги, а когда встал, то определили меня секретарем в полицию. Что ж — состоять при полиции все-таки удобнее, чем под надзором полиции. Вот я и живу месяц, два, три...

Именно в эти дни, первый раз в моей жизни, испытал я приступ удручающей, коверкающей душу скуки... Это самое мерзостное настроение из всех, человека уродующих... Все вокруг перестает быть интересным, и хочется чего-то нового. Бросаешься туда, сюда, ищешь, ищешь, что-то находишь — берешь и скоро видишь, что это совсем не то, что нужно... Чувствуешь себя внутренне связанным, неспособным жить в мире с самим собой,— а этот мир всего нужнее человеку! Подлое состояние...

И довело оно меня до того, что я женился. Такой поступок для человека моего характера только и возможен с тоски или похмелья.

Жена была дочерью священника; жила она с матерью — отец умер — и пользовалась полною свободой. Имела свой собственный домик, даже можно сказать — домище, имела деньги. Девица она была красивая, неглупая, веселого характера, но очень любила читать книжки, и это скверно отражалось и на ней и на мне. Постоянно она вылавливала из книжек разные правила жизни: уловит какое-нибудь правило и сейчас с ним ко мне. А я со времен младых ногтей моих морали терпеть не мог... Сначала я посмеивался над женой, а потом стало мне тошно ее слушать... Вижу я, что всегда она щеголяет наряженная в разные книжные выдумки— к женщине вычитанное из книжек идет, как к лакею костюм с барского плеча. Стали мы поругиваться... Познакомился я с одним попом; был там этакий поп — забулдыга, гитарист, певец,— заме-

чательно трепака откалывал и выпить был мастер!.. Для меня он — лучший человек в городе, потому что с ним мне было весело, а жена меня за попа ругает и все хочет втащить в свою компанию из разных книжников и фарисеев. К ней являлись по вечерам все серьезные и «лучшие люди города», как она их называла,— для меня они были серьезны, как удавленники. Я и сам любил читать в то время, но никогда не умел беспокоиться по поводу прочитанного; да и не понимаю, зачем это нужно? А они,— жена и иже с нею,— когда, бывало, прочтут какую-нибудь книжку, так в такое беспокойство приходят, точно каждому из них по сто заноз в кожу попало. По-моему так: книжка? — хорошо! интересная? — еще лучше! Но всякую книжку человек писал, а выше своей головы он не может прыгнуть. Книжки все пишутся для одной цели: все хотят показать, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. И толк будет один, прочитаешь ли сто их или тысячу. Жена пожирала книжки десятками — так что я прямо начал уже говорить ей, что мне жилось бы много лучше, если б я на попе женился. Поп только и спасал меня от скуки, а без него я бы убежал от жены... Бывало, как только фарисеи к ней — я к попу. Так прожил я года полтора. От скуки стал с попом в церкви служить. То апостол читаю, то, стоя на клиросе, пою: «От юности моея мнози борют мя страсти».

Много претерпел я за это время и во многом буду оправдан на страшном суде за это терпение. Но вот приехала к попу моему племянница,— приехала потому, что был он вдов, и потому, что его свиньи съели, не совсем съели, а испортили его вид. Он, знаете, упал пьяный на дворе, да и заснул, а свиньи пришли во двор и объели ему ухо и еще что-то. Свиньи всякую дрянь едят. От этого ущерба захворал мой поп и призвал племянницу, чтоб она за ним ухаживала, а я за ней. Ну, мы с нею очень ревностно принялись за дело, и с успехом. А жена моя узнала и, конечно, ругается. Что мне делать? И я стал ругаться. Она и говорит мне: «Пошел вон из моего дома!» Я подумал, подумал и мирно ушел — совсем ушел из города. Так и разрешил узы моего брака... если она жива, супруга моя, так наверное уже считает меня благополучно умершим. Никогда не чувствовал я ни малого желания увидеть ее... Думаю, что и она тоже хорошо меня забыла да живет в мире!

И вот, снова свободный, прибыл я в город Пензу. Толкнулся в полицию — места нет; туда, сюда — места нет! Поступил в псаломщики, пою и читаю. В церкви опять публика, и снова у меня возникает к ней отвращение. Заработок — мизерный, положение— зависимое. Плохо было мне. Но одна купчиха выручила. Была она женщина толстая, богобоязненная, и жилось ей скучно. Вот она меня и облюбовала для духовного назидания. И стал я к ней ходить, а она меня — кормить. Муж у нее в доме умалишенных пребы-

вал, она одна заправляла большим мучным делом... Вот я осторожненько и подъехал к ней: «Трудно, мол, Секлетея Кирилловна?»— «Трудно»,— говорит. «Возьмите меня в помощники?» —«Обманешь»,— говорит,— и взяла, конечно. Тут я очень хорошо зажил; но город оказался препоганым! Ни театра нет, ни порядочной гостиницы, ни интересных людей... Затосковал я и дядюшке пишу письмо: в течение пятилетнего отсутствия из Петербурга я, мол, очень образумился. Прошу прощения за все, что сделал, больше никогда и ничего не буду делать, а между прочим, спрашиваю — нельзя ли мне в Питере жить? Дядюшка отвечает — можно, но осторожно. Расстался я с купчихой.

Знаете что — баба она была глупая, жирная и некрасивая. Были у меня любовницы очень бельфамистые,— изящные и умные бабенки были... Н-да. Но с ними я всегда расставался скверно: или я бабу прогоню со злобой и презрением, или баба мне пакость устроит. А эта Секлетея внушила мне уважение к себе своей простотой. Я говорю ей: «Прощай!» — «Прощай, говорит, мой сердечный! Дай тебе бог счастья...»— «Неужто, мол, тебе не жалко расстаться?» — «Как, говорит, не жалко этакого красавца да умницу? Век бы, говорит, не рассталась с тобой, да ведь нужно... я, говорит, тебя понимаю — ты птица вольная; ну, и лети себе с богом!» И горько плачет... «Ну, говорю, прости меня, Секлетея!» — «Что ты, говорит, спасибо я тебе сказать должна, а не прощать тебя».— «Как спасибо, за что спасибо?» — «А как же? — говорит.— Ведь ты какой человек: тебе по миру пустить меня ничего не стоило, вся я в твоих руках была, как ты захотел бы, так и мог меня ограбить, и не помешала бы я тебе,— знал ты это! А ты вот честь честью уходишь! Знаю я, сколько ты нажил у меня за это время — всего около четырех тысяч. Другой бы, говорит, на твоем месте всю кашку слопал, да и чашку о пол...» Н-да-а... вот что она сказала... Эх, милая баба!..

Расцеловался я с нею и, уважая ее, с легким сердцем и с пятью тысячами в кармане — она неверно сосчитала — явился в Питер. Живу барином, бываю в театре, обзавелся знакомствами, иногда, от скуки, играю на сцене, но больше в карты. Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и в течение ночи десять раз умрешь и воскреснешь. Жутко знать, что вот в следующую минуту убьют твой последний рубль и ты — нищий, ступай на улицу — воруй или застрелись. Хорошо также знать, что твой сосед или партнер чувствует по поводу последнего рубля то же самое, щекотливое и жуткое, что ты сам чувствовал незадолго до него. Видеть красные и бледные, возбужденные рожи, трепещущие от страха быть обыгранными и от жадности к деньгам,— смотреть на них и бить их карты одну за другой — ах, как это волнует кровь!..

Бьешь карту — а точно вырываешь у человека из сердца кусочек горячего мяса с нервами и кровью... Сочно! Этот постоянный риск падения — самое лучшее в жизни, и самая лучшая мысль выражена так:

Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю!

Великое наслаждение есть в этом... и вообще хорошо себя чувствовать можно только тогда, когда чем-нибудь рискуешь. Чем больше риску, тем больше жизни... Случалось ли вам голодать? Мне случалось не есть по двое суток кряду... И вот, когда желудок начнет есть сам себя, когда чувствуешь, как сохнут, умирая от голода, твои внутренности,— тогда готов за кусок хлеба убить человека, ребенка... на все готов,— в этой готовности к преступлению есть своя особая поэзия... это очень ценное ощущение, и, пережив его,— больше уважаешь себя!

Но, однако, продолжим нашу пеструю повесть, она и так уже тянется, как похоронная процессия, в которой я занимаю место покойника. Тьфу! вот дурацкое уподобление влезло в голову. И, пожалуй, оно верно... отчего, впрочем, не становится умнее... У господина Бальзака где-то есть очень верное и меткое выражение: «Это глупо, как факт». Глупо? Ну и пускай! Итак, живу я в Петербурге. Это хороший город, но он стал бы вдвое лучше, если бы половину его жителей утопить в том скверном море, которое бултыхается около него. Живу и совершаю разные поступки, как это и надлежит человеку. Понравился одной даме, и она меня приобрела себе на содержание... Вы на содержании у женщин не состояли? Попробуйте, потому что это интересно, вы в одно и то же время вещь вашей дамы и владыка ее. Вас купили, как игрушку, но играете купившим — вы. Этот купивший оказывается в ваших руках и в очень смешном положении,— ибо вы всегда можете играть пред ним роль сапога, который хочет быть шляпой и требует, чтоб его носили на голове. Так вот, живу я и живу год, два, три — все идет хорошо, то есть весело. Но тут случилась одна опереточная история. Однажды пришел ко мне некто, очень хороший человек, но занимавшийся дурным делом — политикой, за что, впрочем, и был своевременно и крепко ущемлен. Пришел и говорит: «Достань мне паспорт!» — «Какой?» — «А вот, говорит, так: девица, брюнетка, лет двадцати, среднего роста, все остальное — обыкновенное».— «Зачем?» — «А вот, говорит, есть такая девица, а нужно, чтоб ее не было, так я ее и хочу по чужому документу замуж выдать». Что же? Это дельце веселое, а у моей дамы была как раз подходящая к требованию горничная... Я взял ее паспорт, да и отдал этому шарлатану. Хорошо-с. Проходит длинное время.

Вдруг — трах! являются два жандарма и говорят — пожалуйте! Я — пожаловал. Некто, седой и вельми свирепый, спрашивает меня: «Вы, говорит, для девицы такой-то паспорт доставали?» — «Верно, вашество, но только не знаю, для этой ли девицы». — «Как так?» А мне приятель девицу-то действительно забыл назвать. Свирепый человек мне не верит. «Как же, говорит, вы ее не знаете, а паспорт ей дали?» — «Я не давал ей...» — «А кому?» — «А вот кому...» — «Ага-а, говорит, вот когда он попался! Благодарю за сведения!» И сейчас же отдал приказание забрать моего друга, а меня, пока что, запереть в уютное место. Дня через два дали мне с другом очную ставку. Он, конечно, подтвердил мои слова... Спрашивают меня, куда я желаю уехать из Питера? Я говорю: «Нельзя ли в Царское Село?» — «Нет, говорят, подальше». — «А в Руссу?» — «Еще подальше». Сторговались мы на Туле. В Тулу так в Тулу! «Вы, говорит, можете и дальше уехать, если захотите, но сюда в продолжение трех лет не являйтесь. Документы ваши мы пока оставим у себя, на память о вас, а вам — извольте проходное свидетельство до Тулы. Получите и в двадцать четыре часа постарайтесь улепетнуть...» — «Ну, что же? — думаю я. — Надо слушаться начальство, — как его не послушаться?»

Ну-с, так вот... продал я все свое имущество квартирной хозяйке по ценам пареной репы и иду к моей даме. Не приказала принимать, собака. Захожу еще к двум-трем знакомым, — встречают, точно прокаженного. Плюнул я на всех и пошел в одно богоугодное место, чтоб провести там последние часы моей жизни в Питере. К шести часам утра я вышел оттуда без гроша в кармане, — дочиста проигрался в карты! Так аккуратно меня один товарищ прокурора обчистил, что я даже в умиление пришел от его таланта, без всякого снисхождения обыграл... да!.. Ну, куда же мне деваться? Пошел я, неизвестно зачем, на Московский вокзал, пришел, потолкался там, вижу, идет поезд в Москву. Вошел в вагон и сел. Проехал две станции, меня с триумфом выгнали. Хотели составить протокол, спросили, кто я, — я показал им свое свидетельство, они и оставили меня в покое. «Идите, говорят, дальше». Иду. Верст десять прошел — устал и чувствую, что надо поесть. Будка. Линейный сторож. Я к нему: «Дай, дружище, кусок хлеба?!» Посмотрел на меня он и дал мне не только хлеба, но и молока большую чашку. У него я и ночевал, первый раз по-бродяжьи, на вольном воздухе, на сене, в поле, за будкой. Проснулся на другой день, — солнце сияет, воздух — как шампанское, зелень, птицы. Взял у сторожа еще хлеба и пошел дальше.

Вы должны понять это: в бродяжьей жизни есть нечто всасывающее, поглощающее. Приятно чувствовать себя свободным от

обязанностей, от разных маленьких веревочек, связывающих твое существование среди людей... от всяких мелочишек, до того облепляющих твою жизнь, что она становится уже не удовольствием, а скучной ношей... тяжелым лукошком обязанностей... вроде обязанности одеваться — прилично, говорить — прилично... и все делать так, как принято, а не так, как тебе хочется. При встрече со знакомым нужно, как это принято, сказать ему — здравствуй! — а не — издохни! — как это иногда хочется сказать.

Вообще — если говорить по правде — так все эти торжественно-дурацкие отношения, что установились между порядочными, городскими людьми,— скучная комедия! Да еще и подлая комедия, потому что никто никого в глаза не называет ни дураком, ни мерзавцем... а если иногда это и делается, так только в припадке той искренности, которую называют злобой...

А на бродяжьем положении живешь вне всей этой канители... То же обстоятельство, что ты без сожаления отказался от разных удобств жизни и можешь существовать без них, как-то приятно приподнимает тебя в своих глазах. К себе становишься снисходительным без оглядки,— хотя я к себе никогда не относился строго, не одергивал себя и зубы моей совести никогда у меня не ныли, не царапал я моего сердца когтями моего ума. Я, знаете, рано и как-то незаметно для себя твердо усвоил самую простейшую и мудрую философию: как ни живи — а все-таки умрешь; зачем же ссориться с собой, зачем тащить себя за хвост влево, когда натура твоя во всю мочь прет направо? И людей, которые рвут себя надвое, я терпеть не могу... Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривал с такими юродивыми. Спрашиваешь его: «О чем ты, друг, ноешь, зачем ты, брат, скандалишь?» — «Стремлюсь, говорит, к самоусовершенствованию...» — «Чего же, мол, ради?» — «Как так — чего ради? В совершенствовании человека — смысл жизни...» — «Ну, я этого не понимаю; вот в совершенствовании дерева смысл ясен: оно усовершенствуется до пригодности в дело, и его употребят на оглоблю, на гроб или еще на что-нибудь полезное для человека... Ну, хорошо! ты совершенствуешься — это твое дело; но, скажи, зачем ты ко мне пристаешь и меня в свою веру обратить хочешь?»— «А затем, говорит, что ты скот и не ищешь смысла в жизни».— «Да я же нашел его, ежели сознание скотства моего не отягощает меня».— «Врешь, говорит. Коли ты, говорит, сознаешь, ты должен исправиться».— «Как исправиться? Да ведь я живу в мире с собой, ум и чувство у меня едино суть, слово и дело в полной гармонии!» — «Это, говорит, подлость и цинизм...» И вот так рассуждают все они, бывало. Чувствую я, что они и врут и глупы; чувствую это и не могу не презирать их. Потому что — я людей знаю! — если все сегодняшнее подлое, грязное и злое объявишь завтра чест-

ным, чистым, добрым — все эти морды, без всякого усилия над собой, завтра же и будут совершенно честными, чистыми и добрыми. Им для этого понадобится только одно — трусость свою уничтожить в себе... Так-то.

Резко это, говорите? Ничего, сойдет. Пусть резко, зато правильно... Я, видите ли, так полагаю: служи богу или черту, но не богу и черту. Хороший подлец всегда лучше плохого честного человека. Есть черное и есть белое, смешай их — будет грязное. Я всю жизнь мою встречал только плохих честных людей,— таких, знаете, у которых честность-то из кусочков составлена, точно они ее под окнами насбирали, как нищие. Это — честность разноцветная, плохо склеенная, с трещинами... а то есть еще честность книжная, вычитанная и служащая человеку, как его лучшие брюки,— для парадных случаев... Да и вообще все хорошее у большинства хороших людей — праздничное и деланное; держат они его не в себе, а при себе, напоказ, для форса друг перед другом... Встречал я людей и по самой натуре своей хороших... но редко они встречаются и почти только среди простых людей, вне стен города... Этих сразу чувствуешь — хорош! И видишь — родился хорошим... да!

А впрочем, черт с ними, со всеми — и с хорошими и с плохими! Знать я не хочу Гекубу!

Я рассказываю вам факты жизни моей кратко и поверхностно, и вам трудно понимать — отчего и как... Да суть не в фактах, а— в настроениях. Факты — одна дрянь и мусор. Я могу много наделать фактов, если захочу... возьму вот нож, да и суну его вам в горло,— будет уголовный факт. А то ткну в себя этот нож — тоже факт будет... вообще, можно делать самые разнообразные факты, если настроение позволяет! Все дело в настроениях: они плодят факты, и они творят мысли, идеалы... А знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних лапах. Подняв голову от земли, он увидал над ней голубое небо и был ослеплен великолепием его ясности. Тогда он, по глупости, сказал себе: я достигну его! И с той поры он шляется по земле с этим костылем, держась при помощи его до сего дня все еще на задних лапах.

Вы не подумайте, что и я тоже лезу на небо,— никогда не ощущал такого желания... я это так сказал, для красного словца.

Однако история-то у меня опять в узел захлестнулась. Ничего! Ведь это только в романах клубки событий правильно развертываются, а жизнь наша — запутанная мотушка. К тому же за романы деньги платят, а я даром стараюсь: черт знает для чего!..

Ну-с, так вот — понравилось мне это хождение, тем более понравилось, что скоро я открыл и средства к пропитанию. Иду

однажды и вижу: вдали красуется усадьба, а навстречу мне двигаются, меж высоких хлебов, три благообразные фигуры — мужчина и две дамы. Мужчина уже с сединой в бороде, в очках и очень благообразный, дамы образа заморенного, но тоже благородного. Сделал я себе рожу страстотерпца и, поравнявшись с ними, попросил у них разрешения зайти в усадьбу ночевать. Разрешили и переглянулись между собой этак многозначительно. Я вежливо поклонился им, поблагодарил и, не торопясь, пошел. А они повернули назад и — за мной. Вступили в разговор — кто, откуда, чей таков? Были они люди темперамента гуманного, образа мыслей либерального и ответы мне сами подсказывали, так что когда я пришел в усадьбу, то оказалось, что наврал им — черт знает сколько! Будто бы я изучаю и поучаю народ, и якобы душа моя находится в плену разных идей и прочее такое... И, ей-богу, все это оказалось потому только, что они сами хотели, я же лишь не препятствовал им принять меня за то, за что они меня принимали. Когда я сообразил, как трудна та роль, которую я должен был играть для них, мне стало немножко не по себе. Но после ужина понял, что играть эту роль — есть интерес, ибо божественно вкусно они ели! С чувством ели,— ели, как люди образованные. Потом отвели мне комнаточку, мужчина снабдил меня штанишками и прочим — вообще гуманно обошлись со мной. Ну, я им за это и распустил же вожжи моего воображения!

Царица небесная, как я врал! Что Хлестаков? Идиот Хлестаков! Я врал, никогда не теряя сознания, что вру, хотя и наслаждался тем, как вру. Так я врал, скажу вам, что даже Черное море покраснело бы, если бы оно меня слышало! Эти добрые люди слушали с наслаждением, слушали, и кормили меня, и ухаживали за мной, как за родным больным ребенком. А я им за это сочиняю. Вот когда пригодились мне книжки, которые я когда-то прочитал, и споры фарисеев жены моей!

Врать умеючи — высокое наслаждение, скажу я вам. Если врешь и видишь, что тебе верят,— чувствуешь себя приподнятым над людьми, а чувствовать себя выше людей — удовольствие все-таки. Овладеть их вниманием и мыслить про себя: «Дурачье!» Одурачить человека всегда приятно. Да и ему, человеку-то, тоже приятно слышать хорошую ложь, которая гладит его по шерстке. И, может быть, всякая ложь — хороша, или же, наоборот, все хорошее — ложь. Едва ли на свете есть что-нибудь более стоящее внимания, чем разные людские выдумки: мечты, грезы и прочее такое. К примеру, возьмем любовь: я всегда любил в женщинах как раз то, чего у них никогда не было и чем я обыкновенно сам же их награждал. Это и было лучшее в них. Бывало, видишь свежую бабеночку и сейчас же соображаешь — обнимать она должна

так, целовать она должна — этак. Раздетая она такова, в слезах такая-то, в радости — вот какая. Потом незаметно уверишь себя, что все это у нее есть,— именно так есть, как ты того хочешь... И разумеется, по ознакомлении с нею, какова она есть на самом деле, торжественно садишься в лужу!.. Но это неважно — ведь нельзя же быть врагом огня только за то, что он иногда жжется, нужно помнить, что он всегда греет,— так ли? Ну вот... По сей причине и ложь нельзя называть вредной, поносить ее всячески, предпочитать ей истину... еще неизвестно ведь — что она такое, эта истина, никто не видал ее паспорта... и, может быть, она, по предъявлении документов, черт знает чем окажется...

А все-таки я, как Сократ, философствую, вместо того чтобы делом заниматься...

Врал я тем добрым людям даже до истощения фантазии и, когда сознал себя в опасности стать скучным для них,— ушел далее, прожив у них три недели. Ушел, хорошо снабженный для пути, и вот направляю стопы мои к ближайшей станции, дабы от нее ехать до Москвы. От Москвы до Тулы доехал даром, по недосмотру кондукторов.

И вот я в Туле перед лицом тамошнего полицмейстера. Смотрит он на меня и спрашивает: «Чем же вы здесь намерены заняться?» — «Не знаю»,— говорю. «А за что, говорит, вас удалили из Петербурга?» — «Я и этого не знаю».— «Очевидно, говорит, за какие-нибудь дебоши, кодексом уголовным не предусмотренные?»— проницательно допрашивает он. Но я остаюсь непроницаем. «Неудобный вы человек»,— говорит он. «У всякого, мол, своя специальность, господин хороший!» Подумал он, подумал, да и предлагает мне: «Так как вы, говорит, сами избирали место жительства, то, если вам у нас не нравится, вы можете уйти дальше. Есть другие города, например, Орел, Курск, Смоленск... Ведь вам все равно, где жить? Не угодно ли, я выдам вам дальнейшее проходное?.. Нам очень приятно будет не беспокоиться о вашем здоровье. У нас такая масса хлопот... а вы, говорит, извините за откровенность, кажетесь человеком, вполне способным усилить хлопоты полиции... даже как бы нарочно для этой цели созданным».— «Так-с, мол, но мне и здесь нравится...» — «Ну, говорит, желаете, я вам трешницу на дорогу дам?» — «Дешево, мол, труды ваши цените... Уж лучше позвольте мне остаться под покровительством тульских законов». Но он меня упорно не хочет... Сообразительный был человек! Ну, я взял с него пятнадцать рублей да и пошел в Смоленск город. Видите? Всякое скверное положение человека имеет в себе возможность лучшего. Это я говорю на основании солидного опыта и по силе моей глубокой веры в изворотливость человеческого ума. Ум — это силища! Вы человек молодой еще; и вот я говорю вам:

верьте в ум — и никогда не пропадете! Знайте, что каждый человек содержит в себе дурака и мошенника: дурак — его чувство, а мошенник — ум. Чувство потому глупо, что оно прямо, правдиво и не умеет притворяться; а разве можно жить и не притворяться? Необходимо притворяться; даже из жалости к людям это нужно, потому что люди всегда жалости достойны... а больше всего именно тогда, когда они других жалеют...

Итак, пошел я в Смоленск, чувствуя, что тверда земля подо мной, и зная, что, с одной стороны, я всегда могу рассчитывать на поддержку гуманных людей, с другой — на поддержку полиции. Первым я нужен для проявления их чувств, а вторым — я не нужен; поэтому те и другие должны платить мне от избытков своих.

Явился в Смоленск, и так как уже было холодно, то решил зазимовать. Живо нашел добрых людей и к ним пристроился. Ничего себе,— провел зиму не скучно. Но вот настала весна, и — верите ли?—потянуло меня! Хочется бродяжить... Кто мне мешает? Пошел и снова шлялся целое лето, а на зиму попал в город Елизаветград. Попал и никак не могу приноровиться к чему-нибудь. Бился, бился, наконец нашел мой путь! В репортеры местной газеты завербовался,— дело маленькое, но свободное и дает некоторый корм. Потом познакомился с юнкерами — есть в этом городе кавалерийское училище — и, познакомившись с ними, устроил картеж. Хороший картеж вышел: за зиму-то я около тысячи рублей наколотил. И вновь весна пришла. Она застала меня с деньгами, в джентльменском виде.

Куда пойду? В город Славянск на воды. Там удачно играл до августа, а в этом месяце принужден был выехать. Зимовал в Житомире с одной бабочкой — порядочная дрянь была, но — бесподобной красоты баба!

Прожил я таким манером годà моего изгнания из Питера и поехал туда вновь. Черт его знает почему, но он всегда тянул меня к себе. Приехал джентльменом, со средствами. Отыскиваю знакомых, и что же оказывается? Похождения мои среди либеральных людей Московской губернии им известны. Всё знают: и как я у Ивановых в усадьбе три недели жил, питая их голодные души плодами моей фантазии, и как я с Петровыми поступил, и как я m-me Васильеву изобидел. Ну что же? Стало быть, так нужно. Если семь дверей закрылись перед тобой — открывай другие десять... Но — не повезло мне! Очень я старался о том, чтобы создать себе устойчивое положение в обществе, и не мог! Не то я сам за эти три года утратил мою способность уживаться с людьми, не то люди стали за это время более пройдохами. И вот, когда мне пришлось особенно туго, дернул меня черт предложить мои услуги сыскному отделению. Предложил я себя в качестве агента по надзору за игор-

ными домами. Приняли. Условия хорошие. К сей тайной профессии присоединил еще явную: стал заниматься репортажем в одной газетине. Давал ей уличную хронику, а иногда сочинял и фельетоны. А потом играл. И увлекся я этой игрой,— до того увлекся, что доносить-то о ней по начальству и забыл. Совершенно забыл, знаете, что это есть моя обязанность. И когда проиграюсь, вспомню: а ведь надо донести! Но нет, думаю себе, сначала отыграюсь, а потом донесу. Откладывал я, таким образом, исполнение обязанности очень долго, до поры, пока однажды меня на месте преступления за карточным столом не зацепила полиция. Конечно, осрамили меня полицейские публично, признав за своего. А на другой день позвали куда следует, сделали очень свирепое внушение, сказали мне, что у меня нет совсем совести, и выслали из столицы... опять выслали! Без права въезда в течение десяти лет.

Шесть лет я путешествую и, ничего себе, не жалуюсь богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно... и разнообразно. В общем, это веселая, птичья жизнь. Только зерен иногда не хватает... но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей — это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы,— это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят, но — и в хороших гостиницах блохи водятся... Зато вы можете идти направо, налево, вперед, назад, всюду, куда вас влечет, а если не влечет никуда,— запасись от мужика хлебом,— он добр и всегда даст, — запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь...

Где я не был? Был в толстовских колониях и у московских купчих на кухнях кормился. Живал в Киево-Печерской лавре и на Новом Афоне. Был в Ченстохове и Муроме. Порой мне кажется, что всякую тропинку Российской империи уже второй раз попираю я стопами моими. И как только представится мне случай ремонтировать внешность — катну я за границу! В Румынию дерну, а оттуда — все пути открыты. Ибо в России — уже скучно мне. И в ней — «все, что мог, я уже совершил».

Думаю, что, в самом деле, за эти шесть лет много я совершил. Сколько слов красивых наговорил я, какие чудеса рассказывал! Придешь, знаете, в деревню, попросишься на ночлег и, когда тебя накормят,— заведешь волынку своей фантазии! Может быть, я даже секты новые основал, ибо — много, очень много говорил от писания. А мужик к писанию чуток и на двух словах может построить такое новейшее вероучение, что — ах ты мне!.. А сколько сочинил я законов о наделах и переделах земли!.. Да, много влил я фантазии в жизнь.

Да, вот так я и живу... Живу и верую: пожелай я оседлости, и — будет! у меня есть ум и меня ценят бабы. Вот приду я в город Николаев и пойду в Николаевскую слободу, где живет дочь одного николаевского солдата. Женщина она вдовая, красивая и зажиточная. Приду я и скажу ей: «Капочка! а ну-ка, топи баню! Омой меня и одень, аз же пребуду с тобой даже от луны и до луны». Она все сейчас мне сделает... И если завела она без меня любовника себе — прогонит его. И я проживу у нее месяц и более — сколько захочу! Жил я у нее в третьем году два месяца зимы, в прошлом — даже три месяца... прожил бы всю зиму, если б она была поумнее, а то очень уж скучно с ней. Кроме своего огорода, который дает ей до двух тысяч в год, знать ничего не хочет баба.

А то пойду на Кубань, в станицу Лабинскую. Там есть казак Петр Черный, и он меня считает святым человеком,— многие меня считают человеком праведной жизни. Многие простые и верующие люди говорят мне: «Возьми, батюшка, вот это и поставь свечу угоднику, когда будешь у него...» Я беру. Я ценю верующих людей и не хочу обидеть их гнусной правдой, сказав им, что на искреннюю лепту их не свечу для угодника, а табаку для себя я куплю...

Есть также много прелести и в сознании своей отчужденности от людей, в ясном понимании высоты и прочности той стены прегрешений против них, которую я сам свободно построил. И много сладкого и острого в постоянном риске быть разоблаченным. Жизнь — игра! Я ставлю на свою карту все — то есть нуль — и всегда выигрываю... без риска проиграть что-нибудь иное, кроме жизни моей. Но я уверен, что, если меня когда-нибудь будут бить,— меня не изувечат, а убьют. На это нельзя обижаться, и было бы глупо этого бояться.

Ну-с, так вот, молодой человек, я рассказал вам свою историю. И даже с походцем рассказал, ибо в моей истории была и философия. И — знаете? Мне нравится то, что я рассказал. Мне кажется, что я порядочно рассказал. Пойду дальше,— весьма вероятно, что я тут многое сочинил, но, ей-богу, если я наврал,— я наврал в фактах. Вы смотрите не на них, а на мой способ изложения — он, уверяю вас, с подлинным души моей верен. Я дал вам жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины...

А впрочем, зачем я вам сказал это?.. Затем, дорогой мой, что чувствую я — вы мало верите мне... Рад за вас. Так! Не верьте человеку! Ибо всегда, когда он о себе рассказывает,— он лжет! Лжет в несчастии, чтоб возбудить к себе более сострадания, в счастии — чтоб ему более завидовали, во всех случаях — чтобы увеличить внимание к себе.

1898

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

Поэма

Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того, чтобы мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали,— наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса — тухлую требушину...

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о под печи, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища,— она как бы высунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, дышала на нас жаром и смотрела на бесконечную работу нашу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза — безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотрели всегда одинаково темным взглядом, как будто устав смотреть на рабов, и, не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим по́том, и мы ненавидели нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга,— девять против девяти,— мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами и так привыкли к своей работе, что никогда уже и не сле-

дили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и все время молчали, если не ругались,— ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко — в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он — как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но молчание страшно и мучительно лишь для тех, которые всё уже сказали и нечего им больше говорить; для людей же, которые не начинали своих речей,— для них молчанье просто и легко... Иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристает другой, и — вот уже два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню,— она вскипает как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы...

Поют все двадцать шесть; громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжко вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: «Эх!» —поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем,— широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней, среди многих деву-

шек-мастериц, жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую,— прислонялось маленькое, розовое личико с голубыми, веселыми глазами и звонкий, ласковый голос кричал нам:

— Арестантики! дайте кренделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, словно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие, белые зубы, блестевшие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга, и— вот она,— веселая такая, милая,— входит к нам, подставляя свой передник, стоит пред нами, склонив немного набок свою головку, стоит и все улыбается. Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх,— порог двери выше пола на четыре ступеньки,— мы смотрим на нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова,— они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче и шутки легче. У нас для нее — все особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

— Смотри, хозяину не попадись! — предупреждаем мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам:

— Прощайте, арестантики! — и исчезает быстро, как мышонок.

Только... Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом — все то же самое говорим, что говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и все вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет, тем мучительнее ему неподвижность окружающего... Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам самим противно было слушать наши грубо бесстыдные речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тане мы никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами: мелькнет у нас в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть — потому, что она была маленькая и очень красивая, а все красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще — хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми волами, мы все-таки оставались

людьми и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не поклоняться чему бы то ни было. Лучше ее — никого не было у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания на нас, живших в подвале,— никто, хотя в доме обитали десятки людей. И наконец — наверно, это главное — все мы считали ее чем-то своим, чем-то таким, что существует как бы только благодаря нашим кренделям; мы вменили себе в обязанность давать ей горячие крендели, и это стало для нас ежедневной жертвой идолу, это стало почти священным обрядом и с каждым днем все более прикрепляло нас к ней. Кроме кренделей, мы давали Тане много советов — теплее одеваться, не бегать быстро по лестнице, не носить тяжелых вязанок дров. Она слушала наши советы с улыбкой, отвечала на них смехом и никогда не слушалась нас, но мы не обижались на это: нам нужно было только показать, что мы заботимся о ней.

Часто она обращалась к нам с разными просьбами, просила, например, открыть тяжелую дверь в погреб, наколоть дров,— мы с радостью и даже с гордостью какой-то делали ей это и все другое, чего она хотела.

Но когда один из нас попросил ее починить ему его единственную рубаху, она, презрительно фыркнув, сказала:

— Вот еще! Стану я, как же!..

Мы очень посмеялись над чудаком и — никогда ни о чем больше не просили ее. Мы ее любили,— этим все сказано. Человек всегда хочет возложить свою любовь на кого-нибудь, хотя иногда он ею давит, иногда пачкает, он может отравить жизнь ближнего своей любовью, потому что, любя, не уважает любимого. Мы должны были любить Таню, ибо больше было некого нам любить.

Порой кто-нибудь из нас вдруг почему-то начинал рассуждать так:

— И что это мы балуем девчонку? Что в ней такого? а? Очень мы с ней что-то возимся!

Человека, который решался говорить такие речи, мы скоро и грубо укрощали — нам нужно было что-нибудь любить: мы нашли себе это и любили, а то, что любим мы, двадцать шесть, должно быть незыблемо для каждого, как наша святыня, и всякий, кто идет против нас в этом,— враг наш. Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо, но ведь нас — двадцать шесть, и поэтому мы всегда хотим дорогое нам — видеть священным для других.

Любовь наша не менее тяжела, чем ненависть... и, может быть, именно поэтому некоторые гордецы утверждают, что наша ненависть более лестна, чем любовь... Но почему же они не бегут от нас, если это так?

Кроме крендельной, у нашего хозяина была еще и булочная; она помещалась в том же доме, отделенная от нашей ямы только стеной; но булочники — их было четверо — держались в стороне от нас, считая свою работу чище нашей, и поэтому, считая себя лучше нас, они не ходили к нам в мастерскую, пренебрежительно подсмеивались над нами, когда встречали нас на дворе; мы тоже не ходили к ним: нам запрещал это хозяин из боязни, что мы станем красть сдобные булки. Мы не любили булочников, потому что завидовали им: их работа была легче нашей, они получали больше нас, их кормили лучше, у них была просторная, светлая мастерская, и все они были такие чистые, здоровые — противные нам. Мы же все — какие-то желтые и серые; трое из нас болели сифилисом, некоторые — чесоткой, один был совершенно искривлен ревматизмом. Они по праздникам и в свободное от работы время одевались в пиджаки и сапоги со скрипом, двое из них имели гармоники, и все они ходили гулять в городской сад,— мы же носили какие-то грязные лохмотья и опорки или лапти на ногах, нас не пускала в городской сад полиция — могли ли мы любить булочников?

И вот однажды мы узнали, что у них запил пекарь, хозяин рассчитал его и уже нанял другого и что этот другой — солдат, ходит в атласной жилетке и при часах с золотой цепочкой. Нам было любопытно посмотреть на такого щеголя, и в надежде увидеть его мы, один за другим, то и дело стали выбегать на двор.

Но он сам явился в нашу мастерскую. Пинком ноги ударив в дверь, он отворил ее и, оставив открытой, стал на пороге, улыбаясь, и сказал нам:

— Бог на помощь! Здорово, ребята!

Морозный воздух, врываясь в дверь густым дымчатым облаком, крутился у его ног, он же стоял на пороге, смотрел на нас сверху вниз, и из-под его белокурых, ловко закрученных усов блестели крупные, желтые зубы. Жилетка на нем была действительно какая-то особенная — синяя, расшитая цветами, она вся как-то сияла, а пуговицы на ней были из каких-то красных камешков. И цепочка была...

Красив он был, этот солдат, высокий такой, здоровый, с румяными щеками, и большие, светлые глаза его смотрели хорошо — ласково и ясно. На голове у него был надет белый, туго накрахмаленный колпак, а из-под чистого, без единого пятнышка, передника выглядывали острые носки модных, ярко вычищенных сапог.

Наш пекарь почтительно попросил его затворить дверь; он не торопясь сделал это и начал расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и мучитель,— все, что можно и нужно было сказать

о хозяине, но нельзя написать здесь. Солдат слушал, шевелил усами и рассматривал нас мягким, светлым взглядом.

— А у вас тут девчонок много...— вдруг сказал он.

Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные скорчили сладкие рожи, кто-то пояснил солдату, что тут девчонок — девять штук.

— Пользуетесь? — спросил солдат, подмигивая глазом.

Опять мы засмеялись, не очень громко и сконфуженным смехом... Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он, но никто не умел сделать этого, ни один не мог. Кто-то сознался в этом, тихо сказав:

— Где уж нам...

— Н-да, вам это трудно! — уверенно молвил солдат, пристально рассматривая нас.— Вы чего-то... не того... Выдержки у вас нет... порядочного образа... вида, значит! А женщина — она любит вид в человеке! Ей чтобы корпус был настоящий... чтобы все — аккуратно! И притом она уважает силу... Рука чтобы — во!

Солдат выдернул из кармана правую руку с засученным рукавом рубахи, по локоть голую, и показал ее нам... Рука была белая, сильная, поросшая блестящей, золотистой шерстью.

— Нога, грудь — во всем нужна твердость... И опять же — чтобы одет был человек по форме... как того требует красота вещей... Меня вот — бабы любят. Я их не зову, не маню,— сами по пяти сразу на шею лезут...

Он присел на мешок с мукой и долго рассказывал о том, как любят его бабы и как он храбро обращается с ними. Потом он ушел, и, когда дверь, взвизгнув, затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу выяснилось, что он всем нам понравился. Такой простой и славный — пришел, посидел, поговорил. К нам никто не ходил, никто не разговаривал с нами так, дружески... И мы всё говорили о нем и о будущих его успехах у золотошвеек, которые, встречаясь с нами на дворе, или, обидно поджимая губы, обходили нас сторонкой, или шли прямо на нас, как будто нас и не было на их дороге. А мы всегда только любовались ими и на дворе, и когда они проходили мимо наших окон — зимой одетые в какие-то особые шапочки и шубки, а летом — в шляпках с цветами и с разноцветными зонтиками в руках. Зато между собою мы говорили об этих девушках так, что если б они слышали нас, то все взбесились бы от стыда и обиды.

— Однако как бы он и Танюшку... не испортил! — вдруг озабоченно сказал пекарь.

Мы все замолчали, пораженные этими словами. Мы как-то забыли о Тане: солдат как бы загородил ее от нас своей крупной,

красивой фигурой. Потом начался шумный спор: одни говорили, что Таня не допустит себя до этого, другие утверждали, что ей против солдата не устоять, третьи, наконец, предлагали в случае, если солдат станет привязываться к Тане,— переломать ему ребра. И наконец все решили наблюдать за солдатом и Таней, предупредить девочку, чтобы она опасалась его... Это прекратило споры.

Прошло с месяц времени; солдат пек булки, гулял с золотошвейками, часто заходил к нам в мастерскую, но о победах над девицами не рассказывал, а все только усы крутил да смачно облизывался.

Таня каждое утро приходила к нам за «кренделечками» и, как всегда, была веселая, милая, ласковая с нами. Мы пробовали заговаривать с нею о солдате,— она называла его «пучеглазым теленком» и другими смешными прозвищами, и это успокоило нас. Мы гордились нашей девочкой, видя, как золотошвейки льнут к солдату; отношение Тани к нему как-то поднимало всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением, сами начинали относиться к солдату пренебрежительно. А ее еще больше полюбили, еще более радостно и добродушно встречали ее по утрам.

Но однажды солдат пришел к нам немного выпивши, уселся и начал смеяться, а когда мы спросили его, над чем это он смеется? — он объяснил:

— Две подрались из-за меня... Лидька с Грушкой... Ка-ак они себя изуродовали, а? Ха-ха! За волосы одна другую, да на пол ее в сенях, да верхом на нее... ха-ха-ха! Рожи поцарапали... порвались... умора! И почему это бабы не могут честно биться? Почему они царапаются? а?

Он сидел на лавке, здоровый, чистый такой, радостный, сидел и все хохотал. Мы молчали. Нам он почему-то был неприятен в этот раз.

— Н-нет, как мне везет на бабу, а? Умора! Мигнешь, и — готова! Ч-черт!

Его белые руки, покрытые блестящей шерстью, поднялись и вновь упали на колени, громко шлепнув по ним. И он смотрел на нас таким приятно удивленным взглядом, точно и сам искренне недоумевал, почему он так счастлив в делах с женщинами. Его толстая, румяная рожа самодовольно и счастливо лоснилась, и он все смачно облизывал губы.

Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток печи и вдруг насмешливо сказал:

— Не великой силой валят елочки, а ты сосну повали...

— То есть — это ты мне говоришь? — спросил солдат.

— А тебе...

— Что такое?
— Ничего... проехало!
— Нет, ты погоди! В чем дело? Какая сосна?

Наш пекарь не отвечал, быстро работая лопатой в печи: сбросит в нее сваренные крендели, подденет готовые и с шумом швыряет на пол, к мальчишкам, нанизывающим их на мочалки. Он как бы позабыл о солдате и разговоре с ним. Но солдат вдруг впал в какое-то беспокойство. Он поднялся на ноги и пошел к печи, рискуя наткнуться грудью на черенок лопаты, судорожно мелькавший в воздухе.

— Нет, ты скажи — кто такая? Ты меня обидел... Я? От меня не отобьется ни одна, не-ет! А ты мне говоришь такие обидные слова...

Он действительно казался искренне обиженным. Ему, должно быть, не за что было уважать себя, кроме как за свое уменье совращать женщин; быть может, кроме этой способности, в нем не было ничего живого, и только она позволяла ему чувствовать себя живым человеком.

Есть же люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носятся с ней все время жизни и лишь ею живы; страдая от нее, они питают себя ею, они на нее жалуются другим и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие себе, и, кроме этого,— у них нет ничего. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жизни,— они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить; и можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки.

Солдат обиделся, лез на нашего пекаря и выл:
— Нет, ты скажи — кто?
— Сказать? — вдруг повернулся к нему пекарь.
— Ну?
— Таню знаешь?
— Ну?
— Ну и вот! Попробуй...
— Я?
— Ты!
— Ее? Это мне — тьфу!
— Поглядим!
— Увидишь! Х-ха!
— Она тебя...
— Месяц сроку!
— Экий ты хвальбишка, солдат!

— Две недели! Я покажу! Кто такая? Танька! Тьфу!..
— Ну, пошел прочь... мешаешь!
— Две недели — и готово! Ах ты...
— Пошел, говорю!

Наш пекарь вдруг освирепел и замахнулся лопатой. Солдат удивленно попятился от него, посмотрел на нас, помолчал и, тихо, зловеще сказав: «Хорошо же!» — ушел от нас.

Во время спора мы все молчали, заинтересованные им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся оживленный, громкий говор и шум.

Кто-то крикнул пекарю:
— Не дело ты затеял, Павел!
— Работай, знай! — свирепо ответил пекарь.

Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило жгучее, приятное нам любопытство — что будет? Устоит ли Таня против солдата? И почти все уверенно кричали:
— Танька? Она устоит! Ее голыми руками не возьмешь!

Нам страшно хотелось испробовать крепость нашего божка; мы напряженно доказывали друг другу, что наш божок — крепкий божок и выйдет победителем из этого столкновения. Нам, наконец, стало казаться, что мы мало раззадорили солдата, что он забудет о споре и что нам нужно хорошенько разбередить его самолюбие. Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженно нервной жизнью,— так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что мы играем в какую-то игру с чертом и ставка с нашей стороны — Таня. И когда мы узнали от булочников, что солдат начал «приударять за нашей Танькой», нам сделалось жутко хорошо и до того любопытно жить, что мы даже не заметили, как хозяин, пользуясь нашим возбуждением, набавил нам работы на четырнадцать пудов теста в сутки. Мы как будто даже и не уставали от работы. Имя Тани целый день не сходило у нас с языка. И каждое утро мы ждали ее с каким-то особенным нетерпением. Иногда нам представлялось, что она войдет к нам,— и уже это будет не та, прежняя Таня, а какая-то другая.

Мы, однако, ничего не говорили ей о происшедшем споре. Ни о чем не спрашивали ее и по-прежнему относились к ней любовно и хорошо. Но уже в это отношение вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим чувствам к Тане — и это новое было острым любопытством, острым и холодным, как стальной нож...

— Братцы! Сегодня срок! — сказал однажды утром пекарь, становясь к работе.

Мы хорошо знали это и без его напоминания, но все-таки встрепенулись.

— Глядите на нее... сейчас придет! — предложил пекарь.

Кто-то с сожалением воскликнул:

— Да ведь разве глазами что увидишь!

И снова между нами разгорелся живой, шумный спор. Сегодня мы узнаем наконец, насколько чист и недоступен для грязи тот сосуд, в который мы вложили наше лучшее. В это утро мы как-то сразу и впервые почувствовали, что действительно играем большую игру, что эта проба чистоты нашего божка может уничтожить его для нас. Мы все эти дни слышали, что солдат упорно и неотвязно преследует Таню, но почему-то никто из нас не спросил ее, как она относится к нему? А она продолжала аккуратно каждое утро являться к нам за крендельками и была все такая же, как всегда.

И в этот день мы скоро услыхали ее голос.

— Арестантики! Я пришла...

Мы поторопились впустить ее, и когда она вошла, то, против обыкновения, встретили ее молчанием. Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам говорить с ней, о чем спросить ее. И стояли мы пред нею темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась непривычной для нее встрече,— и вдруг мы увидели, что она побледнела, забеспокоилась, как-то завозилась на месте и сдавленным голосом спросила:

— Что это вы... какие?

— А ты? — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с нее глаз.

— Что — я?

— Н-ничего...

— Ну, давайте скорее крендельки...

Никогда раньше она не торопила нас...

— Поспеешь! — сказал пекарь, не двигаясь и не отрывая глаз от ее лица.

Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери.

Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отворотясь к печке:

— Значит — готово!.. Ай да солдат!.. Подлец!..

Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вскоре кто-то сказал:

— А может, еще...

— Ну-ну! Разговаривай! — закричал пекарь.

Мы все знали, что он человек умный, умнее нас. И окрик его мы поняли, как уверенность в победе солдата... Нам было грустно и неспокойно...

В двенадцать часов, во время обеда, пришел солдат. Он был,

как всегда, чистый и щеголеватый и, как всегда, смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть на него.

— Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу солдатскую удаль? — сказал он, гордо усмехаясь.— Так вы выходите в сени и смотрите в щели... поняли?

Мы вышли и, навалившись друг на друга, прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходившей на двор. Мы недолго ждали... Скоро спешной походкой, с озабоченным лицом, по двору прошла Таня, перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась за дверью на погреб. Потом, не торопясь и посвистывая, туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в карманы, а усы шевелились...

Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в лужи и лужи морщились под их ударами. День был сырой, серый — очень скучный день. На крышах еще лежал снег, а на земле уже появились темные пятна грязи. И снег на крышах тоже был покрыт бурым, грязноватым налетом. Дождь шел медленно, звучал он уныло. Нам было холодно и неприятно ждать...

Первым вышел с погреба солдат; он пошел по двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы,— такой же, как всегда.

Потом — вышла и Таня. Глаза у нее... глаза у нее сияли радостью и счастьем, а губы — улыбались. И шла она, как во сне, пошатываясь, неверными шагами...

Мы не могли перенести этого спокойно. Все сразу мы бросились к двери, выскочили на двор и засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико.

Она вздрогнула, увидав нас, и встала как вкопанная в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и злорадно, без удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей бесстыдные вещи.

Мы делали это не громко, не торопясь, видя, что ей некуда идти, что она окружена нами и мы можем издеваться над ней, сколько хотим. Не знаю почему, но мы не били ее. Она стояла среди нас и вертела головой то туда, то сюда, слушая наши оскорбления. А мы — все больше, все сильнее бросали в нее грязью и ядом наших слов.

Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за минуту пред этим счастливые, широко раскрылись, грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали.

А мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас. Она принадлежала нам, мы на нее расходовали наше лучшее, и хотя это лучшее — крохи нищих, но нас — двадцать шесть, она — одна, и поэтому нет ей муки от нас, достойной вины ее! Как мы ее оскорбляли!.. Она все молчала, все смотрела на нас дикими глазами, и всю ее била дрожь.

«Двадцать шесть и одна»
Художник Б. Дехтерев
Уголь. 1932 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

Мы смеялись, ревели, рычали... К нам откуда-то подбегали еще люди... Кто-то из нас дернул Таню за рукав кофты...

Вдруг глаза ее сверкнули; она не торопясь подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо в лицо нам:

— Ах вы, арестанты несчастные!..

И она пошла прямо на нас, так просто пошла, как будто нас и не было пред ней, точно мы не преграждали ей дороги. Поэтому никого из нас действительно не оказалось на ее пути.

А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала:

— Ах вы, сво-олочь... га-ады...

И — ушла, прямая, красивая, гордая.

Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем и серым небом без солнца...

Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную яму. Как раньше — солнце никогда не заглядывало к нам в окна, и Таня не приходила больше никогда!..

1899

ЧЕЛОВЕК

I

...В часы усталости духа,— когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом,— когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед,— в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами,— он движется все — выше! и — вперед! звездою путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч,— идет свободный, гордый Человек далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один — среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его ревут инстинкты: противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им; все жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

И как планеты окружают солнце,— так Человека тесно окружают созданья его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятья...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы созданья его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним пре-

пятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым глазом и беспощадно освещает все:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желанье овладеть любимым, стремленье унижать и унижаться и — Чувственности грязный лик за ней;

— пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней,— сестру ее родную,— нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом.

Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство, и зависти гнилые пятна, и клеветы зародыши на них.

Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее оковы, тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множество богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира,— свободной и бессмертной Мысли,— противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо злая.

Смерть для нее ветошнице подобна,— ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою — ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниенья, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

II

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска,— три черные, уродливые птицы,— зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песнь о том, что он — ничтож-

ная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая Гордость, и — что бы он ни делал — он умрет!

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую и злую; сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блестит слеза обиды...

И если Гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятья, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилье быть свободной и жадный деспотизм инстинкта.

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог,— она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как палач, пытает Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом Тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без Гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и — вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнениям своим:

— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во

мне растет! Я постигаю рост сознанья моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде.

— Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознанья моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы,— всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое,— и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, предубежденья и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей,— я их разрушу!

— Мое оружье — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытуя, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Все в Человеке — все для Человека!

Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

1903

ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

...Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.

У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на все вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила девушка полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:

— Американский бог...

Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы — мало земли,

она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет все кругом горячим, радостным светом.

А кругом ничтожного куска земли, на котором она стоит, скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей, сурово плещут волны океана.

Все вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Винты и колеса пароходов торопливо бьют воду — она покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.

И кажется, что все — железо, камни, вода, дерево — полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. Все стонет, воет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, запачканной жирными пятнами нефти, засоренной щепами и стружками, соломой и остатками пищи, работает невидимая глазом холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки всей этой необъятной машине, в ней корабли и доки — только маленькие части, а человек — ничтожный винт, невидимая точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных вагонами.

Ошеломленное, оглохшее от шума, задерганное этой пляской мертвой материи двуногое существо, все в черной копоти и масле, странно смотрит на меня, сунув руки в карманы штанов. Лицо его замазано густым налетом жирной грязи, и не глаза живого человека сверкают на нем, а белая кость зубов.

Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, отупели, что-то однообразно-овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно смотрят в туман.

А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное, полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.

Это — город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы неба». Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется

надменная кичливость своею высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...

Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением.

Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа,— в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их.

Улица — скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь плывут темные куски пищи города — живые люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с тобой — живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силою Золота, одушевленное им, оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на безмолвный камень, все шире раскидывая звенья своей цепи.

Как огромные черви, ползут локомотивы, влача за собою вагоны, крякают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей, угрюмо воет электричество, душный воздух напоен, точно губка влагой, тысячами ревущих звуков. Придавленный к этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он неподвижен среди высоких стен, покрытых копотью.

На площадях и в маленьких скверах, где пыльные листья деревьев мертво висят на ветвях,— возвышаются темные монументы. Их лица покрыты толстым слоем грязи, глаза их, когда-то горевшие любовью к родине, засыпаны пылью города. Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях многоэтажных домов, они кажутся карликами в черной тени высоких стен, они заплутались в хаосе безумия вокруг них, остановились и, полуослепленные, грустно, с болью в сердце смотрят на жадную суету людей у ног их. Люди, маленькие, черные, суетливо бегут мимо монументов, и никто не бросит взгляда на лицо героя. Ихтиозавры капитала стерли из памяти людей значение творцов свободы.

Кажется, что бронзовые люди охвачены одной и той же тяжелой мыслью:

«Разве такую жизнь хотел я создать?»

Вокруг кипит, как суп на плите, лихорадочная жизнь, бегут, вертятся, исчезают в этом кипении, точно крупинки в бульоне, как щепки в море, маленькие люди. Город ревет и глотает их одного за другим ненасытной пастью.

Одни из героев опустили руки, другие подняли их, протягивая над головами людей, предостерегая:

— Остановитесь! Это не жизнь, это безумие... Все они — лишние в хаосе уличной жизни, все не на месте в диком реве жадности, в тесном плену угрюмой фантазии из камня, стекла и железа.

Однажды ночью они все вдруг сойдут с пьедесталов и тяжелыми шагами оскорбленных пройдут по улицам, унося тоску своего одиночества прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой. Когда человек всю жизнь трудился на благо своей родины, он этим, несомненно, заслужил, чтоб после смерти его оставили в покое.

По тротуарам спешно идут люди туда и сюда, по всем направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества, гремящий шум работ по устройству новой сети металла, новых стен из камня — все это заглушает голоса людей, как буря в океане — крики птиц.

Лица людей неподвижно спокойны — должно быть, никто из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей города-чудовища. В печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы — в глазах у них порою светится сознание своей независимости, но, видимо, им непонятно, что это только независимость топора в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика, который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы духа — не светится в глазах людей. И эта энергия без свободы напоминает холодный блеск ножа, который еще не успели иступить. Это — свобода слепых орудий в руках Желтого Дьявола — Золота.

Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы...

О людях — страшно и больно говорить.

Вагон «воздушной дороги» с воем и грохотом мчится по рельсам, между стен домов узкой улицы, на высоте третьих этажей, однообразно опутанных решетками железных балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них — фигуры людей. Одни работают, что-то шьют или считают, наклонив головы над

конторками, другие просто сидят у окон, лежат грудью на подоконниках и смотрят на вагоны, каждую минуту пробегающие мимо их глаз. Старые, молодые и дети — все одинаково безмолвны, однообразно спокойны. Привыкли к этим стремлениям без цели, привыкли думать, что тут есть цель. В глазах нет гнева против владычества железа, нет ненависти к его торжеству. Мелькание вагонов сотрясает стены домов, вздрагивают груди женщин, головы мужчин; на решетках балконов валяются тела детей и тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь как должное, неизбежное. В мозгах, которые всегда встряхивают, вероятно, невозможно мысли плести свои смелые, красивые кружева, невозможно родить живую, дерзкую мечту.

Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, расстегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный, отравленный воздух испуганно бросился в окна, седые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.

В мутных внутренностях комнат мелькают железные прутья кроватей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и объедки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.

Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем пыли. Он однообразно качался над каким-то станком. Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и вяжет чулок, считая темными глазами петли. Ударом воздуха ее качнуло внутрь комнаты,— она не отвела глаз от работы, не поправила платья, развеянного ветром. Два мальчика, лет по пяти, строят на балконе дом из щепок. Он развалился от сотрясения. Дети хватают маленькими лапами тонкие щепы, чтобы они не упали на улицу сквозь отверстия в решетке балкона. И тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче. Еще и еще лица, одно за другим, мелькают в окнах, точно осколки чего-то одного — большого, но разбитого в ничтожные пылинки, растертого в дресву.

Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развевает платье и волосы людей, бьет им в лицо теплой, душной волной, толкает, вгоняет им в уши тысячи звуков, бросает в глаза мелкую, едкую пыль, слепит, оглушает протяжным, непрерывно воющим звуком...

Живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы, родит желания, тоскует, хочет, отрицает, ждет,— живому человеку этот дикий вой, визг, рев, эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах — все это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома и сломал,

разрушил эту мерзость — «воздушную дорогу»; он заставил бы замолчать нахальный вой железа, он — хозяин жизни, жизнь — для него, и все, что ему мешает жить,— должно быть уничтожено.

Люди в домах города Желтого Дьявола спокойно переносят все, что убивает человека.

Внизу, под железной сетью «воздушной дороги», в пыли и грязи мостовых, безмолвно возятся дети,— безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира,— но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испарениями города, они бледны и желты, кровь их отравлена, нервы раздражены зловещим криком ржавого металла, угрюмым воем порабощенных молний.

«Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые люди?» — спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот, злой визг.

Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала бедных, компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроена огромная, бездонная дыра, котел или кастрюля. Туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, тупые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте.

Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее — они всё еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола.

На углах грязных улиц стоят какие-то печи или жаровни, в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая, холодная нить,

он закручивается вокруг горла, путает мысли в голове, бесит, гонит куда-то и, не смолкая ни на секунду, дрожит в гнилом запахе, пожравшем воздух, дрожит насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.

Грязь — стихия, она пропитала собою все: стены домов, стекла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания, мысли...

В этих улицах темные впадины дверей подобны загнившим ранам в камне стен. Когда, заглянув в них, увидишь грязные ступени лестниц, покрытые мусором, то кажется, что там, внутри, все разложилось и гнойно, как во чреве трупа. А люди представляются червями...

Высокая женщина с большими темными глазами стоит у двери, на руках у нее ребенок, ее кофта расстегнута, бессильно повисла длинным кошелем ее синяя грудь. Ребенок кричит, царапая пальцами вялое, голодное тело матери, тычется в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, вновь кричит с большей силой, бьет руками и ногами грудь матери. Она стоит, точно каменная, и глаза ее круглы, как у совы,— они смотрят упорно в одну точку перед собой. Чувствуешь, что этот взгляд не может видеть ничего, кроме хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, ноздри ее вздрагивают, втягивая пахучий, густой воздух улицы; этот человек живет воспоминанием о пище, проглоченной им вчера, мечтой о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь. Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким, желтым тельцем,— она не слышит его криков, не чувствует ударов...

Старик, длинный и худой, с хищным лицом, без шляпы на седой голове, прищурив красные веки больных глаз, осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда к нему подходят, он неуклюже, точно волк, поворачивает туловище и что-то говорит.

Юноша, очень бледный и худой, опираясь на столб фонаря, смотрит серыми глазами вдоль улицы и по временам встряхивает курчавой головой. Его руки засунуты глубоко в карманы брюк и судорожно шевелят там пальцами...

Здесь, в этих улицах, человек заметен, слышен его голос, озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека есть лицо — голодное, возбужденное, тоскующее. Видно, что люди чувствуют, заметно, что они думают. Они кишат в грязных канавах, трутся друг о друга, точно сор в потоке мутной воды, их кружит и вертит сила голода, оживляет острое желание съесть что-нибудь.

В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытыми, они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных глубинах их душ рождаются острые мысли, хитрые чувства, преступные желания.

Они подобны болезнетворным микробам в желудке города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами, которыми он так щедро питает их теперь!

Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой, крепко стиснув голодные зубы. Мне кажется, я понимаю, о чем он думает, чего он хочет,— иметь огромные руки страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для того, чтобы однажды днем подняться над городом, опустить в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем все в груду мусора и праха — кирпич и жемчуг, золото и мясо рабов, стекло и миллионеров, грязь, идиотов, храмы, деревья, отравленные грязью, и эти глупые, многоэтажные «скребницы неба», всё, весь город — в кучу, в тесто из грязи и крови людей — в скверный хаос. Это страшное желание естественно в мозгу юноши, как нарыв на теле худосочного. Где много работы рабов, там не может быть места для свободной, творческой мысли, там могут цвести только идеи разрушения, ядовитые цветы мести, буйный протест животного. Это понятно — искажая душу человека, люди не должны ждать от него милосердия к ним.

Человек имеет право мести — это право дают ему люди.

В мутном небе, покрытом копотью, гаснет день. Огромные дома становятся еще мрачнее, тяжелее. Кое-где в их темных недрах вспыхивают огни и блестят, точно желтые глаза странных зверей, которые должны всю ночь стеречь мертвое богатство этих гробниц.

Люди кончили работу дня и,— не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она для них,— быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги,— это видно по глазам,— уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа — будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью, кроме этого, ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола.

Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая, свежая пища...

Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блестят улыбки.

Крякают автомобили, щелкают бичи, густо поют электрические провода, гремят вагоны. Вероятно, где-нибудь играет музыка.

Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый звук шарманки и чей-то вопль сливаются в трагикомическом объятии

убийцы и балаганного шута. Безвольно идут маленькие люди,— точно камни катятся под гору...

Все больше и больше вспыхивают желтых огней — целые стены сверкают пламенными словами о пиве, о виски, о мыле, новой бритве, шляпах, сигарах, о театрах. Грохот железа, гонимого всюду вдоль улиц жадными толчками Золота, не становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерывный вопль еще значительнее, он приобретает новый смысл, более тяжелую силу.

Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов — льется ослепляющий свет расплавленного Золота. Нахальный, крикливый, он торжествующе трепещет всюду, режет глаза, искажает лица своим холодным блеском. Его хитрое сверкание полно острой жажды вытянуть из карманов людей ничтожные крупицы их заработка,— он слагает свои подмигивания в огненные слова и этими словами молча зовет рабочих к дешевым удовольствиям, предлагает им удобные вещи...

Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым и, возбуждая, веселит. Огонь — свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он буйно расцветает — его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить все ветхое, умершее и грязное.

Но когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь, как все, огонь — порабощен. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей...

Как все — железо, камень, дерево — огонь тоже в заговоре против человека; ослепляя его, он зовет:

— Иди сюда!

И выманивает:

— Отдай твои деньги!..

Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и смотрят на зрелища, отупляющие их.

Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный, огненный вихрь, и втягивает в него людей затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа, его раба, грохот всех сил, порабощенных им.

И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь

и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратились в холодный, желтый металл. Ком Золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее.

Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело.

Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь.

Из пустыни океана идет ночь и дышит на город прохладным, соленым дыханием. Тысячами стрел вонзаются в нее холодные огни — она идет, сострадательно окутывая темными одеждами безобразие домов, мерзость узких улиц, прикрывая грязь лохмотьев нищеты. Дикий вопль жадного безумия несется ей навстречу, разрывая ее тишину,— она идет и медленно гасит нахальный блеск порабощенного огня, закрывая своей мягкой рукой гнойные язвы города.

Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить, разогнать своим свежим дыханием ядовитые испарения города. Она трется о камень стен, нагретый солнцем, ползет по ржавому железу крыш, по грязи мостовых, пропитывается ядовитой пылью, глотает запахи и, опуская крылья, бессильно, неподвижно ложится на крыши домов, в канавы улиц. От нее осталась только тьма,— свежесть и прохлада исчезли, проглоченные камнем, железом, деревом, грязными легкими людей. В ней больше нет тишины, нет поэзии...

Город засыпает в духоте, он ворчит, как огромное животное. Оно слишком много пожрало за день разной пищи, ему жарко, неловко и снятся дурные, тяжелые сны.

Вздрагивая, угасает огонь, отслужив свою жалкую службу провокатора, лакея рекламы. Дома всасывают людей, одного за другим, в свои каменные внутренности.

Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы и скучно бесцветными глазами смотрит направо и налево, медленно повертывая голову. Куда идти? Все улицы одинаковы, и все дома смотрят друг на друга бельмами тусклых окон одинаково безразлично и мертво...

Душная тоска давит горло теплой рукой, стесняя дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное облако дневных испарений проклятого, несчастного города. Сквозь эту пелену в недосягаемой высоте небес тускло мерцают тихие звезды.

Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх. Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли, чем где-либо. Звезды — мелки, одиноки...

Вдали тревожно звучит медная труба. Длинные ноги человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц, шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками. Уже поздно, улицы становятся все более пустынными. Одинокие маленькие люди исчезают, точно мухи, пропадая во тьме. На углах неподвижно стоят полицейские, в серых шляпах, с палками в руках. Они жуют табак, медленно двигая челюстями.

Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и множества черных дверей в стенах домов,— черных дверей, сонно разинувших квадратные пасти. Где-то далеко гремит и воет вагон трамвая. Ночь задохнулась в глубоких клетках улиц, ночь умерла.

Человек идет, размеренно передвигая ноги, и качает свой длинный, согнутый корпус. В его фигуре есть что-то думающее, и хотя нерешительное, но решающее...

Мне кажется, он — вор.

Приятно видеть человека, который чувствует себя живым в черных сетях города.

Раскрытые окна дышат тошным запахом человеческого пота.

Непонятные, глухие звуки дремотно возятся в душной, тоскливой тьме...

Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола.

1906

ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ»

II

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа — преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы — члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил,

потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики — на площади тихо, душно и все облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов — женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив — толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях,— мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезны, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,— по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселою рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, пред ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей,— они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг — как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди, крикнули:

— Viva Italia![1]

— Да здравствует молодая Парма! — гремит толпа, опрокидываясь на них.

---

[1] Да здравствует Италия! *(итал.)*

— Evviva Garibaldi![1] — кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Все стало праздничным, все ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и все гремит в воздухе непрерывный мощный крик:

— Viva il Cosialismo![2]

— Evviva Italia!

Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А — так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ощетинился,— они смотрели на него серьезно,— нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал все, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

---

[1] Да здравствует Гарибальди! *(итал.)*

[2] Да здравствует социализм! *(итал.)*

Приплясывая, идет черноволосая генуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она все падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову,— весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь,— если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжествующе хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— Evviva Parma-a![1]

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфект, веселая группа факино и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и все вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле

[1] Да здравствует Парма! *(итал.)*

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь, а потом — она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану,— земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости,— это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень,— забываешь о фантазиях. Там все было фантастично, дорогой синьор; мы, люди,— такие маленькие, и она, эта гора,— до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли,— надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать! — продолжал он с гордостью.— О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать,— непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает все, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну,— говорил он,— это против бога, разделившего землю стенами гор,— вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога»,— это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек,— «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и, когда коснемся его,— оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что

сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И все сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя все чаще, глуше...— «Разве я не прав? — говорил он.— Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло,— сказал он мне однажды ночью.— Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор! — «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?» Я — верил. «Хорошо, сын мой! Так и надо: все надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца — это был безумный день, синьор! О, когда мы услыхали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею — вы поймите, синьор,— под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи,

как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний,— это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человечьими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости,— о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно,— хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,— не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал — как он желал этого:

— «Отец — сделано! — сказал я.— Люди — победили. Сделано, отец!»

IX

Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник все побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани — счастливом завоевателе, о Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона — муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек — он хотел отнять у нее все жертвы — да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых Джеттов одетый в черное и голу-

бое, посыпав головы свои пылью и пеплом,— с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре, где она поборола его,— тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся — так жил он, сомкнув губы, ни перед кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было.

Пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина,— в долине, которую поэты Самарканда назвали «Любовь цветов», и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они — как тюльпаны, и над каждой — сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в средине их — палатка Гуругана-Тимура — как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копья в высоту, ее средина — на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении,— пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга — не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове — белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается — сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого — как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят все, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя — серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет,— триста золотых кувшинов с вином и все, что надо для пира царей; сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним — никого, у ног его — его кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему — пьяный Кермани-поэт, тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

— Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? — ответил сеятелю смерти и ужаса:

— Двадцать пять аскеров.

— Но это цена только моего пояса! — вскричал удивленный Тимур.

— Я ведь и думаю только о поясе,— ответил Кермани,— только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них — навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних — ужасными и смешными — других,— в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса,— в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе,— оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях; она кажется безумной, говорит по-арабски и требует — она требует! — видеть его, повелителя трех стран света.

— Приведите ее! — сказал царь.

И вот пред ним женщина — босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее — как бронза, а глаза — повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

— Это ты победил султана Баязета? — спросила она.

— Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

— Слушай! — сказала она.— Что бы ты ни сделал, ты — только человек, а я — Мать! Ты служишь смерти, я — жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину,— мне говорили, что девиз твой — «сила — в справедливости»,— я не верю этому, но ты должен быть справедливым ко мне, потому что я — Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их,— он сказал:

— Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села — как нашла удобным — в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

— Я — из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь где! Мой отец — рыбак, мой муж — тоже, он был красив, как счастливый человек,— это я поила его счастьем! И еще был у меня сын — самый прекрасный мальчик на земле...

— Как мой Джигангир,— тихо сказал старый воин.

— Самый красивый и умный мальчик — это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты — победил Баязета и отнял у него все, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми!

— Она — безумна! — сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением — Тамерлан.

— Она безумна, как Мать! — тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь — враг мира — сказал:

— Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди,— которые часто злее злейших зверей,— не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать все это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя!

Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери,— вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

— Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое — дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? — я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

— Гора становится долиной, когда любишь!

— Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри,

медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я — Мать, и уходили, вздыхая,— им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

— Так, женщина! — сказал Тимур.— И часто — я знаю — они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

— Люди,— продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать — сто раз дитя в душе своей,— люди — это всегда дети своих матерей,— сказала она,— ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик,— ты знаешь это — родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

— Так, женщина! — воскликнул Кермани, бесстрашный поэт.— Так,— от сборища быков — телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери — нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

— Отдай мне моего ребенка,— потому что я — Мать и люблю его!

Поклонимся женщине — она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но — как сказал Шерифэддин — он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель — сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана,— вся гордость мира — от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

— Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — жил я, уже много лет земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой,— для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но — никто, никогда — за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я — кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно — пред богом ничто государства и люди, смотри — он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты — кривой, я — хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне

в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастии, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а — требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина,— она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми, и герои — слабыми? О Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе — суждено было согреть землю, засеять ее счастьем — я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец:

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею; тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив — говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

— Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе полуночи — знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень лета — знаю!
Очи моей милой всех цветов прекрасней — знаю!
И ее улыбка ласковее солнца — знаю!

Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

— Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость!

— Э! Бог сам — хороший поэт! — молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее — Мать!

Все это — правда; все слова здесь — истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

— Да, все это вечная правда, мы — сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем все, чем он славен!

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как все теснее сжималась петля врагов, как мелькают вкруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе,— а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубили сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса, и останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — все напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древними камнями, из которых ее предки построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей — теряло это сердце ближайшего ему человека и плакало: было оно как весы, но, взвешивая в нем любовь к сыну и городу, она не могла понять — что легче, что тяжелей?

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидала другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна все видит, все знает, и я благодарю ее!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она.— Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие,— матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась все меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подошли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель,— мой сын,— сказала она, и ни один из солдат не усомнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца,— в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Все — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки.— Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился,— напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком,— сказала она.

— Камни,— немы, если человек не заставит их говорить,— пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила мать.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой,— это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он.— Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но — точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город...

— Который пережил все имена,— напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она все реже перебивала его безумные речи, и все ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям — ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шепота людей, ожидающих смерти,— она видела все и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью,— говорил ее сын,— если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов,— говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, наклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как все слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отмстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния,— сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо

«Город Желтого дьявола»
Художник Б. Старчиков
Линогравюра. 1968 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины все, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его — ее крови,— она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце,— если оно болит, в него легко попасть.

1911

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекой и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой,— макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие греш-

ники,— построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотою!

Ну, да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу часто очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечьи голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами, синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая землища...
— Прямо — прет из нее.
— Н-да-а... а однако — камень ведь...
— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке,— уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...
во зелены-их куста-ах —
На песочку...
расстелю я белый плат...
Не дождусь ли...
дружка милого мово...
Придет милый...
поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой-да милый...
ой, миленок дорагой...
Не судьба мне...
боле видетьси с табой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа — качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накренясь на левый борт,

скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — «чише» и «хыть» вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания, ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине,— спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны,— кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

...Тихий стон в кустах — человечий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиною о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые, волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней,— она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело,— это я уже видел однажды,— конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка,— я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли, и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи,— хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а..

Такой скользкий — того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь...— тихо шепчет мать,— глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же...

Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплому ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая,— вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы,— синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

— Слава те, пречистая матерь божия... ох... слава тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто — чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка...

— Ты очень-то не возись...

— Ну, ну... отойди.

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это — вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

— Гляди — как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом,— какие не растут в Орловской губернии.

— Ты бы, мать, легла...

— Не-е,— сказала она, покачивая головою на развинченной шее,— мне прибираться надобно да идти в энти самые...

— В Очемчиры?

— Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

— Да разве ты можешь идти?

— А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей,— надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

— О? Напои-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

— Что ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросили — зачем! Я сама отстала, а они — выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то.

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первенькой... А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конешно, человек! Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала.

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже. на попа учится...

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась — дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться бы мне, а вода — незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед...

— Тебе — знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

— Эки люди здесь несуразные да страховидные,— тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползет на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарою...

— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

— Бросил ученье-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалося мне — видно, мол, пропоица, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, оглядывая меня.— Помог ты мне — спасибо... а хорошо ли это для него, и — не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А — богородица-то?.. Дай-ко мне его!

— Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться,— сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок,— рос, да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

1912

ЛЕДОХОД

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по-зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капéль к ночи намерзала синими сосулями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер.

...Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее,— всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий,— ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть — подобат тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот, для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты — командуй, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие,— надобно сегодня конец делу положить али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшеб-

ные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать все ладно и гладко,— Осип заводит журчащим голоском:

— А вот, братцы мои, был случай...

Две-три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижет слово за словом...

— Поймал он этого линя, положил в пе́щер, идет лесом — думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг — не знай откуда — кричит голос женской, тонкой: «Елеся-а, Елеся-а...»

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец,— молодой парень с маленькими изумленными глазками,— опустил топор и стоит, открыв рот.

— А из пе́щера отвечают басищем, густо: «Здеся-а!..» И в тую самую минуту в пе́щере — хлобысь, линь оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

— Как это он, линь, пошел посуху, ежели он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом — скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут,— человек молчаливый и неприметный, не торопясь выпускает через нос три любимые свои слова:

— Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое,— он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:

— Это совсем верно...

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбье и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:

— Один — чего ни ври — принимают, а как я вам — правду,— ржете, галманы, пострели вас в душу...

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и — ладно!

— Сам завел,— хрипит солдат, поплевывая на ладони.

Осип пристает ко мне:

— Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими россказнями, имея какую-то цель, но я не понимаю — хочет ли он болтовней прикрыть свою лень, или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно,— «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чаишко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос — что за человек Осип, сказал, усмехаясь:

— Не знай... пес его знает... так себе — ничего...

И, подумав, добавил:

— Михайло, который помер, резкий был мужик, умный,— так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин — не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке...» Вот это, поди-ка, верно про него...

И еще подумав, мордвин беспокойно договорил:

— А так он ничего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело.

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала,— Осип не торопясь подходит и спрашивает:

— Нарисовал? Ну-кось, покажь...

Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:

— Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печат-

ными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему.

— Это — корытцем-то — какое слово?

— Добро.

— Добро-о! Ишь петля какая... А что написано строкой этой?

— Досок вершковых, девятиаршинных, пять.

— Шесть.

— Пять.

— Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...

— Это он напрасно, надобности не было...

— Как же не было? Он половинку в кабак снес...

Спокойно глядя мне в лицо голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

— Рисуй шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко,— мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжись, бога строгостью не подкупишь...

Говорит он долго, ласково, кудревато, слова сыплются на меня, точно опилки, я как бы внутренне слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну, вот — это верно! И чифра — красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Все это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай,— предупредил я Осипа,— я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями.— Что, в сам-деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей...

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Проштрафились, стало быть,— спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика,— сказал я Осипу,— ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяиново, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела — молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь,— он бы те в тую самую одну минуту по шее,— вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну,— характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он наподобие галки: чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Все это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнездо...

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное,— поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

— Это совсем верно,— отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый, среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слу-

шаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

— Надо быть хорошим человеком,— сказал я однажды.

— А — конешно! — согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: — Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, побалуй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конешно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть... Ну, а людям — я вижу — все едино как: жулик ты али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно — что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой,— отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала,— это все равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал,— они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа,— неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей — точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они — скучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города, — каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрей, сырые тени их становятся тяжелее, и все потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города — точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов — как бугры земли, тусклый блеск

стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется разымчивая грусть бледной северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

— Эй ты, курвин сын! — кричит на него солдат.— Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит:

— С-собачья душа!

— Народ у нас лесной, долголетний, жилистой,— говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос.— Выпусти конец бруса на вершок левей — так!.. А ежели просто сказать — дикóй народ! Однова — едет алхирей, они — к нему, обкружили, пали на коленки, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень изгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Сажен на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево,— и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую...

Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелоке варенный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, но линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает,— говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай, знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая,— кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке.— Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол... о-го-го-о!

И как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-подо льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай струмент! — крикнул Осип.— Живо, так вашу... на берег!

— Вот те и светло Христово воскресенье!— горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги,— крикнул Осип, толкнув меня,— чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними вьюгами,— там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец...

— Да ведь как же, дядя Осип...
— Так же все, как было.
— Застряли мы тут суток на двое...
— И посидишь.
— А праздник?
— Без тебя отпразднуют в сем году...
Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:
— Струсили... три пятка сажен места до берегу, а вы — бежать сломя голову...
— Ты первый побег,— сказал Мокей.
Но солдат продолжал:
— А чего испугались? Христос-батюшко и то помер...
— Чать, он воскрес опосля того,— обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:
— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес? Седни — пятница, а не воскресение!
В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:
— Встала... Только это — ненадолго...
— Отрезало нас от праздника,— угрюмо проговорил Сашок.
Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:
— Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей — радость, а мы... Жадностям служим, как собаки все одно...
Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:
— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быки-ледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и все такое. Лед — глупый, он навалится на караван, и — прощай имущество...
— А — наплевать... наше оно, что ли?
— Толкуй с дураком...
— Чинили бы раньше...
Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:
— Цыц, мордва народская!
— Встала,— повторил Осип.— М-да...
На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и все казалось измененным, полным напряженного ожидания.
Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:
— Дядя Осип — как же?

— Чего? — дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

— Отлучил господь вас, ёрников, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарища — вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

— Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утопнете, а то — в полицию возьмут... на праздник-то — хорошо!..

— Это совсем верно,— сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней — молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжко, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разно и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-кось, ребята, айда с богом...

— В город? — воскликнул Сашок, вскакивая.

Солдат, не двигаясь, уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда — оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикнул:

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пе́щере, заныл:

— Сказано — иди, стало быть — надо идти! Кем приказано — того и ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя — в случае — не дай бог — провалится кто,— концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить... Веревка — есть? Народец, дай-кось мне ватерпас... Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжеле? Ты, солдат! Потом — Мокей, мордвин, Боев, Мишук, Сашок,— Максимыч всех легче, он позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце

глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

— Айда! — сухо, новым голосом сказал Осип.— С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале — то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу, раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны, ма-а...

— Шагай, не оглядывайсь! — звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяво-олы...

— Айда, ребята, бога помня! В гости на праздник он нас не позовет...

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию... Коли не утопнем — в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке:

— Гляди под ноги зорче!..

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним, гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат все гуще — видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механической, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время все видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, изъеденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата,— оба они — как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру...

— Конешно, и я...

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу раз умнее...

— Разве умом живут у нас? У нас — глоткой живут все...

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых шганах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто повертывает назад и так все время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов...

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда вверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся, и, не устояв, припал на колено, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись... расходись — держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул он.— Стой, черт!

Показалось, что это не Осип,— лицо странно помолодело, все знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем,— тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег; часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: все уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли,— словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе,— на обиде,— растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!..»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая-чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зева-ай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из «Конька-Горбунка», и все чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная, холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип.— Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне:

— Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам-деле потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого, смирного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки — поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батюшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот попал бы к чертям ко всенощной,— выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом.— Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы выверoти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжко, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

— Не падай духом, божьи детки, э-эй!

— Ай да дядя Осип! — тихо восторгался мордвин.— Ну — человек!.. Это действительно — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, истерт лед и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

— Пожалуй — потонем,— тихонько сказал мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг — точно пожалев нас — огромная чка уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала.

— Беги-и! — яростно закричал Осип.— Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я, остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну!..

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя...

Он опустил голову.

— Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шеи нам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Глядите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже... бросить бы вам меня!..

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

— А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты,— одобрительно сказал мордвин,— поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта книжка — точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

— Р-ря!

— Их ты-и!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам...

Боев, переобуваясь, кричит:

— Чем мы вас потревожили?

— Христиане тонут,— ворчит солдат, еще более охрипший,— а вы что делали?

— А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу, и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

— Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежа на нет... а — года не носил!..

Стал он маленький, сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь все меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

— Понесли вас беси, дураков,— в баню, в церковь, вишь ты! Чертогоны!.. Туда же... Не проживет бог без вас свой праздник... На смерть наткнулись было... одежу всю спортили, чтоб вас рóзорвало...

Все переобувались, отжимали одежу, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал все горячее:

— На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна... вот,— полицию бы, она бы вам показала баню...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицией послано...

— Ты — что? — закричал Боев Осипу.— Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Осип задергался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

— Я-а?

— Это совсем верно,— спокойно и внятно сказал Будырин.

Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Осип!.. Ты забыл...

— Конешно, ты заводчик делу,— угрюмо и веско крикнул солдат.

— За-абыл он! — яростно кричал Боев.— Как же, забыл! Нет, это он пробует, нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и, прищурив глаза, оглядел мокрых, полуодетых людей...

Потом, странно всхлипнув — смеясь или плача — дергая плечами и разводя руки, стал бормотать:

— А ведь — верно... и впрямь — моя затея-то... скажи на милость!

— То-то!— победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просяная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение... ах ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя... Фу ты, господи!.. Ребята... вы — того... не сердитесь, праздника ради... простите уж!.. Помутилось в уме у меня, что ли-то... Верно: я подбил... экой старый дурак...

— Ага? — сказал Боев.— А как бы я — утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренне поражен ненужностью и безумием сделанного им,— скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом все бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая — где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

— Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

— Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а?

...На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей, влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку,— чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту

стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь,— грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им — вдоль берега — шел серый околодочный и двое черных полицейских.

— Ах ты, господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидающе примолкли, а околодочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это — я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый черт,—закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

— Квартера у нас здесь, в городу; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтрея, ваше благородие, велик Христов день,— в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: «Айдате, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем». И за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе...

— Да! — сурово крикнул околодочный.— Ну, а если б вы утопли — что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!..

— Стало быть,— изумленно и разочарованно загнусил Боев,— стало быть, нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо, чтоб сломал?

— Ах,— комедьян! Петрушка ты несчастный...

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а черт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

«Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила...

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно,— хоть снова через реку, по льду, ускользающему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человечья — крылата,— во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..

1912

«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки,— топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом емкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную, глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась,— пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

— Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

— Дьявол,— бормотала она.— Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

— Кто скандалит?

Я сказал ему, что — боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот — хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

— Машка — вылазь!

— Не хочу.

— А я те говорю — вылазь!

— А я не вылезу.

— Вздую, подлая,— не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: — Это — здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

— Начальники! Я сама себе начальница... Захочу — купаться буду...

— Я те покупаюсь,— предупредил ее сторож, бородатый, крепкий старик.— Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней — сын безногой...

— Далеко живет?..

— Убить ее надо,— сказал сторож, не ответив мне.

— Отвести бы ее домой,— предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжко топая сапогами по липкой земле.

— Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

— Как по-о мор-рю...

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью — отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня:

— Ну — бей, бей! Ничего,— бей... Ах ты зверь... ах ты ирод... ну — бей!

Приставив ее к забору, я спросил — где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидал, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

— Ладно, идем,— сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

— Идем, милый,— ворчала она, как будто трезвея.— Я тебя приму... Я те дам утешеньице...

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленниц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

— Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

— Мамка,— ты? — спросил во тьме тихий голос.

— Я-а...

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

— А кто же придет к тебе? Я-а,— говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

— Утешеньишко мое,— сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол,— там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами,— личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной, сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

— Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

— Ее надо раздеть,— сказал я.

— Так раздевай,— отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки — он спросил тихо и деловито:

— Огонь-то — погасить?

— Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним; он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной — печатными буквами — надписью:

ОСТОРОЖНО
Т-во Н. Р. и К°

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

— Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

— Теперь — гасить лампу?

— Как хочешь.

— А ты — уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

— С ней.

— Зачем? — спросил я глупо и удивленно.

— Сам знаешь,— сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил:

— Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня — чело уродливой печки, на шестке — грязная посуда, в углу — за ящиком — куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

— Можно посидеть с тобой? — спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

— Она ведь до утра уж не проснется.

— Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

— Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет...

Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

— Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая все равно...

Теперь я рассмотрел его глаза,— они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинны, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых, рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз—внимательных и спокойных,— я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

— У тебя — что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

— Вот какие ноги. Обе такие, сроду. Не ходят, не живут, а — так себе...

— А что это в коробочках?

— Зверильница,— ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

— Хочешь — покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

— Гляди,— не открывай, а то — убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

— Шевелится кто-то...

— Ага! Это — паучишка там сидит, подлец! Его зовут — Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом — к моему и оживленно рассказывал:

— А тут — таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это — муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это — черный таракан, большущий,— Хозяин; он — ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору, голый, мохнатый, как черная собака. Здесь — жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он — странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его — Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников — сколько хочешь, как мух, даром что безносая.

— Она тебя не бьет?

«Сказки об Италии»
Художник А. Билль
Гравюра на дереве. 1963 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

— Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну,— на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь»,— а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

— Хорошая зверильница? — спросил мальчик с гордостью.

— Очень.

— Бабочков нету вот у меня,— бабочков и мотыльков!

— Тебя как зовут?

— Ленька.

— Тезка мне.

— Ну? А ты — какой человек?

— Так себе. Никакой.

— Ну, уж врешь! Всякий человек — какой-нибудь, я ведь знаю. Ты — добрый.

— Может быть.

— Уж я вижу! — Ты — робкий, тоже.

— Почему — робкий?

— Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

— А почему все-таки робкий?

— Вот — сидишь со мной, значит — боишься ночью-то идти!

— Да ведь уж — светает.

— Ну, и уйдешь.

— Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые, мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

— Зачем?

— Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

— Валяй! К нам все ходят...

Вздохнув, он сказал:

— Обманешь.

— Ей-богу — приду!

— Тогда — приходи. Ты уж — ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты — давай дружиться со мной,— ладно?

— Ладно.

— Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе — сколько годов?

— Двадцать первый.

— А мне — двенадцатый. У меня — нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты — вор?

— Нет. Почему — вор?

— У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один — Сашка, дурак и злой, а другой — Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

— Принесу.

— Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

— Почему?

— Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот,— любит мужчинов, шкуреха,— просто беда! Она — смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась — родила меня и сама не знает — как! Ты — когда придешь?

— Завтра вечером.

— Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруешь?

— Баварским квасом торгую.

— Ой-ли? Принеси бутылку, а?

— Конечно — принесу! Ну, я пошел.

— Валяй. Придешь?

— Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие, холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая, жесткая борода — в ней светились белые зубы,— казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо — голубое и розовое,— эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза,— при дневном свете они были еще чудесней.

— У-ю-юй,— заговорил он низким, не ребячьим голосом,— сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это,— богатый, а плохо одетый и, говоришь,— не вор? Вот так коробочки! Ую-юй,— даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там — кто? Юх,— жучишка-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт... А — выбегут да улетят? Ну уж...

И вдруг весело крикнул:

— Мамк! Слезь, вымой руки мне,— ты погляди, курятина, чего он принес! Это — он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник,— это он все! Его тоже Ленька зовут...

— Спасибо надо сказать ему,— услышал я сзади себя негромкий, странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

— Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов,— невольную, нестираемую улыбку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но — бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки,— ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

— Убег, стой,— убег! — закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие, неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

— Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

— Эдаких — много!

— Не задави,— строго предупредил ее сын.— Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

— А ты забудь про то, утешеньице мое.

— Уж я хоронил-хоронил...

— Я же тебе сама и наловила их после.

— Наловила! Те были — ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище... Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый...

— Ах ты, утешеньишко мое милое,— сказала женщина, поглаживая кудри сына темной, маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:

— Хорош сынок? Глазки-то, а?

— Ты возьми один глаз, а ноги — отдай,— предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука.— Какой... железный! Толстый. Мам, он — на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала,— помнишь?

— Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

— Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я — сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» — «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено,— длинная веревища да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

— Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи; ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезать; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет,— поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

— Уж ты у меня хохотать любишь,— сказал мальчик тоном старшего.— А вот самовар бы поставила...

— Так сахару же нету у нас.

— Купи поди...

— Да и денег нету.

— Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в нос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей.— Вымой окошко, ничего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми,— полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены.— Работница... как начнет паклю щипать,— хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие,— уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся.— Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой, тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака,— Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

— Р-рвань!

— Сними,— сказал Ленька, вздыхая,— прогнали...

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай,— ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один черт — добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе,— испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю даже — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло,— листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся, да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфетку, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то — Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А — слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — вырастет!

— Ну да! — радостно вскричал он.— А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить,— если он — с лошадь, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них...

— Усы не помешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет — агромадный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же!

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внима-

тельно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи — бутылка водки.

— Вот она — я!

— Ло-овко,— вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза.— Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

— «Не ругайся»! Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты — счастливая... Слушай-ка,— обратился он ко мне,— это бог сделал поле?

— Наверное.

— А зачем?

— Чтобы гулять людям.

— Чистое поле!— сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая.— Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их,— гуляй, домашние! А — слушай-ка! — бога делают где — в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха,— опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

— О,— чтоб те... о господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то — богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

— Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

— Пускай смеется,— сказал я,— это тебе не обидно!

— Нет, не обидно,— согласился Ленька.— Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она все забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

— Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он — утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

— Ты — дурак?

— Не знаю. А что?

— Мамка говорит — дурак!

— Так ведь я — почему? — воскликнула женщина, нимало

не смущаясь.— Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а — сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у — какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые,— тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка.

— Ну, давайте чай пить,— предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром,— мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

— Вырасту большой,— говорил он,— сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

— Охо-хо,— вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась.— Раем видит поле-то, милый! А там — лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

— Врешь,— остановил ее Ленька, нахмурясь.— Спроси-ка его, какое оно, он видел.

— А я — не видала?

— Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

— Наелся, напился,— даже спать захотелось, ей-богу...

— И усни,— посоветовала мать.

— А он — уйдет! Ты уйдешь?

— Не бойсь, я его не пущу,— сказала женщина, толкнув меня коленом.

— Не уходи,— попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

— Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы,— а то валандаешься зря со всяким... только бьют... А он — добрый...

— Спи, знай,— тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

— Он — богатый...

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

— Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе — распутная! А — что ж? Мне стыдиться некого. К этому же — видите, как я снаружи испорчена. Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

— Да. Очень!

— Не налюбуюсь. Умница ведь?

— Мудрец.

— То-то! Отец у него — барин был, старичок; этот — как их зовут? Конторы у них,— ах ты! Бумаги пишут?

— Нотариус?

— Вот, он самый! Милый был старичок... Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

— Вдруг — помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол,— только и житья! Вы — квасом торгуете?

— Квасом.

— От себя?

— От хозяина.

Она подвинулась ко мне поближе, говоря:

— Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

— Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

— Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы...

— Надобно мне идти,— сказал я.

— Куда? — удивленно спросила она.

— Дело есть.

— Останьтесь!

— Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

— А то — останьтесь. Я рожу-то платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи,— так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее — детские глаза на безобразном лице — улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

— Мамка,— вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись,— ползут! Мамка же... иди-и...

— Приснилось,— сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился,— из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

1913

ЗНАХАРКА

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День — великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка: гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся как будто особенно упорно.

— Прохожий один сказывал,— сипит Мокеев,— дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик, тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен,— нехорошо, стало быть. У нас всё — по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего, благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князья-то, Голицыны-то, конешно — князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет — князи. Я и вначале внушал мужикам — бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков. Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поравнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной, лыковой корзиной — в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое, мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся, я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход,— не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.

— Куда?

— Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С той гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха — знахарка, известная всему уезду:

— Ты только не считай, что ведьма,— нет, это у ней от бога! Ее и в Пензю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу — замуж! И пошла ведь девица, пошла, братец мой. «Дураки,— говорит родителям ейным,— детей, говорит, родите, а — для чё, не знаете». А родители — пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру — она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать. А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальчонко-то, ей за то — двадцать пять рублев да шерстяное платье — получи!

— У нас она — первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни-те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она — все может. Она — бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя да как спросит, внезапу: «Ты чего думаешь?» Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий, старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу [1], бунтарю, приятелем был...

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник. Три года она бездетно прожила с ним, а на четвертый, весною, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей,— леса Сергача славились обилием этого зверя, и до семидесятых годов XIX века мужики «сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее, до плеча, сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку — короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько,— видал ты, как неладно она шеей владеет? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно,— сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки, и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татара али — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за зиму, весну штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-ароший барин...

Мокеев говорил, точно с горы ехал извилистой дорогой, и,

---

[1] В пятидесятых годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — мокши и ерзи,— населяющей Нижегородскую губернию.

вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки под глиняным рукомойником, сердито покрикивая:

— Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тея — сила,— обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

— Мне — семой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

— Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы, на чисто вымытом полу катались пушистые котята, аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках, блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста — некрасивое растение сырых мест,— корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите — сердятся мужики. Сказал бы ты Голицыным-то,— чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они, как мошки, вот и вся воля.

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые, белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха грызет сахар, чмокает, и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой, ворчливый голос.

— Сильна была. Меня, в те поры, только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только — нельзя: муж. Шутя я его и борола, а всерьез — нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы, и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые, седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь-зверь — богу служит, Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, все из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек — богу. Кереметь сказал: «Бей медведя, покуда я терплю, побьешь много — солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет». Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный, подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоем четвертая, или там седьмая, и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой. Это — судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...

— Вы в церковь ходите? — спросил я. Она как будто удивилась, отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверьков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдце, тут же, на столе, сунула им блюдечко,— этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это вот умные звери, они никому не верят,— сказала Иваниха.— И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через

пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу,— сказала Иваниха.— Ты почто остановился у Мокеева? Эта семья несчастливая. Ты вдругорядь у меня остановись. Я заезжих люблю.

И, провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Марь, ногу перевязала?

— Ой, матушка, неколи...

— Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала али фунт баранок, она баранки любит с анисом. Сначала — смеялись над ней, после — привыкли. А она ругалась. «Дураки»,— кричит. Это у нее первое дело, дураком ругать. «За лошадями, кричит, следите, за коровами следите, скот — жалеете, а девок не жалеете?» Это она, пожалуй, верно кричала. Парни — медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после бьет — не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой, влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух какая. Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал,— гонит и гонит. «Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого». Ему докладывают: «Да она хоть и баба, а страшнее лешего». Не верит. Дак она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все, как надо. Тут он испугался: «Ну те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, черта!» Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму, пьяного, волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край,— заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей, ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды...

...Месяца через три, в праздничный день, мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку, и поет днем, ночью: «Маменька, бежим, родная, бежим!»

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще,— она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя, русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Керемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выспрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю,— говорила она.

— А Кереметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так, сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее, и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь,— бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог — веру любит, Кереметь — правду,— говорила она.— Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в друж-

бе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее черту не даст. Ваш бог, Христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они Христа с Керемetью стравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола, и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: «Бог правду любит, да не скоро скажет» — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся,— живите без меня. Это плохо нам. Это черту — хорошо...

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжко вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я — на полатях, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шепот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидал, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесфор-

менной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее необыкновенный, глухой голос странно булькал, казалось — это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

— Ая-яй, Христос, ая-яй... Стыдно, Христос... Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, Христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются, зачем? Э-эх...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам икон, то прижимая к бедрам, или била ладонями по грудям. И все шептала, глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуже тебя разве? Э-э, плохо, Христос! Бог бога гонит — чему учит людей? Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человечий ты бог, нет! Трудно людям с тобой. Что делаешь? Иван — зачем помер молодой? Мишка,— одно дитя, такой светлый Мишка,— зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо. Кому служишь, Христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше — мне все равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит: ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет. Стыдно тебе, ох, не так надо. Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э,— Христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх ты, Христос...

Так она укоряла Христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека.

1923

ВОСПОМИНАНИЯ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп,

становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ,— вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности,— глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете,— когда я вижу учителя,— мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите,— целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте,— чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат,— у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький,— тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему,— хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова,— слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку,— сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите,— негромко и ласково спросил Чехов,— кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь,— продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь,— разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах,— кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — двадцать

рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству,— с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди,— черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника.

Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы,— разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно,— миром...

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется,— победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания,— чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей,— серьезно сказал Антон Павлович,— я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович,— вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник,— вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость,— искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям,— совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы,— сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь,— ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте.— Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек,— покашливая, соглашается Антон Павлович.— Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей,— убежденно посоветовал Антон Павлович.— Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю,— никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович.— Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю,— говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой.— Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется,— мол, тоже на земле живу! Вот видите,— могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды.— В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони,— об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств.

Актер, сыгравший сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И, когда он говорил так,— я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь гру-

бой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка»,— милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая,— паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно́ говорит

о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что́ им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит

об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал: «Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за сосуществование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя,— о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

«Страсти-мордасти»
Художник Б. Дехтерев
Акварель. 1947 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил да сады всё садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова,—
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя.— Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете,— напишу об учительнице, она атеистка,— обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку»,— косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь,— есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно,

с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей,— говорил он.— Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион....

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно,— уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся,— какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит все уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим,— убеждал он Сулержицкого,— Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душечкой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вле-

тали в кружево.— Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

1905, 1923

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

ЗАМЕТКИ

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце,— мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды,

потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновремено произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера,— склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел,— с досадой сказал Л. Н.— Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь,—что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людями? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людями, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение,— музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики,— наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

— Меньшинство нуждается в боге, потому что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет.

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души[1].

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво.— Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство,— он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты.

---

[1] Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы.

Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге,— о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon»[1]. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил...»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза,— сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

---

[1] По-своему *(франц.)*.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средние века,— бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет,—

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет,— ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать,— человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело,

как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову,— читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело,— все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно,— не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно,— под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно,— афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь,— тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

— Незаконченная мысль,— сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами.— Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то...— Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

— Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу,— значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас.

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший при-

плод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он.— Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть,

ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно,— у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правда ли — странно? Куются якорья, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского.

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво,— я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее,— если она не Кити и не На-

таша Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

— Пришли они,— оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны».— И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это — не от Священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова,— сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... «Толк-то есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По... Лопатой, а? По самой по... И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем не живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь,— очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» — всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом...

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням,— они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти — им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой,— взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна, с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится,— в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и — так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж,

конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе,— гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером»,— Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на все. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер — ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок,— оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и всё в этом роде, так он был пьяница,— «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно! Даже если вы и придумали,— очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать,— это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним— глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп,— а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве...— задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели...

и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают не свойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью

доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота,— ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один,— кажется, Петр Николаевич из Дюльбера,— все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода,— все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей,— безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татарином, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение,— точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренно чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и — не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту.

— Шумят, пишут, а — умру, и — через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось,— да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря: «Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

ПИСЬМО

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот,— еще не разъединенный мысленно с Вами,— вновь пишу.

Вероятно, все что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть даже резко и зло,— уж вы извините меня,— я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги,— мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек,— человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему,— но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным — и повторю — деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками»,— он все знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил

в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей... В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году,— какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни...

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит,— даже и в дневнике своем,— молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа —

для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие,— почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны,— он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина — не нужна», и — верно: на что ему истина! Все равно — умрет.

И, видимо заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать,— про что бы он ни думал,— он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего»,— засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так,— задумчиво ответил он,— пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас,— он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но — далее, по поводу Шестова:

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, льзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки,— пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли,— недоверчиво сказал Л. Н.— Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного... нет!

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там дальше? Совсем ты уничтожишь меня или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой,— с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И все оттого, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их,— и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского,— люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!»

Увы, это так, надолго — так! И не могло, и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка; ее можно понять как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду»,— жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно,— житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он,— безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это неважно. Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам Евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе,— упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что Евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «Войне и мире» он сам говорил: «Без ложной скромности —

это как «Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя,— один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого,— так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной,— я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел,— мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу,— лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза,— они видели все насквозь — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками,— между пальцев веют серебряные волосы бороды,— и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями,— накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вер-

шиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу,— никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте,— удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!»

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это — московско-русское, простое и задушевное, и вот еще русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...»

«В. И. Ленин»
Художник В. Серов
Гуашь. 1950 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ,— тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну,— баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал,— он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета,— зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если бы он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных,— все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти,— рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель,— вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли,— ничего,

не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи,— я не знаю, почему эти стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы,— он обратился к Чехову,— вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда,— восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах; он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду,— скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский чело-

век, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прияв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах,— в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет,— это было в Хамовниках,— усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно, и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно,— это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят — вы очень начитанный,— правда? Что, Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса,— он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали,— смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем,— представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики — настоящие мокроступы,— повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...—

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, этаким старым звероборм, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна,— коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей, на кур целит наших. Вот — вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону,— исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так удрал...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н.— Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий,

длиннобородый, худой, с огромными глазами,— надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропикам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Доде — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось,— и думаю, я не ошибаюсь,— Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, а не будь он врачом,— писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы.— Да,

да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку.— Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете — у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы. Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон — это хуже Костомарова, надо читать Момсена,— очень надоедный, но — солидно все.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною,— «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н.,— он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет,— говорил он,— это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов,— там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи,— историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Лев Николаевич!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью,— это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий стяжатель-строитель,— тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил,— ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина,— почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я,— как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, все ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и все кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие,— возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости осве-

щает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи — ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки,— в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь,— ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шепотом:

— Да, да,— ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много,— ах, боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так... стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет,— нужно писать все, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и — все улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу,— сказал он.— Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы,— проживете жизнь, а все останется, как было,— тогда и вы заплачете, да еще хуже меня,— «ручьистее», говорят бабы... А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет,— неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый,— среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа,— хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехо-

рошо,— это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно,— я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело,— это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка»,— ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н.— Нет, не все.

И неожиданно спросил меня,— точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Лев Николаевич.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую,— и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле,— непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек — богоподобен!»

1919

В. И. ЛЕНИН

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них,— нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет—трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти,— написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь, вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19—21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрель-

чатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился,— Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутора тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт[1].

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво; вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как

[1] На доброе здоровье *(нем.)*.

это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов,— говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя,— подумалось мне,— дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквита, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на все,— он только что вышел из тюрьмы,— видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера, или революция», по словам одной «гэнсом[1] леди», которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее,— у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в га-

[1] прекрасной *(англ.)*.

зетах, но и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но я там написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг,— это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Все пропало,— говорили они.— Все разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченый человек» и отрицаю значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров,— это я знал с 903 года,— а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же, как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка,— можно было

думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съеживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты,— пренебрежительно говорил он,— нет, вы не марксисты!—И толкал в воздух, направо, желтым кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрашивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, все-таки «боевым» тоном, он все так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направ-

ленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул:

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать, *как* говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развертывался сам собою — силою, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчики... в з-заговорчики играет! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат все более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выспрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого,— не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича

остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией, всегда в одном и том же маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса

рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой,— сказал Ильич.— Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме», как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат,— студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей

занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков: для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны, и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн»,— это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — такова, пока, его судьба. Но враги его — обессилят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его, присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но — как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех.— Вот не предполагал. Черт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала: «Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали: «Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика,— сказал он.— А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря,— сказал он.— Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте,— советовал Владимир Ильич.— Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех,— не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, весе-

лый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой,— невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии,— Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже все знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словцом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И всё — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбеж-

ность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем,— в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку,— Человеку — с большой буквы.

В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей,— еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабощают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников,— сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией — для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией,— иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907—1913, посильно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весною 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик

Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства; С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся» — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни не только не жалели

миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды,— уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет,— я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России,— в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок,— до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира,— роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор

«На дне»
Художник Д. Шмаринов
Уголь. 1932 г.
Музей А. М. Горького. Москва.

с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории,— фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в ру-

ках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным,— на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините,— возразил Ленин,— это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как оно пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм»,— он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделяли ее для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут порабощены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться системы мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекать, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского,

бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом,— не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он.— Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм,— скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами,— говорил он,— ведь многие изменяют, пре-

дательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Месть и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жаждой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу,— очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм,— сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ.— Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим,— кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию...

— Да, да — карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции,— самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева: «Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть,— обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они,— тут нужен искусный повар.— И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения.

Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

Старый знакомый мой, П. А. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке.

Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято, все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм,— должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VII. 1921 года:

А. М.!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас!

Ваш *Ленин.*

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то, где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского,— на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное Артиллерийское Управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то,— изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор? Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это,— хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех,

кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого,— Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля...

Эти слова: «С нами, а — не наш» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда. никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек,— сказал он мне шутливо,— в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории? Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых,— я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересовался пролетарской литературой:

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока,— по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм,— говорил он, прищуриваясь и похохатывая.— Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему,— не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи

легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу,— сказал он и нахмурился.— В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну,— издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего,— умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение,— значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

1924, 1930

ПЬЕСЫ

НА ДНЕ

Посвящаю
Константину Петровичу Пятницкому
М. Горький

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Михаил Иванов Костылев, 54 лет, содержатель ночлежки.
Василиса Карповна, его жена, 26 лет.
Наташа, ее сестра, 20 лет.
Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет.
Васька Пепел, 28 лет.
Клещ Андрей Митрич, слесарь, 40 лет.
Анна, его жена, 30 лет.
Настя, девица, 24 лет.
Квашня, торговка пельменями, под 40 лет.
Бубнов, картузник, 45 лет.
Барон, 33 лет.
Сатин, Актер } приблизительно одного возраста: лет под 40.
Лука, странник, 60 лет.
Алешка, сапожник, 20 лет.
Кривой Зоб, Татарин } крючники.
Несколько босяков без имен и рече

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет — от зрителя и, сверху вниз,— из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату — нары Бубнова. В левом углу — большая русская печь; в левой — каменной — стене — дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам — нары. На переднем плане у левой стены — обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит К л е щ, примеривая ключи к старым замкам. У ног его — две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки — большой стол, две скамьи, табурет, все — некрашеное и грязное. За столом, у самовара, К в а ш н я хозяйничает, Б а р о н жует черный хлеб и Н а с т я, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет А н н а. Б у б н о в, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него — изодранная картонка из-под шляпы — для козырьков, куски клеенки, тряпье. С а т и н только что проснулся, лежит на нарах и — рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет А к т е р.

Начало весны. Утро.

Б а р о н. Дальше!

К в а ш н я. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь. Я, говорю, это испытала... и теперь уж — ни за сто печеных раков — под венец не пойду!

Б у б н о в *(Сатину)*. Ты чего хрюкаешь?

Сатин рычит.

К в а ш н я. Чтобы я,— говорю,— свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала — нет! Да будь он хоть принц американский,— не подумаю замуж за него идти.

К л е щ. Врешь!

К в а ш н я. Чего-о?

К л е щ. Врешь! Обвенчаешься с Абрамкой...

Б а р о н *(выхватив у Насти книжку, читает название).* «Роковая любовь»... *(Хохочет.)*

Н а с т я *(протягивая руку).* Дай... отдай! Ну... не балуй!

Барон смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе.

К в а ш н я *(Клещу).* Козел ты рыжий! Туда же — врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Б а р о н *(ударяя книгой по голове Настю).* Дура ты, Настька...

Н а с т я *(отнимает книгу).* Дай...

К л е щ. Велика барыня!.. А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждешь...

К в а ш н я. Конечно! Еще бы... как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти...

К л е щ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...

К в а ш н я. А-а! Не терпишь правды!

Б а р о н. Началось! Настька — ты где?

Н а с т я *(не поднимая головы).* А?.. Уйди!

А н н а *(высовывая голову из-за полога).* Начался день! Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы!

К л е щ. Заныла!

А н н а. Каждый божий день... дайте хоть умереть спокойно!

Б у б н о в. Шум — смерти не помеха...

К в а ш н я *(подходя к Анне).* И как ты, мать моя, с таким злыднем жила?

А н н а. Оставь... отстань...

К в а ш н я. Ну-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

Б а р о н. Квашня! На базар пора...

К в а ш н я. Идем, сейчас! *(Анне.)* Хочешь, пельмешков горяченьких дам?

А н н а. Не надо... спасибо! Зачем мне есть?

К в а ш н я. А ты — поешь. Горячее — мягчит. Я тебе в чашку отложу и оставлю... захочешь когда, и покушай! Идем, барин... *(Клещу.)* У, нечистый дух... *(Уходит в кухню.)*

А н н а *(кашляя).* Господи...

Б а р о н *(тихонько толкает Настю в затылок).* Брось... дуреха!

Н а с т я *(бормочет).* Убирайся... я тебе не мешаю.

Барон, насвистывая, уходит за Квашней.

С а т и н *(приподнимаясь на нарах)*. Кто это бил меня вчера?

Б у б н о в. А тебе не все равно?..

С а т и н. Положим, так... А за что били?

Б у б н о в. В карты играл?

С а т и н. Играл...

Б у б н о в. За это и били...

С а т и н. М-мерзавцы...

А к т е р *(высовывая голову с печи)*. Однажды тебя совсем убьют... до смерти...

С а т и н. А ты — болван.

А к т е р. Почему?

С а т и н. Потому что — дважды убить нельзя.

А к т е р *(помолчав)*. Не понимаю... почему — нельзя?

К л е щ. А ты слезай с печи-то да убирай квартиру... чего нежишься?

А к т е р. Это дело не твое...

К л е щ. А вот Василиса придет — она тебе покажет, чье дело...

А к т е р. К черту Василису! Сегодня баронова очередь убираться... Барон!

Б а р о н *(выходя из кухни)*. Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней.

А к т е р. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать...

Б а р о н. Ну, черт с тобой! Настёнка подметет... Эй, ты, роковая любовь! Очнись! *(Отнимает книгу у Насти.)*

Н а с т я *(вставая)*. Что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! А еще — барин...

Б а р о н *(отдавая книгу)*. Настя! Подмети пол за меня — ладно?

Н а с т я *(уходя в кухню)*. Очень нужно... как же!

К в а ш н я *(в двери из кухни — Барону)*. А ты — иди! Уберутся без тебя... Актер! тебя просят,— ты и сделай... не переломишься, чай!

А к т е р. Ну... всегда я... не понимаю...

Б а р о н *(выносит из кухни на коромысле корзины. В них — корчаги, покрытые тряпками)*. Сегодня что-то тяжело...

С а т и н. Стоило тебе родиться бароном...

К в а ш н я *(Актеру)*. Ты смотри же,— подмети! *(Выходит в сени, пропустив вперед себя Барона.)*

А к т е р *(слезая с печи)*. Мне вредно дышать пылью. *(С гордостью.)* Мой организм отравлен алкоголем... *(Задумывается, сидя на нарах.)*

С а т и н. Организм... органон...

А н н а. Андрей Митрич...

К л е щ. Что еще?

А н н а. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми поешь.

К л е щ *(подходя к ней)*. А ты — не будешь?

А н н а. Не хочу... На что мне есть? Ты — работник... тебе — надо...

К л е щ. Боишься? Не бойся... может, еще...

А н н а. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж...

К л е щ *(отходя)*. Ничего... может — встанешь... бывает! *(Уходит в кухню.)*

А к т е р *(громко, как бы вдруг проснувшись)*. Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм — совершенно отравлен алкоголем...

С а т и н *(улыбаясь)*. Органон...

А к т е р *(настойчиво)*. Не органон, а ор-га-ни-зм...

С а т и н. Сикамбр...

А к т е р *(машет на него рукой)*. Э, вздор! Я говорю — серьезно... да. Если организм — отравлен... значит,— мне вредно мести пол... дышать пылью...

С а т и н. Макробиотика... ха!

Б у б н о в. Ты чего бормочешь?

С а т и н. Слова... А то еще есть — транс-сцедентальный...

Б у б н о в. Это что?

С а т и н. Не знаю... забыл...

Б у б н о в. А к чему говоришь?

С а т и н. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

А к т е р. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

К л е щ *(выходя из кухни)*. Ты с метлой играть скоро будешь?

А к т е р. Не твое дело... *(Ударяет себя в грудь рукой.)* «Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!..»

За сценой, где-то далеко,— глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за работу и скрипит подпилком.

С а т и н. Люблю непонятные, редкие слова... Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал книг...

Б у б н о в. А ты был и телеграфистом?

С а т и н. Был... *(Усмехаясь.)* Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... Я был образованным человеком... знаешь?

Б у б н о в. Слыхал... сто раз! Ну и был... эка важность!.. Я вот — скорняк был... свое заведение имел... Руки у меня были такие желтые — от краски: меха подкрашивал я,— такие, брат, руки были желтые — по локоть! Я уж думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, руки... просто грязные... да!

С а т и н. Ну и что же?

Б у б н о в. И больше ничего...

С а т и н. Ты это к чему?

Б у б н о в. Так... для соображения... Выходит — снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется... все сотрется, да!

С а т и н. А... кости у меня болят!

А к т е р *(сидит, обняв руками колени)*. Образование — чепуха, главное — талант. Я знал артиста... он читал роли по складам, но мог играть героев так, что... театр трещал и шатался от восторга публики...

С а т и н. Бубнов, дай пятачок!

Б у б н о в. У меня всего две копейки...

А к т е р. Я говорю — талант, вот что нужно герою. А талант — это вера в себя, в свою силу...

С а т и н. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав... Клещ, дай пятак!

К л е щ. Пошел к черту! Много вас тут...

С а т и н. Чего ты ругаешься? Ведь у тебя нет ни гроша, я знаю...

А н н а. Андрей Митрич... Душно мне... трудно...

К л е щ. Что же я сделаю?

Б у б н о в. Дверь в сени отвори...

К л е щ. Ладно! Ты сидишь на нарах, а я — на полу... пусти меня на свое место, да и отворяй... а я и без того простужен...

Б у б н о в *(спокойно)*. Мне отворять не надо... твоя жена просит...

К л е щ *(угрюмо)*. Мало ли кто чего попросил бы...

С а т и н. Гудит у меня голова... эх! И зачем люди бьют друг друга по башкам?

Б у б н о в. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. *(Встает.)* Пойти, ниток купить... А хозяев наших чего-то долго не видать сегодня... словно издохли. *(Уходит.)*

Анна кашляет. Сатин, закинув руки под голову, лежит неподвижно.

А к т е р *(тоскливо осмотревшись вокруг, подходит к Анне)*. Что? Плохо?

А н н а. Душно.

А к т е р. Хочешь — в сени выведу? Ну, вставай. *(Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлядь и, поддерживая, ведет в сени.)* Ну-ну... твердо! Я — сам больной... отравлен алкоголем...

К о с т ы л е в *(в дверях)*. На прогулку? Ах, и хороша парочка, баран да ярочка...

А к т е р. А ты — посторонись... видишь — больные идут?..

К о с т ы л е в. Проходи, изволь... *(Напевая под нос что-то божественное, подозрительно осматривает ночлежку и склоняет голову налево, как бы прислушиваясь к чему-то в комнате Пепла.)*

Клещ ожесточенно звякает ключами и скрипит подпилком, исподлобья следя за хозяином.

Скрипишь?

К л е щ. Чего?

К о с т ы л е в. Скрипишь, говорю?

Пауза.

А-а... того... что бишь я хотел спросить? *(Быстро и негромко.)* Жена не была здесь?

К л е щ. Не видал...

К о с т ы л е в *(осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла)*. Сколько ты у меня за два-то рубля в месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет накинуть на тебя полтинничек...

К л е щ. Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а все о полтинниках думаешь...

К о с т ы л е в. Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое удовольствие... А я на тебя полтинку накину,— маслица в лампаду куплю... и будет перед святой иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот... Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для всех...

К л е щ *(кричит)*. Ты что меня... травить пришел?

Сатин громко рычит.

К о с т ы л е в *(вздрогнув)*. Эк ты, батюшка...

А к т е р *(входит)*. Усадил бабу в сенях, закутал...

К о с т ы л е в. Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтется все тебе...

А к т е р. Когда?

К о с т ы л е в. На том свете, братик... там все, всякое деяние наше усчитывают...

Актер. А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...

Костылев. Это как же я могу?

Актер. Скости половину долга...

Костылев. Хе-хе! Ты все шутишь, милачок, все играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта — она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...

Актер. Шельма ты, старец... *(Уходит в кухню.)*

Клещ встает и уходит в сени.

Костылев *(Сатину)*. Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...

Сатин. Кто тебя — кроме черта — любит...

Костылев *(посмеиваясь)*. Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя несчастная, никудышная, пропащая... *(Вдруг, быстро.)* А... Васька — дома?

Сатин. Погляди...

Костылев *(подходит к двери и стучит)*. Вася!

Актер появляется в двери из кухни. Он что-то жует.

Пепел. Кто это?

Костылев. Это я... я, Вася.

Пепел. Что надо?

Костылев *(отодвигаясь)*. Отвори...

Сатин *(не глядя на Костылева)*. Он отворит, а она — там...

Актер фыркает.

Костылев *(беспокойно, негромко)*. А? Кто — там? Ты... что?

Сатин. Чего? Ты — мне говоришь?

Костылев. Ты что сказал?

Сатин. Это я так... про себя...

Костылев. Смотри, брат! Шути в меру... да! *(Сильно стучит в дверь.)* Василий!..

Пепел *(отворяя дверь)*. Ну? Чего беспокоишь?

Костылев *(заглядывая в комнату)*. Я... видишь — ты...

Пепел. Деньги принес?

Костылев. Дело у меня к тебе...

Пепел. Деньги — принес?

Костылев. Какие? Погоди...

Пепел. Деньги, семь рублей, за часы — ну?

Костылев. Какие часы, Вася?.. Ах, ты...

Пепел. Ну, ты гляди! Вчера, при свидетелях, я тебе продал часы за десять рублей... три — получил, семь — подай! Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей... а дела своего не знает...

Костылев. Ш-ш! Не сердись, Вася... Часы,— они...

Сатин. Краденые...

Костылев *(строго)*. Я краденого не принимаю... как ты можешь...

Пепел *(берет его за плечо)*. Ты — зачем меня встревожил? Чего тебе надо?

Костылев. Да... мне — ничего... я уйду... если ты такой...

Пепел. Ступай, принеси деньги!

Костылев *(уходит.)* Экие грубые люди! Ай-яй...

Актер. Комедия!

Сатин. Хорошо! Это я люблю...

Пепел. Чего он тут?

Сатин *(смеясь)*. Не понимаешь? Жену ищет... и чего ты не пришибешь его, Василий?!

Пепел. Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить...

Сатин. А ты — умненько. Потом — женись на Василисе... хозяином нашим будешь...

Пепел. Велика радость! Вы не токмо все мое хозяйство, а и меня, по доброте моей, в кабаке пропьете... *(Садится на нары.)* Старый черт... разбудил... А я — сон хороший видел: будто ловлю я рыбу, и попал мне — огромаднейший лещ! Такой лещ,— только во сне эдакие и бывают... И вот я его вожу на удочке и боюсь,— лёса оборвется! И приготовил сачок... вот, думаю, сейчас...

Сатин. Это не лещ, а Василиса была...

Актер. Василису он давно поймал...

Пепел *(сердито)*. Подите вы к чертям... да и с ней вместе!

Клещ *(входит из сеней)*. Холодище... собачий...

Актер. Ты что же Анну не привел? Замерзнет...

Клещ. Ее Наташка в кухню увела к себе...

Актер. Старик — выгонит...

Клещ *(садясь работать)*. Ну... Наташка приведет...

Сатин. Василий! Дай пятак...

Актер *(Сатину)*. Эх ты... пятак! Вася! Дай нам двугривенный...

Пепел. Надо скорее дать... пока рубля не просите... на!

Сатин. Гиблартарр! Нет на свете людей лучше воров!

Клещ *(угрюмо)*. Им легко деньги достаются... Они — не работают...

С а т и н. Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются... Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна — я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство! *(Актеру.)* Ты, Сарданапал! Идем...

А к т е р. Идем, Навухудоносор! Напьюсь — как... сорок тысяч пьяниц...

Уходят.

П е п е л *(зевая)*. Что, как жена твоя?

К л е щ. Видно, скоро уж...

Пауза.

П е п е л. Смотрю я на тебя,— зря ты скрипишь.

К л е щ. А что делать?

П е п е л. Ничего...

К л е щ. А как есть буду?

П е п е л. Живут же люди...

К л е щ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю... Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот, погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а все равно как шесть лет...

П е п е л. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь...

К л е щ. Не хуже! Живут без чести, без совести...

П е п е л *(равнодушно)*. А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести... Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...

Б у б н о в *(входит)*. У-у... озяб!

П е п е л. Бубнов! У тебя совесть есть?

Б у б н о в. Чего-о? Совесть?

П е п е л. Ну да!

Б у б н о в. На что совесть? Я — не богатый...

П е п е л. Вот и я то же говорю: честь-совесть богатым нужна, да! А Клещ ругает нас: нет, говорит, у нас совести...

Б у б н о в. А он что — занять хотел?

П е п е л. У него — своей много...

Б у б н о в. Значит, продает? Ну, здесь этого никто не купит. Вот картонки ломаные я бы купил... да и то в долг...

П е п е л *(поучительно)*. Дурак ты, Андрюшка! Ты бы, насчет совести, Сатина послушал... а то — Барона...

К л е щ. Не о чем мне с ними говорить...

П е п е л. Они — поумнее тебя будут... хоть и пьяницы...

Б у б н о в. А кто пьян да умен — два угодья в нем...

П е п е л. Сатин говорит: всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее. И это — верно...

Н а т а ш а входит. За нею — Л у к а с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса.

Л у к а. Доброго здоровья, народ честной!

П е п е л *(приглаживая усы)*. А-а, Наташа!

Б у б н о в *(Луке)*. Был честной, да позапрошлой весной...

Н а т а ш а. Вот — новый постоялец...

Л у к а. Мне — все равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха — не плоха: все — черненькие, все — прыгают... так-то. Где тут, милая, приспособиться мне?

Н а т а ш а *(указывая на дверь в кухню)*. Туда, иди, дедушка...

Л у к а. Спасибо, девушка! Туда так туда... Старику — где тепло, там и родина...

П е п е л. Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа...

Н а т а ш а. Поинтереснее вас... Андрей! Жена твоя в кухне у нас... ты, погодя, приди за ней.

К л е щ. Ладно... приду...

Н а т а ш а. Ты бы, чай, теперь поласковее с ней обращался... ведь уж недолго...

К л е щ. Знаю...

Н а т а ш а. Знаешь... Мало знать, ты — понимай. Ведь умирать-то страшно...

П е п е л. А я вот — не боюсь...

Н а т а ш а. Как же!.. Храбрость...

Б у б н о в *(свистнув)*. А нитки-то гнилые...

П е п е л. Право, не боюсь! Хоть сейчас — смерть приму! Возьмите вы нож, ударьте против сердца... умру — не охну! Даже — с радостью, потому что — от чистой руки...

Н а т а ш а *(уходит)*. Ну, вы другим уж зубы-то заговаривайте.

Б у б н о в *(протяжно)*. А ниточки-то гнилые...

Н а т а ш а *(у двери в сени)*. Не забудь, Андрей, про жену...

К л е щ. Ладно...

П е п е л. Славная девка!

Б у б н о в. Девица — ничего...

П е п е л. Чего она со мной... так? Отвергает... Все равно ведь — пропадет здесь...

Б у б н о в. Через тебя пропадет...

П е п е л. Зачем — через меня? Я ее — жалею...

Б у б н о в. Как волк овцу...

П е п е л. Врешь ты! Я очень... жалею ее... Плохо ей тут жить... я вижу...

К л е щ. Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней...

Б у б н о в. Василиса? Н-да, она своего даром не отдаст... баба — лютая...

П е п е л *(ложится на нары)*. Подите вы к чертям оба... пророки!

К л е щ. Увидишь... погоди!..

Л у к а *(в кухне, напевает)*. Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...

К л е щ *(уходя в сени)*. Ишь воет... тоже...

П е п е л. А скушно... чего это скушно мне бывает? Живешь-живешь — все хорошо! И вдруг — точно озябнешь: сделается скушно...

Б у б н о в. Скушно? М-м...

П е п е л. Ей-ей!

Л у к а *(поет)*. Эх, и не вида-ать пути-и...

П е п е л. Старик! Эй!

Л у к а *(выглядывая из двери)*. Это я?

П е п е л. Ты. Не пой.

Л у к а *(выходит)*. Не любишь?

П е п е л. Когда хорошо поют — люблю...

Л у к а. А я, значит, не хорошо?

П е п е л. Стало быть...

Л у к а. Ишь ты! А я думал — хорошо пою. Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя — хорошо я делаю! Хвать — а люди недовольны...

П е п е л *(смеясь)*. Вот! Верно...

Б у б н о в. Говоришь — скушно, а сам хохочешь.

П е п е л. А тебе что? Ворон...

Л у к а. Это кому — скушно?

П е п е л. Мне вот...

Б а р о н входит.

Л у к а. Ишь ты! А там, в кухне, девица сидит, книгу читает и — плачет! Право! Слезы текут... Я ей говорю: милая, ты чего это, а? А она — жалко! Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке... Вот чем человек занимается, а? Тоже, видно, со скуки...

Б а р о н. Это — дура...

П е п е л. Барон! Чай пил?

Б а р о н. Пил... дальше!

Пепел. Хочешь — полбутылки поставлю?

Барон. Разумеется... дальше!

Пепел. Становись на четвереньки, лай собакой!

Барон. Дурак! Ты что — купец? Или — пьян?

Пепел. Ну, полай! Мне забавно будет... Ты барин... было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал... и все такое...

Барон. Ну, дальше!

Пепел. Чего же? А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой — ты и будешь... ведь будешь?

Барон. Ну, буду! Болван! Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровня тебе...

Бубнов. Верно!

Лука. И я скажу — хорошо!..

Бубнов. Что было — было, а остались — одни пустяки... Здесь господ нету... все слиняло, один голый человек остался...

Лука. Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?

Барон. Это что еще? Ты кто, кикимора?

Лука *(смеется)*. Графа видал я и князя видал... а барона — первый раз встречаю, да и то испорченного...

Пепел *(хохочет)*. Барон! А ты меня сконфузил...

Барон. Пора быть умнее, Василий...

Лука. Эхе-хе! Погляжу я на вас, братцы,— житье ваше — о-ой!..

Бубнов. Такое житье, что как поутру встал, так и за вытье...

Барон. Жили и лучше... да! Я... бывало... проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью... кофе! — со сливками... да!

Лука. А всё — люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь... И всё, гляжу я, умнее люди становятся, всё занятнее... и хоть живут — всё хуже, а хотят — всё лучше... упрямые!

Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты явился?

Лука. Я-то?

Барон. Странник?

Лука. Все мы на земле странники... Говорят,— слыхал я,— что и земля-то наша в небе странница.

Барон *(строго)*. Это так, ну, а — паспорт имеешь?

Лука *(не сразу)*. А ты кто,— сыщик?

Пепел *(радостно)*. Ловко, старик! Что, Бароша, и тебе попало?

Бубнов. Н-да, получил барин...

Б а р о н *(сконфуженный)*. Ну, чего там? Я ведь... шучу, старик! У меня, брат, у самого бумаг нет...

Б у б н о в. Врешь!

Б а р о н. То есть... я имею бумаги... но — они никуда не годятся.

Л у к а. Они, бумажки-то, все такие... все никуда не годятся.

П е п е л. Барон! Идем в трактир...

Б а р о н. Готов! Ну, прощай, старик... шельма ты!

Л у к а. Всяко бывает, милый...

П е п е л *(у двери в сени)*. Ну, идем, что ли! *(Уходит.)*

Барон быстро идет за ним.

Л у к а. В самом деле, человек-то бароном был?

Б у б н о в. Кто его знает? Барин, это верно... Он и теперь — нет-нет да вдруг и покажет барина из себя. Не отвык, видно, еще.

Л у к а. Оно, пожалуй, барство-то — как оспа... и выздоровеет человек, а знаки-то остаются...

Б у б н о в. Он ничего все-таки... Только так иногда брыкнется... вроде как насчет твоего паспорта...

А л е ш к а *(входит выпивши, с гармонией в руках. Свистит)*. Эй, жители!

Б у б н о в. Чего орешь?

А л е ш к а. Извините... простите! Я человек вежливый...

Б у б н о в. Опять загулял?

А л е ш к а. Сколько угодно! Сейчас из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит: чтобы, говорит, на улице тобой и не пахло... ни-ни! Я — человек с характером... А хозяин на меня фыркает... А что такое — хозяин? Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то... А я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу.

Н а с т я выходит из кухни.

Давай мне миллион — н-не хочу! И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница,— не желаю! Не хочу!

Настя, стоя у двери, качает головой, глядя на Алешку.

Л у к а *(добродушно)*. Эх, парень, запутался ты...

Б у б н о в. Дурость человеческая...

А л е ш к а *(ложится на пол)*. На, ешь меня! А я — ничего не хочу! Я — отчаянный человек! Объясните мне — кого я хуже? Почему я хуже прочих? Вот! Медякин говорит: на улицу не ходи — морду побью! А я — пойду... пойду лягу середь улицы — дави меня! Я — ничего не желаю!..

Н а с т я. Несчастный!.. молоденький еще, а уж... так ломается...

А л е ш к а *(увидав ее, встает на колени)*. Барышня! Мамзель! Парле франсе... прейскурант! Загулял я...

Н а с т я *(громко шепчет)*. Василиса!

В а с и л и с а *(быстро отворяя дверь, Алешке)*. Ты опять здесь?

А л е ш к а. Здравствуйте... пожалуйте...

В а с и л и с а. Я тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего не было здесь... а ты опять пришел?

А л е ш к а. Василиса Карповна... хошь я тебе... похоронный марш сыграю?

В а с и л и с а *(толкает его в плечо)*. Вон!

А л е ш к а *(подвигаясь к двери)*. Постой... так нельзя! Похоронный марш... недавно выучил! Свежая музыка... погоди! так нельзя!

В а с и л и с а. Я тебе покажу — нельзя... я всю улицу натравлю на тебя... язычник ты проклятый... молод ты лаять про меня...

А л е ш к а *(выбегая)*. Ну, я уйду...

В а с и л и с а *(Бубнову)*. Чтобы ноги его здесь не было! Слышишь?

Б у б н о в. Я тут не сторож тебе...

В а с и л и с а. А мне дела нет, кто ты таков! Из милости живешь — не забудь! Сколько должен мне?

Б у б н о в *(спокойно)*. Не считал...

В а с и л и с а. Смотри — я посчитаю!

А л е ш к а *(отворив дверь, кричит)*. Василиса Карповна! А я тебя не боюсь... н-не боюсь! *(Прячется.)*

Лука смеется.

В а с и л и с а. Ты кто такой?..

Л у к а. Проходящий... странствующий...

В а с и л и с а. Ночуешь или жить?

Л у к а. Погляжу там...

В а с и л и с а. Пачпорт!

Л у к а. Можно...

В а с и л и с а. Давай!

Л у к а. Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его...

В а с и л и с а. Прохожий... тоже! Говорил бы — проходимец... всё ближе к правде-то...

Л у к а *(вздохнув)*. Ах, и неласкова ты, мать...

Василиса идет к двери в комнату Пепла.

А л е ш к а *(выглядывая из кухни, шепчет)*. Ушла? а?

В а с и л и с а *(оборачивается к нему)*. Ты еще здесь?

Алешка, скрываясь, свистит. Настя и Лука смеются.

Б у б н о в *(Василисе)*. Нет его...

В а с и л и с а. Кого?

Б у б н о в. Васьки...

В а с и л и с а. Я тебя спрашивала про него?

Б у б н о в. Вижу я... заглядываешь ты везде...

В а с и л и с а. Я за порядком гляжу — понял? Это почему у вас до сей поры не метено? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было?

Б у б н о в. Актеру мести...

В а с и л и с а. Мне дела нет — кому! А вот если санитары придут да штраф наложат, я тогда... всех вас — вон!

Б у б н о в *(спокойно)*. А чем жить будешь?

В а с и л и с а. Чтобы соринки не было! *(Идет в кухню. Насте.)* Ты чего тут торчишь? Что рожа-то вспухла? Чего стоишь пнем? Мети пол! Наталью... видела? Была она тут?

Н а с т я. Не знаю... не видела...

В а с и л и с а. Бубнов! Сестра была здесь?

Б у б н о в. А... вот его привела она...

В а с и л и с а. Этот... дома был?

Б у б н о в. Василий? Был... С Клещом она тут говорила, Наталья-то...

В а с и л и с а. Я тебя не спрашиваю — с кем! Грязь везде... грязища! Эх вы... свиньи! Чтобы было чисто... слышите! *(Быстро уходит.)*

Б у б н о в. Сколько в ней зверства, в бабе этой!

Л у к а. Сурьезная бабочка...

Н а с т я. Озвереешь в такой жизни... Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее...

Б у б н о в. Ну, она не очень крепко привязана...

Л у к а. Всегда она так... разрывается?

Б у б н о в. Всегда... К любовнику, видишь, пришла, а его нет...

Л у к а. Обидно, значит, стало. Охо-хо! Сколько это разного народа на земле распоряжается... и всякими страхами друг дружку стращает, а все порядка нет в жизни... и чистоты нет...

Б у б н о в. Все хотят порядка, да разума нехватка. Однако же надо подмести... Настя!.. Ты бы занялась...

Н а с т я. Ну да, как же! Горничная я вам тут... *(Помолчав.)* Напьюсь вот я сегодня... так напьюсь!

Б у б н о в. И то — дело...

Л у к а. С чего же это ты, девица, пить хочешь? Давеча ты плакала, теперь вот говоришь — напьюсь!

Н а с т я *(вызывающе)*. А напьюсь — опять плакать буду... вот и все!

Б у б н о в. Не много...

Л у к а. Да от какой причины, скажи? Ведь так, без причины, и прыщ не вскочит...

Настя молчит, качая головой.

Так... Эхе-хе... господа люди! И что с вами будет?.. Ну-ка хоть я помету здесь. Где у вас метла?

Б у б н о в. За дверью, в сенях...

Лука идет в сени.

Настёнка!

Н а с т я. А?

Б у б н о в. Чего Василиса на Алешку бросилась?

Н а с т я. Он про нее говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить ее хочет... а Наташу взять себе... Уйду я отсюда... на другую квартиру.

Б у б н о в. Чего? Куда?

Н а с т я. Надоело мне... Лишняя я здесь...

Б у б н о в *(спокойно)*. Ты везде лишняя... да и все люди на земле — лишние...

Настя качает головой. Встает, тихо уходит в сени.
М е д в е д е в входит. За ним — Л у к а с метлой.

М е д в е д е в. Как будто я тебя не знаю...

Л у к а. А остальных людей — всех знаешь?

М е д в е д е в. В своем участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю...

Л у к а. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоем участке поместилась... осталось маленько и опричь его... *(Уходит в кухню.)*

М е д в е д е в *(подходя к Бубнову)*. Правильно, участок у меня невелик... хоть хуже всякого большого... Сейчас, перед тем как с дежурства смениться, сапожника Алешку в часть отвез... Лег, понимаешь, среди улицы, играет на гармонии и орет: ничего не хочу, ничего не желаю! Лошади тут ездят и вообще — движение... могут раздавить колесами и прочее... Буйный парнишка... Ну, сейчас я его и... представил. Очень любит беспорядок...

Б у б н о в. Вечером в шашки играть придешь?

М е д в е д е в. Приду. М-да... А что... Васька?

Б у б н о в. Ничего... все так же...

М е д в е д е в. Значит... живет?

Б у б н о в. Что ему не жить? Ему можно жить...

М е д в е д е в *(сомневаясь)*. Можно?

Лука выходит в сени с ведром в руке.

М-да... тут — разговор идет... насчет Васьки... ты не слыхал?

Б у б н о в. Я разные разговоры слышу...

М е д в е д е в. Насчет Василисы, будто... не замечал?

Б у б н о в. Чего?

М е д в е д е в. Так... вообще... Ты, может, знаешь, да врешь? Ведь все знают... *(Строго.)* Врать нельзя, брат...

Б у б н о в. Зачем мне врать!

М е д в е д е в. То-то! Ах, псы! Разговаривают: Васька с Василисой... дескать... а мне что? Я ей не отец, я — дядя... Зачем надо мной смеяться?..

Входит К в а ш н я.

Какой народ стал... надо всем смеется... А-а! Ты... пришла...

К в а ш н я. Разлюбезный мой гарнизон! Бубнов! Он опять на базаре приставал ко мне, чтобы венчаться...

Б у б н о в. Валяй... чего же? У него деньги есть, и кавалер он еще крепкий...

М е д в е д е в. Я-то? Хо-хо!

К в а ш н я. Ах ты, серый! Нет, ты меня за это мое, за больное место не тронь! Это, миленький, со мной было... замуж бабе выйти — все равно как зимой в прорубь прыгнуть: один раз сделала,— на всю жизнь памятно...

М е д в е д е в. Ты — погоди... мужья — они разные бывают.

К в а ш н я. Да я-то все одинакова! Как издох мой милый муженек,— ни дна бы ему ни покрышки,— так я целый день от радости одна просидела: сижу и все не верю счастью своему...

М е д в е д е в. Ежели тебя муж бил... зря — надо было в полицию жаловаться...

К в а ш н я. Я богу жаловалась восемь лет,— не помогал!

М е д в е д е в. Теперь запрещено жен бить... теперь во всем — строгость и закон-порядок! Никого нельзя зря бить... бьют — для порядку...

Л у к а *(вводит Анну)*. Ну вот и доползли... эх ты! И разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твое место?

А н н а *(указывая)*. Спасибо, дедушка...

К в а ш н я. Вот она — замужняя... глядите!

Л у к а. Бабочка совсем слабого состава... Идет по сеням, цепляется за стенки и — стонает... Пошто вы ее одну пущаете?

К в а ш н я. Не доглядели, простите, батюшка! А горничная ейная, видно, гулять ушла...

Л у к а. Ты вот — смеешься... а разве можно человека эдак бросать? Он — каков ни есть — а всегда своей цены стоит...

М е д в е д е в. Надзор нужен! Вдруг — умрет? Канитель будет из этого... Следить надо!

Л у к а. Верно, господин ундер...

М е д в е д е в. М-да... хоть я... еще не совсем ундер...

Л у к а. Н-ну? А видимость — самая геройская!

В сенях шум и топот. Доносятся глухие крики.

М е д в е д е в. Никак — скандал?

Б у б н о в. Похоже...

К в а ш н я. Пойти поглядеть...

М е д в е д е в. И мне надо идти... Эх, служба! И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы... ведь устаешь драться... Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет... стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше...

Б у б н о в *(слезая с нар)*. Ты начальству поговори насчет этого...

К о с т ы л е в *(распахивая дверь, кричит)*. Абрам! Иди... Василиса Наташку... убивает... иди!

Квашня, Медведев, Бубнов бросаются в сени. Лука, качая головой, смотрит вслед им.

А н н а. О господи... Наташенька бедная!

Л у к а. Кто дерется там?

А н н а. Хозяйки... сестры...

Л у к а *(подходя к Анне)*. Чего делят?

А н н а. Так они... сытые обе... здоровые...

Л у к а. Тебя как звать-то?

А н н а. Анной... Гляжу я на тебя... на отца ты похож моего... на батюшку... такой же ласковый... мягкий...

Л у к а. Мяли много, оттого и мягок... *(Смеется дребезжащим смехом.)*

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же обстановка.

Вечер. На нарах около печи С а т и н, Б а р о н, К р и в о й З о б и Т а т а р и н играют в карты. К л е щ и А к т е р наблюдают за игрой. Б у б н о в на своих нарах играет в шашки с М е д в е д е в ы м. Л у к а сидит на табурете у постели А н н ы. Ночлежка освещена двумя лампами: одна висит на стене около играющих в карты, другая — на нарах Бубнова.

Татарин. Еще раз играю,— больше не играю...

Бубнов. Зоб! Пой! *(Запевает.)*

Солнце всходит и заходит...

Кривой Зоб *(подхватывает голос).*

А в тюрьме моей темно...

Татарин *(Сатину).* Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы, какой-такой ты...

Бубнов и Кривой Зоб *(вместе).*

Дни и ночи часовые — э-эх!
Стерегут мое окно...

Анна. Побои... обиды... ничего кроме — не видела я... ничего не видела!

Лука. Эх, бабочка! Не тоскуй!

Медведев. Куда ходишь! Гляди!..

Бубнов. А-а! Так, так, так...

Татарин *(грозя Сатину кулаком).* Зачем карта прятать хочешь? Я вижу... э, ты!

Кривой Зоб. Брось, Асан! Все равно — они нас объегорят... Бубнов, заводи!

Анна. Не помню — когда я сыта была... Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала... Мучилась... как бы больше другого не съесть... Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь... За что?

Лука. Эх ты, детынька! Устала? Ничего!

Актер *(Кривому Зобу).* Валетом ходи... валетом, черт!

Барон. А у нас — король.

Клещ. Они всегда побьют.

Сатин. Такая у нас привычка...

Медведев. Дамка!

Бубнов. И у меня... н-ну...

Анна. Помираю, вот...

Клещ. Ишь, ишь как! Князь, бросай игру! Бросай, говорю!

Актер. Он без тебя не понимает?

Барон. Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям!

Татарин. Сдавай еще раз! Кувшин ходил за вода, разбивал себя... и я тоже!

Клещ, качая головой, отходит к Бубнову.

Анна. Все думаю я: господи! Неужто и на том свете му́ка мне назначена? Неужто и там?

Л у к а. Ничего не будет! Лежи, знай! Ничего! Отдохнешь там!.. Потерпи еще! Все, милая, терпят... всяк по-своему жизнь терпит... *(Встает и уходит в кухню быстрыми шагами.)*

Б у б н о в *(запевает)*.

Как хотите, стерегите...

К р и в о й З о б.

Я и так не убегу...

В два голоса.

Мне и хочется на волю... эх!
Цепь порвать я не могу...

Т а т а р и н *(кричит)*. А! Карта рукав совал!

Б а р о н *(конфузясь)*. Ну... что же мне — в нос твой сунуть?

А к т е р *(убедительно)*. Князь! Ты ошибся... никто, никогда...

Т а т а р и н. Я видел! Жулик! Не буду играть!

С а т и н *(собирая карты)*. Ты, Асан, отвяжись... Что мы — жулики, тебе известно. Стало быть, зачем играл?

Б а р о н. Проиграл два двугривенных, а шум делаешь на трешницу... еще князь!

Т а т а р и н *(горячо)*. Надо играть честна!

С а т и н. Это зачем же?

Т а т а р и н. Как зачем?

С а т и н. А так... Зачем?

Т а т а р и н. Ты не знаешь?

С а т и н. Не знаю. А ты — знаешь?

Татарин плюет, озлобленный. Все хохочут над ним.

К р и в о й З о б *(благодушно)*. Чудак ты, Асан! Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут...

Т а т а р и н. А мне какое дело! Надо честно жить!

К р и в о й З о б. Заладил! Идем чай пить лучше... Бубен!

И-эх вы, цепи, мои цепи...

Б у б н о в.

Да вы железны сторожа...

К р и в о й З о б. Идем, Асанка! *(Уходит, напевая.)*

Не порвать мне, не разбить вас...

Татарин грозит Барону кулаком и выходит вслед за товарищем.

Сатин *(Барону, смеясь)*. Вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу! Образованный человек, а карту передернуть не можете...

Барон *(разводя руками)*. Черт знает, как она...

Актер. Таланта нет... нет веры в себя... а без этого... никогда, ничего...

Медведев. У меня одна дамка... а у тебя две... н-да!

Бубнов. И одна — не бедна, коли умна... ходи!

Клещ. Проиграли вы, Абрам Иваныч!

Медведев. Это не твое дело... понял? И молчи...

Сатин. Выигрыш — пятьдесят три копейки...

Актер. Три копейки мне... А впрочем, зачем мне нужно три копейки?

Лука *(выходя из кухни)*. Ну, обыграли татарина? Водочку пить пойдете?

Барон. Идем с нами!

Сатин. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный!

Лука. Не лучше трезвого-то...

Актер. Идем, старик... я тебе продекламирую куплеты...

Лука. Чего это?

Актер. Стихи,— понимаешь?

Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихи-то?..

Актер. Это — смешно... А иногда — грустно...

Сатин. Ну, куплетист, идешь? *(Уходит с Бароном.)*

Актер. Иду... я догоню! Вот, например, старик, из одного стихотворения... начало я забыл... забыл! *(Потирает лоб.)*

Бубнов. Готово! Пропала твоя дамка... ходи!

Медведев. Не туда я пошел... пострели ее!

Актер. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память... А теперь вот... кончено, брат! Все кончено для меня! Я всегда читал это стихотворение с большим успехом... гром аплодисментов! Ты... не знаешь, что такое аплодисменты... это, брат, как... водка!.. Бывало, выйду, встану вот так... *(Становится в позу.)* Встану... и... *(Молчит.)* Ничего не помню... ни слова... не помню! Любимое стихотворение... плохо это, старик?

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом — вся душа...

Актер. Пропил я душу, старик... я, брат, погиб... А почему — погиб? Веры у меня не было... Кончен я...

Лука. Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить... Признали, ви-

дишь, что пьяница — тоже человек... и даже — рады, когда он лечиться желает! Ну-ка вот, валяй! Иди...

А к т е р *(задумчиво)*. Куда? Где это?

Л у к а. А это... в одном городе... как его? Название у него эдакое... Да я тебе город назову!.. Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись... возьми себя в руки и — терпи... А потом — вылечишься... и начнешь жить снова... хорошо, брат, снова-то! Ну, решай... в два приема...

А к т е р *(улыбаясь)*. Снова... сначала... Это — хорошо.. Н-да... Снова? *(Смеется.)* Ну... да! Я могу?!. Ведь могу, а?

Л у к а. А чего? Человек — все может... лишь бы захотел...

А к т е р *(вдруг, как бы проснувшись)*. Ты — чудак! Прощай пока! *(Свистит.)* Старичок... прощай... *(Уходит.)*

А н н а. Дедушка!

Л у к а. Что, матушка?

А н н а. Поговори со мной...

Л у к а *(подходя к ней)*. Давай, побеседуем...

Клещ оглядывается, молча подходит к жене, смотрит на нее и делает какие-то жесты руками, как бы желая что-то сказать.

Что, браток?

К л е щ *(негромко)*. Ничего... *(Медленно идет к двери в сени, несколько секунд стоит пред ней и — уходит.)*

Л у к а *(проводив его взглядом)*. Тяжело мужику-то твоему...

А н н а. Мне уж не до него...

Л у к а. Бил он тебя?

А н н а. Еще бы... От него, чай, и зачахла...

Б у б н о в. У жены моей... любовник был; ловко, бывало, в шашки играл, шельма...

М е д в е д е в. Мм-м...

А н н а. Дедушка! Говори со мной, милый... Тошно мне...

Л у к а. Это ничего! Это — перед смертью... голубка. Ничего, милая! Ты — надейся... Вот, значит, помрешь, и будет тебе спокойно... ничего больше не надо будет, и бояться — нечего! Тишина, спокой... лежи себе! Смерть — она все успокаивает... она для нас ласковая... Помрешь — отдохнешь, говорится... верно это, милая! Потому — где здесь отдохнуть человеку?

П е п е л входит. Он немного выпивши, растрепанный, мрачный. Садится у двери на нарах и сидит молча, неподвижно.

А н н а. А как там — тоже му́ка?

Л у к а. Ничего не будет! Ничего! Ты — верь! Спокой и — больше ничего! Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна...

Медведев *(строго)*. А ты почему знаешь, что там скакут? Эй, ты...

Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается.

Лука. Стало быть, знаю, господин ундер...

Медведев *(примирительно)*. М... да! Ну... твое дело... Хоша... я еще не совсем... ундер...

Бубнов. Двух беру...

Медведев. Ах ты... чтоб тебе!..

Лука. А господь — взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится... знаю я, жила она — очень трудно... очень устала... Дайте покой Анне...

Анна *(задыхаясь)*. Дедушка... милый ты... кабы так! Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего...

Лука. Не будешь! Ничего не будет! Ты — верь! Ты — с радостью помирай, без тревоги... Смерть, я те говорю, она нам — как мать малым детям...

Анна. А... может... может, выздоровлю я?

Лука *(усмехаясь)*. На что? На му́ку опять?

Анна. Ну... еще немножко... пожить бы... немножко! Коли там муки не будет... здесь можно потерпеть... можно!

Лука. Ничего там не будет!.. Просто...

Пепел *(вставая)*. Верно... а может, и — не верно!

Анна *(пугливо)*. Господи...

Лука. А, красавец...

Медведев. Кто орет?

Пепел *(подходя к нему)*. Я! А что?

Медведев. Зря орешь, вот что! Человек должен вести себя смирно...

Пепел. Э... дубина!.. А еще — дядя... х-хо!

Лука *(Пеплу, негромко)*. Слышь,— не кричи! Тут — женщина помирает... уж губы у нее землей обметало... не мешай!

Пепел. Тебе, дед, изволь,— уважу! Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо... сказки говоришь приятно! Ври, ничего... мало, брат, приятного на свете!

Бубнов. Вправду — помирает баба-то?

Лука. Кажись, не шутит...

Бубнов. Кашлять, значит, перестанет... Кашляла он очень беспокойно... Двух беру!

Медведев. Ах, пострели тебя в сердце!

Пепел. Абрам!

Медведев. Я тебе — не Абрам...

Пепел. Абрашка! Наташа — хворает?

Медведев. А тебе какое дело?

Пепел. Нет, ты скажи: сильно ее Василиса избила?

Медведев. И это дело не твое! Это — семейное дело... А ты — кто таков?

Пепел. Кто бы я ни был, а... захочу, и не видать вам больше Наташки!

Медведев *(бросая игру)*. Ты — что говоришь? Ты — про кого это? Племянница моя чтобы... ах, вор!

Пепел. Вор, а тобой на пойман...

Медведев. Погоди! Я — поймаю... я — скоро...

Пепел. А поймаешь,— на горе всему вашему гнезду. Ты думаешь — я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка! Спросят: кто меня на воровство подбил и место указал? Мишка Костылев с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!

Медведев. Врешь! Не поверят тебе!

Пепел. Поверят, потому — правда! И тебя еще запутаю... ха! Погублю всех вас, черти,— увидишь!

Медведев *(теряясь)*. Врешь! И... врешь! И... что я тебе худого сделал? Пес ты бешеный...

Пепел. А что ты мне хорошего сделал?

Лука. Та-ак!

Медведев *(Луке)*. Ты... чего каркаешь? Твое тут — какое дело? Тут — семейное дело!

Бубнов *(Луке)*. Отстань! Не для нас с тобой петли вяжут.

Лука *(смиренно)*. Я ведь — ничего! Я только говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил...

Медведев *(не поняв)*. То-то! Мы тут... все друг друга знаем... а ты — кто такой! *(Сердито фыркая, быстро уходит.)*

Лука. Рассердился кавалер... охо-хо, дела у вас, братцы, смотрю я... путаные дела!

Пепел. Василисе жаловаться побежал...

Бубнов. Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось... гляди — храбрость у места, когда в лес по грибы идешь... а здесь она — ни к чему... Они тебе живо голову свернут...

Пепел. Н-ну, нет! Нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь... Ежели война — будем воевать...

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

Пепел. Куда? Ну-ка, выговори...

Лука. Иди... в Сибирь!

П е п е л. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет...

Л у к а. А ты слушай — иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких — надобно!

П е п е л. Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал... Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Л у к а. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там — как огурцу в парнике!

П е п е л. Старик! Зачем ты все врешь?

Л у к а. Ась?

П е п е л. Оглох! Зачем врешь, говорю?

Л у к а. Это в чем же вру-то я?

П е п е л. Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врешь! На что?

Л у к а. А ты мне — поверь, да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трешься? И... чего тебе правда больно нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя...

П е п е л. А мне все едино! Обух так обух...

Л у к а. Да чудак! На что самому себя убивать?

Б у б н о в. И чего вы оба мелете? Не пойму... Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее знают...

П е п е л. Погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... слушай, старик: бог есть?

Лука молчит, улыбаясь.

Б у б н о в. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом... а щепки — прочь...

П е п е л. Ну? Есть? Говори...

Л у к а *(негромко)*. Коли веришь,— есть; не веришь,— нет... Во что веришь, то и есть...

Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика.

Б у б н о в. Пойду, чаю попью... идемте в трактир? Эй!..

Л у к а *(Пеплу)*. Чего глядишь?

П е п е л. Так... погоди!.. Значит...

Б у б н о в. Ну, я один... *(Идет к двери и встречается с Василисой.)*

П е п е л. Стало быть... ты...

В а с и л и с а *(Бубнову)*. Настасья — дома?

Б у б н о в. Нет... *(Уходит.)*

П е п е л. А... пришла...

В а с и л и с а *(подходя к Анне)*. Жива еще?

Л у к а. Не тревожь...

В а с и л и с а. А ты... чего тут торчишь?

Л у к а. Я могу уйти... коли надо...

В а с и л и с а *(направляясь к двери в комнату Пепла)*. Василий! У меня к тебе дело есть...

Лука подходит к двери в сени, отворяет ее и громко хлопает ею. Затем — осторожно влезает на нары и — на печь.

(Из комнаты Пепла.) Вася... Поди сюда!

П е п е л. Не пойду... не хочу...

В а с и л и с а. А... что же? На что гневаешься?

П е п е л. Скушно мне... надоела мне вся эта канитель...

В а с и л и с а. И я... надоела?

П е п е л. И ты...

Василиса крепко стягивает платок на плечах, прижимая руки ко груди. Идет к постели Анны, осторожно смотрит за полог и возвращается к Пеплу.

Ну... говори...

В а с и л и с а. Что же говорить? Насильно мил не будешь... и не в моем это характере милости просить... Спасибо тебе за правду...

П е п е л. Какую правду?

В а с и л и с а. А что надоела я тебе... али это не правда?

Пепел молча смотрит на нее.

(Подвигаясь к нему.) Что глядишь? Не узнаешь?

П е п е л *(вздыхая)*. Красивая ты, Васка...

Женщина кладет ему руку на шею, но он стряхивает руку ее движением плеча.

...а никогда не лежало у меня сердце к тебе... И жил я с тобой, и всё... а никогда ты не нравилась мне...

В а с и л и с а *(тихо)*. Та-ак... Н-ну...

П е п е л. Ну, не о чем нам говорить! Не о чем... иди от меня...

В а с и л и с а. Другая приглянулась?

П е п е л. Не твое дело... И приглянулась — в свахи тебя не позову...

В а с и л и с а *(значительно)*. А напрасно... Может, я бы и сосватала...

П е п е л *(подозрительно)*. Кого это?

В а с и л и с а. Ты знаешь... что притворяться? Василий... я — человек прямой... *(Тише.)* Скрывать не буду... ты меня обидел... Ни за что ни про что — как плетью хлестнул... Говорил — любишь... и вдруг...

П е п е л. Вовсе не вдруг... я давно... души в тебе нет, баба... В женщине — душа должна быть... мы — звери... нам надо... надо нас — приучать... а ты — к чему меня приучила?..

В а с и л и с а. Что было — того нет... Я знаю — человек сам в себе не волен... Не любишь больше... ладно! Так тому и быть...

П е п е л. Ну, значит, и — шабаш! Разошлись смирно, без скандала... и хорошо!

В а с и л и с а. Нет, погоди! Все-таки... когда я с тобой жила... я все дожидалась, что ты мне поможешь из омута этого выбраться... освободишь меня от мужа, от дяди... от всей этой жизни... И, может, я не тебя, Вася, любила, а... надежду мою, думу эту любила в тебе... Понимаешь? Ждала я, что вытащишь ты меня...

П е п е л. Ты — не гвоздь, я — не клещи... Я сам думал, что ты, как умная... ведь ты умная... ты — ловкая!

В а с и л и с а *(близко наклоняясь к нему)*. Вася! давай поможем друг другу...

П е п е л. Как это?

В а с и л и с а *(тихо, сильно)*. Сестра... тебе нравится, я знаю...

П е п е л. За то ты и бьешь ее зверски! Смотри, Васка! Ее — не тронь...

В а с и л и с а. Погоди! Не горячись! Можно все сделать тихо, по-хорошему... Хочешь — женись на ней? И я тебе еще денег дам... целковых... триста! Больше соберу — больше дам...

П е п е л *(отодвигаясь)*. Постой... как это? За что?

В а с и л и с а. Освободи меня... от мужа! Сними с меня петлю эту...

П е п е л *(тихо свистит)*. Вон что-о! Ого-го! Это — ты ловко придумала... мужа, значит, в гроб, любовника — на каторгу, а сама...

В а с и л и с а. Вася! Зачем — каторга? Ты — не сам... через товарищей! Да если и сам, кто узнает? Наталья — подумай! Деньги будут... уедешь куда-нибудь... меня навек освободишь... и что сестры около меня не будет — это хорошо для нее. Видеть мне ее — трудно... злоблюсь я на нее за тебя... и сдержаться не могу... мучаю девку, бью ее... так — бью... что сама плачу от жалости к ней... А — бью. И — буду бить!

П е п е л. Зверь! Хвастаешься зверством своим?

В а с и л и с а. Не хвастаюсь — правду говорю. Подумай, Вася... Ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел... из-за его жадности... Он в меня, как клоп, впился... четыре года сосет! А какой он мне муж? Наташку теснит, измывается над ней, нищая, говорит! И для всех он — яд...

Пепел. Хитро ты плетешь...

Василиса. В речах моих — все ясно... Только глупый не поймет, чего я хочу...

Костылев осторожно входит и крадется вперед.

Пепел *(Василисе)*. Ну... иди!

Василиса. Подумай! *(Видит мужа.)* Ты — что? За мной?

Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылева.

Костылев. Это я... я! А вы тут... одни? А-а... Вы — разговаривали? *(Вдруг топает ногами и громко визжит.)* Васка... поганая! Нищая... шкура! *(Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью.)* Прости, господи... опять ты меня, Василиса, во грех ввела... Я тебя ищу везде... *(Взвизгивая.)* Спать пора! Масла в лампады забыла налить... у, ты! Нищая... свинья... *(Дрожащими руками машет на нее.)*

Василиса медленно идет к двери в сени, оглядываясь на Пепла.

Пепел *(Костылеву)*. Ты! Уйди... пошел!..

Костылев *(кричит)*. Я — хозяин! Сам пошел, да! Вор...

Пепел *(глухо)*. Уйди, Мишка...

Костылев. Не смей! Я тут... я тебя...

Пепел хватает его за шиворот и встряхивает. На печи раздается громкая возня и воющее позевыванье. Пепел выпускает Костылева, старик с криком бежит в сени.

Пепел *(вспрыгнув на нары)*. Кто это... кто на печи?

Лука *(высовывая голову)*. Ась?

Пепел. Ты?!

Лука *(спокойно)*. Я... я самый... о, господи Исусе Христе!

Пепел *(затворяет дверь в сени, ищет запора и не находит)*. А, черти... Старик, слезай!

Лука. Сейча-ас... лезу...

Пепел *(грубо)*. Ты зачем на печь залез?

Лука. А куда надо было?

Пепел. Ведь... ты в сени ушел?

Лука. В сенях, браточек, мне, старику, холодно...

Пепел. Ты... слышал?

Лука. А — слышал! Как не слышать? Али я — глухой? Ах, парень, счастье тебе идет... Вот идет счастье!

Пепел *(подозрительно)*. Какое счастье? В чем?

Лука. А вот в том, что я на печь залез.

Пепел. А... зачем ты там возиться начал?

Л у к а. Затем, значит, что — жарко мне стало... на твое сиротское счастье... И опять же, смекнул я, как бы, мол, парень-то не ошибся... не придушил бы старичка-то...

П е п е л. Да-а... я это мог... ненавижу...

Л у к а. Что мудреного? Ничего нет трудного... Часто эдак-то ошибаются...

П е п е л *(улыбаясь)*. Ты — что? Сам, что ли, ошибся однажды?

Л у к а. Парень! Слушай-ка, что я тебе скажу: бабу эту — прочь надо! Ты ее — ни-ни! — до себя не допускай... Мужа — она и сама со света сживет, да еще половчее тебя, да! Ты ее, дьяволицу, не слушай... Гляди — какой я? Лысый... А отчего? От этих вот самых разных баб... Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было... А эта Василиса — она... хуже черемиса!

П е п е л. Не понимаю я... спасибо тебе сказать, или ты... тоже...

Л у к а. Ты — не говори! Лучше моего не скажешь! Ты слушай: которая тут тебе нравится, бери ее под руку, да отсюда — шагом марш! — уходи! Прочь уходи...

П е п е л *(угрюмо)*. Не поймешь людей! Которые — добрые, которые — злые!.. Ничего не понятно...

Л у к а. Чего там понимать? Всяко живет человек... как сердце налажено, так и живет... сегодня — добрый, завтра — злой... А коли девка эта за душу тебя задела всурьез... уйди с ней отсюда, и кончено... А то — один иди... Ты — молодой, успеешь бабой обзавестись...

П е п е л *(берет его за плечо)*. Нет, ты скажи — зачем ты все это...

Л у к а. Погоди-ка, пусти... Погляжу я на Анну... чего-то она хрипела больно... *(Идет к постели Анны, открывает полог, смотрит, трогает рукой.)*

Пепел задумчиво и растерянно следит за ним.

Исусе Христе, многомилостивый! Дух новопреставленной рабы твоей Анны с миром прими...

П е п е л *(тихо)*. Умерла?.. *(Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать.)*

Л у к а *(тихо)*. Отмаялась!.. А где мужик-то ее?

П е п е л. В трактире, наверно...

Л у к а. Надо сказать...

П е п е л *(вздрагивая)*. Не люблю покойников...

Л у к а *(идет к двери)*. За что их любить?.. Любить — живых надо... живых...

П е п е л. И я с тобой...

Л у к а. Боишься?

П е п е л. Не люблю...

Торопливо выходят. Пустота и тишина. За дверью в сени слышен глухой шум, неровный, непонятный. Потом — входит А к т е р.

А к т е р *(останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит)*. Старик, эй! Ты где? Я — вспомнил... слушай. *(Шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает.)*

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,—
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Н а т а ш а является сзади Актера в двери.

Старик!..

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло.
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь...

Н а т а ш а *(смеется)*. Чучело! Нализался...

А к т е р *(оборачиваясь к ней)*. А-а, это ты? А — где старичок... милый старикашка? Здесь, по-видимому,— никого нет... Наташа, прощай! Прощай... да!

Н а т а ш а *(входя)*. Не здоровался, а прощаешься...

А к т е р *(загораживая ей дорогу)*. Я — уезжаю, ухожу... Настанет весна — и меня больше нет...

Н а т а ш а. Пусти-ка... куда это ты?

А к т е р. Искать город... лечиться... Ты — тоже уходи... Офелия... иди в монастырь... Понимаешь — есть лечебница для организмов... для пьяниц... Превосходная лечебница... Мрамор... мраморный пол! Свет... чистота, пища... всё — даром! И мраморный пол, да! Я ее найду, вылечусь и... снова буду... Я на пути к возрожденью... как сказал... король... Лир! Наташа... по сцене мое имя Сверчков-Заволжский... никто этого не знает, никто! Нет у меня здесь имени... Понимаешь ли ты, как это обидно — потерять имя? Даже собаки имеют клички...

Наташа осторожно обходит Актера, останавливается у кровати Анны, смотрит.

Без имени — нет человека...

Н а т а ш а. Гляди... голубчик... померла ведь...

А к т е р *(качая головой)*. Не может быть...

Н а т а ш а *(отступая)*. Ей-богу... смотри...

Б у б н о в *(в двери)*. Чего смотреть?

Н а т а ш а. Анна-то... померла!

Б у б н о в. Кашлять перестала, значит. *(Идет к постели Анны, смотрит, идет на свое место.)* Надо Клещу сказать... это — его дело...

А к т е р. Я иду... скажу... потеряла имя!.. *(Уходит.)*

Н а т а ш а *(посреди комнаты)*. Вот и я... когда-нибудь так же... в подвале... забитая...

Б у б н о в *(расстилая на своих нарах какое-то тряпье)*. Чего? Ты чего бормочешь?

Н а т а ш а. Так... про себя...

Б у б н о в. Ваську ждешь? Гляди — сломит тебе голову Васька...

Н а т а ш а. А не все равно — кто сломит? Уж пускай лучше он...

Б у б н о в *(ложится)*. Ну, твое дело...

Н а т а ш а. Ведь вот... хорошо, что она умерла... а жалко... Господи!.. Зачем жил человек?

Б у б н о в. Все так: родятся, поживут, умирают. И я помру... и ты... Чего жалеть?

Входят: Л у к а, Т а т а р и н, К р и в о й З о б и К л е щ. Клещ идет сзади всех, медленно, съежившись.

Н а т а ш а. Ш-ш! Анна...

К р и в о й З о б. Слышали... царство небесное, коли померла...

Т а т а р и н *(Клещу)*. Надо вон тащить! Сени надо тащить! Здесь — мертвый — нельзя, здесь — живой спать будет...

К л е щ *(негромко)*. Вытащим...

Все подходят к постели. Клещ смотрит на жену через плечи других.

К р и в о й З о б *(Татарину)*. Ты думаешь — дух пойдет? От нее духа не будет... она вся еще живая высохла...

Н а т а ш а. Господи! Хоть бы пожалели... хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх вы...

Л у к а. Ты, девушка, не обижайся... ничего! Где им... куда нам — мертвых жалеть? Э, милая! Живых — не жалеем... сами себя пожалеть-то не можем... где тут!

Б у б н о в *(зевая)*. И опять же — смерть слова не боится!.. Болезнь — боится слова, а смерть — нет!

Т а т а р и н *(отходя)*. Полицию надо...

К р и в о й З о б. Полицию — это обязательно! Клещ! Полиции заявил?

К л е щ. Нет... Хоронить надо... а у меня сорок копеек всего...

К р и в о й З о б. Ну, на такой случай — займи... а то мы соберем... кто пятак, кто — сколько может... А полиции заяви... скорее! А то она подумает — убил ты бабу... или что... *(Идет к нарам и собирается лечь рядом с Татарином.)*

Н а т а ш а *(отходя к нарам Бубнова)*. Вот... будет она мне сниться теперь... мне всегда покойники снятся... боюсь идти одна... в сенях — темно...

Л у к а *(следуя за ней)*. Ты — живых опасайся... вот что я скажу...

Н а т а ш а. Проводи меня, дедушка...

Л у к а. Идем... идем, провожу!

Уходят. Пауза.

К р и в о й З о б. Охо-хо-о! Асан! Скоро весна, друг... тепло нам жить будет! Теперь уж в деревнях мужики сохи, бороны чинят... пахать налаживаются... н-да! А мы... Асан?.. Дрыхнет уж, Магомет окаянный...

Б у б н о в. Татары спать любят...

К л е щ *(стоит посредине ночлежки и тупо смотрит пред собой)*. Чего же мне теперь делать?

К р и в о й З о б. Ложись да спи... только и всего...

К л е щ *(тихо)*. А... она... как же?

Никто не отвечает ему. С а т и н и А к т е р входят.

А к т е р *(кричит)*. Старик! Сюда, мой верный Кент...

С а т и н. Миклуха-Маклай идет... х-хо!

А к т е р. Кончено и решено! Старик, где город... где ты?

С а т и н. Фата-моргана! Наврал тебе старик... Ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!

А к т е р. Врешь!

Т а т а р и н *(вскакивая)*. Где хозяин? Хозяину иду! Нельзя спать — нельзя деньги брать... Мертвые... пьяные... *(Быстро уходит.)*

Сатин свистит вслед ему.

Б у б н о в *(сонным голосом)*. Ложись, ребята, не шуми... ночью — спать надо!

А к т е р. Да... здесь — ага! Мертвец... «Наши сети притащили мертвеца»... стихотворение... Б-беранжера!

С а т и н *(кричит)*. Мертвецы — не слышат! Мертвецы не чувствуют... Кричи... реви... мертвецы не слышат!..

В двери является Л у к а.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

«Пустырь» — засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место. В глубине его — высокий кирпичный брандмауэр. Он закрывает небо. Около него — кусты бузины. Направо — темная, бревенчатая стена какой-то надворной постройки: сарая или конюшни. А налево — серая, покрытая остатками штукатурки стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискось, так что ее задний угол выходит почти на средину пустыря. Между ею и красной стеной — узкий проход. В серой стене два окна: одно — в уровень с землей, другое — аршина на два выше и ближе к брандмауэру. У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубок бревна, длиною аршина в четыре. Направо у стены — куча старых досок, брусьев. Вечер, заходит солнце, освещая брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег. Черные сучья бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях — Лука и Барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли — рожа Бубнова.

Настя *(закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает)*. Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и — белый как мел, а в руках у него леворверт...

Наташа *(грызет семечки)*. Ишь! Видно, правду говорят, что студенты — отчаянные...

Настя. И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь...»

Бубнов. Хо-хо! Драгоценная?

Барон. Погоди! Не любо — не слушай, а врать не мешай... Дальше!

Настя. «Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни...» А леворверт у него — агромадный и заряжен десятью пулями... «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! — решился я бесповоротно... жить без тебя — никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой... Рауль...»

Бубнов *(удивленный)*. Чего-о? Как? Краул?

Барон *(хохочет)*. Настька! Да ведь... ведь прошлый раз — Гастон был!

Настя *(вскакивая)*. Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня — была она... настоящая! *(Барону.)* Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь — лежа кофей пил...

Л у к а. А вы — погоди-ите! Вы —не мешайте! Уважьте человеку... не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело! Рассказывай, девушка, ничего!

Б у б н о в. Раскрашивай, ворона, перья... валяй!

Б а р о н. Ну — дальше!

Н а т а ш а. Не слушай их... что они? Они — из зависти это... про себя им сказать нечего...

Н а с т я *(снова садится)*. Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... *(Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку.)* И вот — отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни... как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты — вся их радость... брось меня! Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я — одна... я — таковская! Пускай уж я... погибаю,— все равно! Я — никуда не гожусь... и нет мне ничего... нет ничего...» *(Закрывает лицо руками и беззвучно плачет.)*

Н а т а ш а *(отвертываясь в сторону, негромко)*. Не плачь... не надо!

Лука, улыбаясь, гладит голову Насти.

Б у б н о в *(хохочет)*. Ах... чертова кукла! а?

Б а р о н *(тоже смеется)*. Дедка! Ты думаешь — это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»... Все это — ерунда! Брось ее!..

Н а т а ш а. А тебе что? Ты! Молчи уж... коли бог убил...

Н а с т я *(яростно)*. Пропащая душа! Пустой человек! Где у тебя — душа?

Л у к а *(берет Настю за руку)*. Уйдем, милая! ничего... не сердись! Я — знаю... Я — верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит — была она! Была! А на него — не сердись, на сожителя-то... Он... может, и впрямь из зависти смеется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пойдем-ка!..

Н а с т я *(крепко прижимая руки к груди)*. Дедушка! Ей-богу... было это! Все было!.. Студент он... француз был... Гастошей звали... с черной бородкой... в лаковых сапогах ходил... разрази меня гром на этом месте! И так он меня любил... так любил!

Л у к а. Я — знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь? А-яй-ай! Ну — и ты его тоже — любила?

Уходят за угол.

Б а р о н. Ну и глупа же эта девица... добрая, но... глупа — нестерпимо!

Б у б н о в. И чего это... человек врать так любит? Всегда — как перед следователем стоит... право!

Н а т а ш а. Видно, вранье-то... приятнее правды... Я — тоже...

Б а р о н. Что — тоже? Дальше?!

Н а т а ш а. Выдумываю... Выдумываю и — жду...

Б а р о н. Чего?

Н а т а ш а *(смущенно улыбаясь)*. Так... Вот, думаю, завтра... приедет кто-то... кто-нибудь... особенный... Или — случится что-нибудь... тоже — небывалое... Подолгу жду... всегда — жду... А так... на самом деле — чего можно ждать?

Пауза.

Б а р о н *(с усмешкой)*. Нечего ждать... Я — ничего не жду! Все уже... было! Прошло... кончено!.. Дальше!

Н а т а ш а. А то... воображу себе, что завтра я... скоропостижно помру... И станет от этого — жутко... Летом хорошо воображать про смерть... грозы бывают летом... всегда может грозой убить...

Б а р о н. Нехорошо тебе жить... эта сестра твоя... дьявольский характер!

Н а т а ш а. А кому — хорошо жить? Всем плохо... я вижу...

К л е щ *(до этой поры неподвижный и безучастный — вдруг вскакивает)*. Всем? Врешь! Не всем! Кабы — всем... пускай! Тогда — не обидно... да!

Б у б н о в. Что тебя — черт боднул? Ишь ты... взвыл как!

Клещ снова ложится на свое место и ворчит.

Б а р о н. А... надо мне к Настёнке мириться идти... не помиришься — на выпивку не даст...

Б у б н о в. Мм... Любят врать люди... Ну, Настька... дело понятное! Она привыкла рожу себе подкрашивать... вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит... А... другие — зачем? Вот — Лука, примерно... много он врет... и без всякой пользы для себя... Старик уж... Зачем бы ему?

Б а р о н *(усмехаясь, отходит)*. У всех людей — души серенькие... все подрумяниться желают...

Л у к а *(выходит из-за угла)*. Ты, барин, зачем девку тре-

вожишь? Ты бы не мешал ей... пускай плачет-забавляется... Она ведь для своего удовольствия слезы льет... чем тебе это вредно?

Б а р о н. Глупо, старик! Надоела она... Сегодня — Рауль, завтра — Гастон... а всегда одно и то же! Впрочем — я иду мириться с ней... *(Уходит.)*

Л у к а. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать — никогда не вредно...

Н а т а ш а. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

Л у к а. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да!

За красной стеной тихо звучит гармоника и песня.

Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел... Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место — глухое... а зима была, и — один я, на даче-то... Славно — хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Н а т а ш а. Воры?

Л у к а. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу — двое... открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас — стрелю!.. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу. Они — на коленки пали: дескать,— пусти! Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь! Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один — ложись, а другой пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку. А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая *(смеется)*... вот те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они — надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не дает... обидно!.. Так они у меня всю зиму и жили. Один,— Степаном звать,— возьмет бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой — Яков был, все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Н а т а ш а. Они — беглые? Каторжане?

Л у к а. Действительно — так,— беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их — они бы, может, убили меня... али еще что... А потом — суд, да тюрьма, да Си-

бирь... что толку? Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит... а человек — научит... да! Человек — может добру научить... очень просто!

Пауза.

Б у б н о в. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

К л е щ *(вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит)*. Какая — правда? Где — правда? *(Треплет руками лохмотья на себе.)* Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — правда!..

Б у б н о в. Вот так... забрало!..

Л у к а. Господи Исусе... слышь-ка, милый! Ты...

К л е щ *(дрожит от возбуждения)*. Говорите тут — правда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она — проклята! *(Бежит за угол, оглядываясь.)*

Л у к а. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Н а т а ш а. Все равно как рехнулся...

Б у б н о в. Здорово пущено! Как в театре разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

П е п е л *(медленно выходит из-за угла)*. Мир честно́й компании! Что, Лука, старец лукавый, всё истории рассказываешь?

Л у к а. Видел бы ты... как тут человек кричал!

П е п е л. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит как ошпаренный...

Л у к а. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

П е п е л *(садится)*. Не люблю его... больно он зол да горд. *(Передразнивая Клеща.)* «Я — рабочий человек». И — все его ниже будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит! Наташа! Твои дома?

Н а т а ш а. На кладбище ушли... потом — ко всенощной хотели...

П е п е л. То-то, я гляжу, свободна ты... редкость!

Л у к а *(задумчиво, Бубнову)*. Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то,— не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Б у б н о в. Во что-о?

Л у к а. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают... и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и, когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай,— духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько — пожду... а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю...» Одна у него радость была — земля эта...

П е п е л. Ну? Пошел?

Б у б н о в. Куда? Хо-хо!

Л у к а. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: «Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?» Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Всё верно, все земли показаны, а праведной — нет!..

П е п е л *(негромко)*. Ну? Нету?

Бубнов хохочет.

Н а т а ш а. Погоди ты... ну, дедушка?

Л у к а. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: «Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый...» Да в ухо ему — раз! Да еще!.. *(Помолчав.)* А после того пошел домой — и удавился!..

Все молчат, Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.

П е п е л *(негромко)*. Ч-черт те возьми... история — невеселая...

Н а т а ш а. Не стерпел обмана...

Б у б н о в *(угрюмо)*. Всё — сказки...

П е п е л. Н-да... вот те и праведная земля... не оказалось, значит...

Н а т а ш а. Жалко... человека-то...

Б у б н о в. Всё — выдумки... тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо! *(Исчезает из окна.)*

Л у к а *(кивая головой на окно Бубнова)*. Смеется! Эхе-хе...

Пауза.

Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас...

П е п е л. Куда теперь?

Л у к а. В хохлы... Слыхал я — открыли там новую веру... поглядеть надо... да!.. Всё ищут люди, всё хотят — как лучше... дай им, господи, терпенья!

П е п е л. Как думаешь... найдут?

Л у к а. Люди-то? Они — найдут! Кто ищет — найдет... Кто крепко хочет — найдет!

Н а т а ш а. Кабы нашли что-нибудь... придумали бы получше что...

Л у к а. Они — придумают! Помогать только надо им, девонька... уважать надо...

Н а т а ш а. Как я помогу? Я сама... без помощи...

П е п е л *(решительно)*. Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа... Вот — при нем... он — все знает... Иди... со мной!

Н а т а ш а. Куда? По тюрьмам?

П е п е л. Я сказал — брошу воровство! Ей-богу — брошу! Коли сказал — сделаю! Я — грамотный... буду работать... Вот он говорит — в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь — моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю... вижу!.. Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут... только это мне не помогает! Это... не то! Я — не каюсь... в совесть я не верю... Но — я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать...

Л у к а. Верно, милый! Дай тебе господи... помоги тебе Христос! Верно: человек должен уважать себя...

П е п е л. Я — сызмалетства — вор... все, всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну — нате! Вот — я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то... оттого я вор, что другим именем никто, никогда не догадался назвать меня... Назови ты... Наташа, ну?

Н а т а ш а *(грустно)*. Не верю я как-то... никаким словам... И беспокойно мне сегодня... сердце щемит... будто жду я чего-то. Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завел...

П е п е л. Когда же? Я не первый раз говорю...

Н а т а ш а. И что же я с тобой пойду? Ведь... любить тебя... не очень я люблю... Иной раз — нравишься ты мне... а когда — глядеть на тебя тошно... Видно — не люблю я тебя... когда любят — плохого в любимом не видят... а я — вижу...

П е п е л. Полюбишь — не бойся! Я тебя приучу к себе... ты только согласись! Больше года я смотрел на тебя... вижу,

ты девица строгая... хорошая... надежный человек... очень полюбил тебя!..

В а с и л и с а, нарядная, является в окне и, стоя у косяка, слушает.

Н а т а ш а. Так. Меня — полюбил, а сестру мою...

П е п е л *(смущенно)*. Ну, что она? Мало ли... эдаких-то...

Л у к а. Ты... ничего, девушка! Хлеба нету,— лебеду едят... если хлебушка-то нету...

П е п е л *(угрюмо)*. Ты... пожалей меня! Несладко живу... волчья жизнь — мало радует... Как в трясине тону... за что ни схватишься... все — гнилое... все — не держит... Сестра твоя... я думал, она... не то... Ежели бы она... не жадная до денег была — я бы ее ради... на все пошел!.. Лишь бы она — вся моя была... Ну, ей другого надо... ей — денег надо... и воли надо... а воля ей — чтобы развратничать. Она — помочь мне не может... А ты — как молодая елочка — и колешься, а сдержишь...

Л у к а. И я скажу — иди за него, девонька, иди! Он — парень ничего, хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он! тебе — поверит... Ты только поговаривай ему: «Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай!» Ты подумай, милая, куда тебе идти окроме-то? Сестра у тебя — зверь злой... про мужа про ее — и сказать нечего: хуже всяких слов старик... и вся эта здешняя жизнь... куда тебе идти? А парень — крепкий...

Н а т а ш а. Идти некуда... я знаю... думала... Только вот... не верю я никому... А идти мне — некуда...

П е п е л. Одна дорога... ну, на эту дорогу я не допущу... Лучше убью...

Н а т а ш а *(улыбаясь)*. Вот... еще не жена я тебе, а уж хочешь убить.

П е п е л *(обнимает ее)*. Брось, Наташа! Все равно!..

Н а т а ш а *(прижимаясь к нему)*. Ну... одно я тебе скажу, Василий... вот как перед богом говорю! — как только ты меня первый раз ударишь... или иначе обидишь... я — себя не пожалею... или сама удавлюсь, или...

П е п е л. Пускай у меня рука отсохнет, коли я тебя трону!...

Л у к а. Ничего, не сумневайся, милая! Ты ему нужнее, чем он — тебе...

В а с и л и с а *(из окна)*. Вот и сосватались! Совет да любовь!

Н а т а ш а. Пришли!.. ох, господи! Видели... эх, Василий!

П е п е л. Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя!

В а с и л и с а. Не бойся, Наталья! Он тебя бить не станет... Он ни бить, ни любить не может... я знаю!

Л у к а *(негромко)*. Ах, баба... гадюка ядовитая...

В а с и л и с а. Он больше на словах удал...

К о с т ы л е в *(выходит)*. Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь? На родных жалуешься? А самовар не готов? На стол не собрано?

Н а т а ш а *(уходя)*. Да ведь вы в церковь идти хотели...

К о с т ы л е в. Не твое дело, чего мы хотели! Ты должна свое дело делать... что тебе приказано!

П е п е л. Цыц, ты! Она тебе больше не слуга... Наталья, не ходи... не делай ничего!..

Н а т а ш а. Ты — не командуй... рано еще! *(Уходит.)*

П е п е л *(Костылеву)*. Будет вам! Поиздевались над человеком... достаточно! Теперь она — моя!

К о с т ы л е в. Тво-оя? Когда купил? Сколько дал?

Василиса хохочет.

Л у к а. Вася! Ты — уйди...

П е п е л. Глядите вы... веселые! Не заплакать бы вам!

В а с и л и с а. Ой, страшно! Ой, боюсь!

Л у к а. Василий — уйди! Видишь — подстрекает она тебя... подзадоривает — понимаешь?

П е п е л. Да... ага! Врет... врешь! Не быть тому, чего тебе хочется!

В а с и л и с а. И того не будет, чего я не захочу, Вася!

П е п е л *(грозит ей кулаком)*. Поглядим!.. *(Уходит.)*

В а с и л и с а *(исчезая из окна)*. Устрою я тебе свадебку!

К о с т ы л е в *(подходит к Луке)*. Что, старичок?

Л у к а. Ничего, старичок!..

К о с т ы л е в. Так... Уходишь, говорят?

Л у к а. Пора...

К о с т ы л е в. Куда?

Л у к а. Куда глаза поведут...

К о с т ы л е в. Бродяжить, значит... Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить?

Л у к а. Под лежач камень — сказано — и вода не течет...

К о с т ы л е в. То — камень. А человек должен на одном месте жить... Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползет... Человек должен определять себя к месту... а не путаться зря на земле...

Л у к а. А если которому — везде место?

К о с т ы л е в. Стало быть, он — бродяга... бесполезный человек... Нужно, чтоб от человека польза была... чтобы он работал...

Л у к а. Ишь ты!

К о с т ы л е в. Да. А как же?.. Что такое... странник? Странный человек... не похожий на других... Ежели он — настояще странен... что-нибудь знает... что-нибудь узнал эдакое...не нужное никому... может, он и правду узнал там... ну, не всякая правда нужна... да! Он — про себя ее храни... и — молчи! Ежели он настояще-то... странен... он — молчит! А то — так говорит, что никому не понятно... И он — ничего не желает, ни во что не мешается, людей зря не мутит... Как люди живут — не его дело... Он должен преследовать праведную жизнь... должен жить в лесах... в трущобах... невидимо! И никому не мешать, никого не осуждать... а за всех — молиться... за все мирские грехи и... за мои, за твои... за все! Он для того и суеты мирской бежит... чтобы молиться. Вот как...

Пауза.

А ты... какой ты странник?.. Пачпорта не имеешь... Хороший человек должен иметь пачпорт... Все хорошие люди пачпорта имеют... да!..

Л у к а. Есть — люди, а есть — иные — и человеки...

К о с т ы л е в. Ты... не мудри! Загадок не загадывай... Я тебя не глупее... Что такое — люди и человеки?

Л у к а. Где тут загадка? Я говорю — есть земля неудобная для посева... и есть урожайная земля... что ни посеешь на ней — родит... Так-то вот...

К о с т ы л е в. Ну? Это к чему же?

Л у к а. Вот ты, примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михайло! Будь человеком!..» Все равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься...

К о с т ы л е в. А... а — ты знаешь? — у жены моей дядя — полицейский? И если я...

В а с и л и с а *(входит)*. Михайла Иваныч, иди чай пить.

К о с т ы л е в *(Луке)*. Ты... вот что: пошел-ка вон! долой с квартиры!..

В а с и л и с а. Да, убирайся-ка, старик!.. Больно у тебя язычок длинен... Да и кто знает?.. может, ты беглый какой...

К о с т ы л е в. Сегодня же чтобы духа твоего не было! А то я... смотри!

Л у к а. Дядю позовешь? Позови дядю... Беглого, мол, изловил... Награду дядя получить может... копейки три...

Б у б н о в *(в окне)*. Чем тут торгуют? За что — три копейки?

Л у к а. Меня вот грозятся продать...

В а с и л и с а *(мужу)*. Идем...

Б у б н о в. За три копейки? Ну, гляди, старик... Они и за копейку продадут...

К о с т ы л е в *(Бубнову)*. Ты... вытаращился, ровно домовой из-под печки! *(Идет с женой.)*

В а с и л и с а. Сколько на свете темных людей... и жуликов разных!..

Л у к а. Приятного вам аппетиту!..

В а с и л и с а *(оборачиваясь)*. Попридержи язык... гриб поганый! *(Уходит с мужем за угол.)*

Л у к а. Сегодня в ночь — уйду...

Б у б н о в. Это — лучше... Вовремя уйти всегда лучше...

Л у к а. Верно говоришь...

Б у б н о в. Я — знаю! Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушел.

Л у к а. Ну?

Б у б н о в. Правда. Было так: жена у меня с мастером связалась... Мастер, положим, хороший... очень он ловко собак в енотов перекрашивал... кошек тоже — в кенгурий мех... выхухоль... и всяко. Ловкач. Так вот — связалась с ним жена... и так они крепко друг за друга взялись, что — того и гляди — либо отравят меня, либо еще как со света сживут. Я было — жену бить... а мастер — меня... Очень злобно дрался! Раз — половину бороды выдрал у меня и ребро сломал. Ну и я тоже обозлился... однажды жену по башке железным аршином тяпнул... и вообще — большая война началась! Однако вижу — ничего эдак не выйдет... одолевают они меня! И задумал я тут — укокошить жену... крепко задумал. Но вовремя спохватился — ушел...

Л у к а. Эдак-то лучше! Пускай их там из собак енотов делают!..

Б у б н о в. Только... мастерская-то на жену была... и остался я — как видишь! Хоть, по правде говоря, пропил бы я мастерскую... Запой у меня, видишь ли...

Л у к а. Запой? А-а!

Б у б н о в. Злющий запой! Как начну я заливать — весь пропьюсь, одна кожа остается... И еще — ленив я. Страсть как работать не люблю!..

С а т и н и А к т е р входят, споря.

С а т и н. Чепуха! Никуда ты не пойдешь... все это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?

А к т е р. Врешь! Дед! Скажи ему, что он — врет! Я — иду! Я сегодня — работал, мел улицу... а водки — не пил! Каково? Вот они — два пятиалтынных, а я — трезв!

С а т и н. Нелепо, и всё тут! Дай, я пропью... а то — проиграю...

А к т е р. Пошел прочь! Это — на дорогу?

Л у к а *(Сатину)*. А ты — почто его с толку сбиваешь?

С а т и н. «Скажи мне, кудесник, любимец богов,— что сбудется в жизни со мною?» Продулся, брат, я — вдребезги! Еще не все пропало, дед,— есть на свете шулера поумнее меня!

Л у к а. Веселый ты, Костянтин... приятный!

Б у б н о в. Актер! Поди-ка сюда!

Актер идет к окну и садится пред ним на корточки. Вполголоса разговаривают.

С а т и н. Я, брат, молодой — занятен был! Вспомнить хорошо!.. Рубаха-парень... плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить людей... славно!

Л у к а. Как же это ты свихнулся со стези своей, а?

С а т и н. Какой ты любопытный, старикашка! Все бы тебе знать... а — зачем?

Л у к а. Понять хочется дела-то человеческие... а на тебя гляжу — не понимаю! Эдакий ты бравый... Костянтин... неглупый... и вдруг...

С а т и н. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы — нет ходу!

Л у к а. Ого-го! За что сидел-то?

С а т и н. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении. В тюрьме я и в карты играть научился...

Л у к а. А убил — из-за бабы?

С а т и н. Из-за родной сестры... Однако — ты отвяжись! Я не люблю, когда меня расспрашивают... И... все это было давно... сестра — умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

Л у к а. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-яй!

С а т и н. Клещ?

Л у к а. Он. «Работы, кричит, нету... ничего нету!»

С а т и н. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

Л у к а *(тихо)*. Гляди! Идет...

К л е щ идет — медленно, низко опустив голову.

С а т и н. Эй, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

К л е щ. Думаю... чего делать буду? Инструмента — нет... всё — похороны съели!

С а т и н. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто — обременяй землю!..

К л е щ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми...

С а т и н. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется... Подумай — ты не станешь работать, я — не

стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? все бросают работать! Никто, ничего не хочет делать — что тогда будет?

Клещ. С голоду подохнут все...

Лука *(Сатину)*. Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

Сатин. Я знаю... они — не дураки, дедка!

Из окна Костылевых доносится крик Наташи: «За что? Постой... за что-о?»

Лука *(беспокойно)*. Наташа? Она кричит? а? Ах ты...

В квартире Костылевых — шум, возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылева: «А-а... еретица... шкуреха...»

Василиса. Стой... погоди... Я ее... вот.... вот...

Наташа. Бьют! Убивают...

Сатин *(кричит в окно)*. Эй, вы там!

Лука *(суетясь)*. Василья бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... ребята...

Актер *(убегая)*. Вот я... сейчас его...

Бубнов. Ну и часто они ее бить стали...

Сатин. Идем, старик... свидетелями будем!

Лука *(идет вслед за Сатиным)*. Какой я свидетель! Куда уж... Василья-то бы скорее... Э-эхма!..

Наташа. Сестра... сестрица... Ва-а-а...

Бубнов. Рот заткнули... пойду взгляну...

Шум в квартире Костылевых стихает, удаляясь, должно быть, в сени из комнаты. Слышен крик старика: «Стой!» Громко хлопает дверь, и этот звук, как топором, обрубает весь шум. На сцене — тихо. Вечерний сумрак.

Клещ *(безучастно сидит на дровнях, крепко потирает руки. Потом начинает что-то бормотать, сначала — невнятно, далее —)* Как же?.. Надо жить... *(Громко.)* Пристанище надо... ну? Нет пристанища... ничего нет! Один человек... один, весь тут... Помощи нет... *(Медленно, согнувшись, уходит.)*

Несколько секунд зловещей тишины. Потом — где-то в проходе рождается смутный шум, хаос звуков. Он растет, приближается. Слышны отдельные голоса.

Василиса. Я ей — сестра! Пусти...

Костылев. Какое ты имеешь право?

Василиса. Каторжник...

Сатин. Ваську зови!.. скорее... Зоб — бей его!

Полицейский свисток.

Татарин *(выбегает. Правая рука у него на перевязи)*. Какой-такой закон есть — днем убивать?

Кривой Зоб *(за ним Медведев)*. Эх, и дал я ему разочек!

Медведев. Ты — как можешь драться?

Татарин. А ты? Твоя какая обязанность?

Медведев *(гонится за крючником)*. Стой! Отдай свисток...

Костылев *(выбегает)*. Абрам! Хватай... бери его! Убил...

Из-за угла выходят Квашня и Настя — они ведут под руки Наташу, растрепанную. Сатин пятится задом, отталкивая Василису, которая, размахивая руками, пытается ударить сестру. Около нее прыгает как бесноватый Алешка, свистит ей в уши, кричит, воет. Потом еще несколько оборванных фигур мужчин и женщин.

Сатин *(Василисе)*. Куда? Сова, проклятая...

Василиса. Прочь, каторжник! Жизни решусь, а — растерзаю...

Квашня *(отводя Наташу)*. А ты, Карповна, полно... постыдись! Что зверствуешь?

Медведев *(хватает Сатина)*. Ага... попал!

Сатин. Зоб! Лупи их!.. Васька... Васька!

Все сталкиваются в кучу около прохода, у красной стены. Наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева.

Пепел *(выскочив из проулка, он молча сильными движениями расталкивает всех)*. Где — Наталья? Ты...

Костылев *(скрываясь за углом)*. Абрам! Хватай Ваську... братцы — помогите Ваську взять! Вора... грабителя...

Пепел. А ты... блудня старая! *(Сильно размахнувшись, бьет старика.)*

Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе.

Василиса. Бейте Ваську! Голубчики... бейте вора!

Медведев *(кричит Сатину)*. Не можешь... тут — дело семейное! Они — родные... а ты кто?

Пепел. Как... чем она тебя? Ножом?

Квашня. Гляди-ко, звери какие. Кипятком ноги девке сварили...

Настя. Самовар опрокинули...

Татарин. Может — нечаянно... надо — верно знать... нельзя зря говорить...

Наташа *(почти в обмороке)*. Василий... возьми меня... схорони меня...

Василиса. Батюшки! Глядите-ка... смотрите-ка... помер! Убили...

Все толпятся у прохода, около Костылева. Из толпы выходит Бубнов, идет к Василию.

Бубнов *(негромко)*. Васька! Старик-то... того... готов!

Пепел *(смотрит на него, как бы не понимая)*. Иди... зови... в больницу надо... ну, я рассчитаюсь с ними!

Бубнов. Я говорю — старика-то кто-то уложил...

Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою. Раздаются отдельные возгласы вполголоса: «Неужто?», «Вот те раз!», «Ну-у?», «Уйдем-ка, брат!», «Ах, черт!», «Теперь — держись!», «Айда прочь, покуда полиции нет!» Толпа становится меньше. Уходят Бубнов, Татарин. Настя и Квашня бросаются к трупу Костылева.

Василиса *(поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом)*. Убили! Мужа моего... вот кто убил! Васька убил! Я — видела! Голубчики — я видела! Что — Вася? Полиция!

Пепел *(отходит от Наташи)*. Пусти... прочь! *(Смотрит на старика. Василисе.)* Ну? рада? *(Трогает труп ногой.)* Околел... старый пес! По-твоему вышло... А... не прихлопнуть ли и тебя? *(Бросается на нее.)*

Сатин и Кривой Зоб быстро хватают его. Василиса — скрывается в проулке.

Сатин. Опомнись!

Кривой Зоб. Тпруу! Куда скачешь?

Василиса *(появляясь)*. Что, Вася, мил друг? От судьбы — не уйдешь... Полиция! Абрам... свисти!

Медведев. Свисток сорвали, дьяволы...

Алешка. Вот он! *(Свистит.)*

Медведев бежит за ним.

Сатин *(отводя Пепла к Наташе)*. Васька — не трусь! Убийство в драке... пустяки! Это — недорого стоит...

Василиса. Держите Ваську! Он убил... я видела!

Сатин. Я тоже раза три ударил старика... Много ли ему надо! Зови меня в свидетели, Васька...

Пепел. Мне... оправдываться не надо... Мне — Василису надо подвести... я же ее подведу! Она этого хотела... Она меня подговаривала мужа убить... подговаривала!..

Наташа *(вдруг громко)*. А-а... я поняла!.. Так, Василий?! Добрые люди! Они — заодно! Сестра моя и — он... они заодно! Они все это подстроили! Так, Василий?.. Ты... для того со мной давеча говорил... чтобы она все слышала? Люди добрые! Она — его любовница... вы — знаете... это — все знают... они — заодно! Она... это она его подговорила мужа убить... муж им мешал... и я — мешала... Вот — изувечили меня...

Пепел. Наталья! Что ты... что ты?!

Сатин. Вот так... черт!

Василиса. Врешь! Врет она... я... он, Васька, убил!

Наташа. Они — заодно! Будь вы прокляты! Вы оба...

Сатин. Н-ну, игра!.. Держись, Василий! Утопят они тебя...

Кривой Зоб. Понять невозможно!.. Ах ты... дела!

Пепел. Наталья! Неужто ты... вправду? Неужто веришь, что я... с ней...

Сатин. Ей-богу, Наташа, ты... сообрази!

Василиса *(в проулке)*. Убили мужа моего... ваше благородие... Васька Пепел, вор... он убил... господин пристав! Я — видела... все видели...

Наташа *(мечется почти в беспамятстве)*. Люди добрые... сестра моя и Васька убили! Полиция — слушай... вот эта, сестра моя, научила... уговорила... своего любовника... вот он, проклятый! — они убили! Берите их... судите... Возьмите и меня... в тюрьму меня! Христа ради... в тюрьму меня!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка первого акта. Но комнаты Пепла — нет, переборки сломаны. И на месте, где сидел Клещ,— нет наковальни. В углу, где была комната Пепла, лежит Татарин, возится и стонет изредка. За столом сидит Клещ; он чинит гармонию, порою пробуя лады. На другом конце стола — Сатин, Барон и Настя. Пред ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть черного хлеба. На печи возится и кашляет Актер. Ночь. Сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. На дворе — ветер.

Клещ. Д-да... он во время суматохи этой и пропал...

Барон. Исчез от полиции... яко дым от лица огня...

Сатин. Тако исчезают грешники от лица праведных!

Настя. Хороший был старичок!.. А вы... не люди... вы — ржавчина!

Барон *(пьет)*. За ваше здоровье, леди!

Сатин. Любопытный старикан... да! Вот Настёнка — влюбилась в него...

Настя. И влюбилась... и полюбила! Верно! Он — все видел... все понимал...

Сатин *(смеясь)*. И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых...

Барон *(смеясь)*. Как пластырь для нарывов...

Клещ. Он... жалостливый был... у вас вот... жалости нет...

Сатин. Какая польза тебе, если я тебя пожалею?..

Клещ. Ты — можешь... не то, что пожалеть можешь... ты умеешь не обижать...

Татарин *(садится на нарах и качает свою больную руку,*

как ребенка). Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет — хорош! Кто закон терял — пропал!..

Барон. Какой закон, князь?

Татарин. Такой... Разный... Знаешь какой...

Барон. Дальше!

Татарин. Не обижай человека — вот закон!

Сатин. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

Барон. И еще — «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»...

Татарин. Коран называет... ваш коран должна быть закон... Душа — должен быть коран... да!

Клещ *(пробуя гармонию).* Шипит, дьявол!.. А князь верно говорит... надо жить — по закону... по евангелию...

Сатин. Живи...

Барон. Попробуй...

Татарин. Магомет дал коран, сказал: «Вот — закон! Делай, как написано тут!» Потом придет время — коран будет мало... время даст свой закон, новый... Всякое время дает свой закон...

Сатин. Ну да... пришло время и дало «Уложение о наказаниях»... Крепкий закон... не скоро износишь!

Настя *(ударяет стаканом по столу).* И чего... зачем я живу здесь... с вами? Уйду... пойду куда-нибудь... на край света!

Барон. Без башмаков, леди?

Настя. Голая! На четвереньках поползу!

Барон. Это будет картинно, леди... если на четвереньках...

Настя. Да, и поползу! Только бы мне не видеть твоей рожи... ах, опротивело мне все! Вся жизнь... все люди!..

Сатин. Пойдешь — так захвати с собой Актера... Он туда же собирается... ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов...

Актер *(высовываясь из печи).* Орга-ни-змо-в, дурак!

Сатин. Для органонов, отравленных алкоголем...

Актер. Да! Он — уйдет! Он уйдет... увидите!

Барон. Кто — он, сэр?

Актер. Я!

Барон. Мерси, служитель богини... как ее? Богиня драм, трагедии... как ее звали?

Актер. Муза, болван! Не богиня, а — муза!

Сатин. Лахеза... Гера... Афродита... Атропа... черт их разберет! Это все старик... навинтил Актера... понимаешь, Барон?

Барон. Старик — глуп...

Актер. Невежды! Дикари! Мель-по-ме-на! Люди без сердца! Вы увидите — он уйдет! «Обжирайтесь, мрачные умы»... сти-

хотворение Беранжера... да! Он — найдет себе место... где нет... нет...

Барон. Ничего нет, сэр?

Актер. Да! Ничего! «Яма эта... будет мне могилой... умираю, немощный и хилый!» Зачем вы живете? Зачем?

Барон. Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори!

Актер. Врешь! Буду орать!

Настя *(поднимая голову со стола, взмахивает руками)*. Кричи! Пусть слушают!

Барон. Какой смысл, леди?

Сатин. Оставь их, Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе головы... пускай! Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это он, старая дрожжа, прокваснл нам сожителей...

Клещ. Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал...

Барон. Старик — шарлатан...

Настя. Врешь! Ты сам — шарлатан!

Барон. Цыц, леди!

Клещ. Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал... так и надо! Верно — какая тут правда? И без нее — дышать нечем... Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда!

Сатин *(ударяя кулаком по столу)*. Молчать! Вы — все — скоты! Дубье... молчать о старике! *(Спокойнее.)* Ты, Барон,— всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками,— тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!

Барон. Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

Сатин. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. Он...

подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем, за его здоровье! Наливай...

Настя наливает стакан пива и дает Сатину.

(Усмехаясь.) Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: «Дед! зачем живут люди?»... *(Стараясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.)* «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля,— всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!»

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары.

«Все милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» *(Смеется тихо.)*

Пауза.

Б а р о н *(задумчиво)*. Мм-да... для лучшего? Это... напоминает наше семейство... Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались всё выше... При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... богатство... сотни крепостных... лошади... повара...

Н а с т я. Врешь! Не было этого!

Б а р о н *(вскакивая)*. Что-о? Н-ну... дальше?!

Н а с т я. Не было этого!

Б а р о н *(кричит)*. Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами!

Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой.

Н а с т я. Не было!

Б а р о н. Цыц! Я говорю... десятки лакеев!..

Н а с т я *(с наслаждением)*. Н-не было!

Б а р о н. Убью!

Н а с т я *(приготовляясь бежать)*. Не было карет!

С а т и н. Брось, Настёнка! Не зли его...

Б а р о н. Подожди... ты, дрянь! Дед мой...

Н а с т я. Не было деда! Ничего не было!

Сатин хохочет.

Б а р о н *(усталый от гнева, садится на скамью)*. Сатин, скажи ей... шлюхе... ты — тоже смеешься? Ты... тоже — не веришь? *(Кричит с отчаяньем, ударяя кулаками по столу.)* Было, черт вас возьми!

Н а с т я *(торжествуя)*. А-а, взвыл? Понял, каково человеку, когда ему не верят?

К л е щ *(возвращаясь к столу)*. Я думал — драка будет...

Т а т а р и н. А-ах, глупы люди! Очень плохо!

Б а р о н. Я... не могу позволить издеваться надо мной! У меня — доказательства есть... документы, дьявол!

С а т и н. Брось их! И забудь о каретах дедушки... в карете прошлого — никуда не уедешь...

Б а р о н. Как она смеет, однако!

Н а с т я. Ска-ажите! Как смею!..

С а т и н. Видишь — смеет! Чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом, уж наверное, не было не только карет и — дедушки, а даже отца с матерью...

Б а р о н *(успокаиваясь)*. Черт тебя возьми... ты... умеешь рассуждать спокойно... А у меня... кажется, нет характера...

С а т и н. Заведи. Вещь — полезная...

Пауза.

Настя! Ты ходишь в больницу?

Н а с т я. Зачем?

С а т и н. К Наташе?

Н а с т я. Хватился! Она — давно вышла... вышла и — пропала! Нигде ее нет...

С а т и н. Значит — вся вышла...

К л е щ. Интересно — кто кого крепче всадит? Васька — Василису, или она его?

Н а с т я. Василиса — вывернется! Она — хитрая. А Ваську — в каторгу пошлют...

С а т и н. За убийство в драке — только тюрьма...

Н а с т я. Жаль. В каторгу — лучше бы... Всех бы вас... в каторгу... смести бы вас, как сор... куда-нибудь в яму!

С а т и н *(удивленно)*. Что ты? Сбесилась?

Б а р о н. Вот я ей в ухо дам... за дерзости!

Н а с т я. Попробуй! Тронь!

Б а р о н. Я — попробую!

С а т и н. Брось! Не тронь... не обижай человека! У меня из головы вон не идет... этот старик! *(Хохочет.)* Не обижай человека!.. А если меня однажды обидели и — на всю жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому...

Б а р о н *(Насте)*. Ты должна понимать, что я — не чета тебе! Ты... мразь!

Н а с т я. Ах ты несчастный! Ведь ты... ты мной живешь, как червь — яблоком!

Дружный взрыв хохота мужчин.

К л е щ. Ах... дура! Яблочко!

Б а р о н. Нельзя... сердиться... вот идиотка!

Н а с т я. Смеетесь? Врете! Вам — не смешно!

А к т е р *(мрачно)*. Катай их!

Н а с т я. Кабы я... могла! я бы вас *(берет со стола чашку и бросает на пол)* — вот как!

Т а т а р и н. Зачем посуда бить? Э-э... болванка!..

Б а р о н *(вставая)*. Нет, я ее сейчас... научу манерам!

Н а с т я *(убегая)*. Черт вас возьми!

С а т и н *(вслед ей)*. Эй! Полно! Кого ты пугаешь? В чем дело, наконец?

Н а с т я. Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки!

А к т е р *(мрачно)*. Аминь!

Т а т а р и н. У-у! Злой баба — русский баба! Дерзкий... вольна! Татарка — нет! Татарка — закон знает!

К л е щ. Трепку ей надо дать...

Б а р о н. М-мерзавка!

К л е щ *(пробуя гармонию)*. Готова! А хозяина ее — все нет... Горит парнишка...

С а т и н. Теперь — выпей!

К л е щ. Спасибо! Да и на боковую пора...

С а т и н. Привыкаешь к нам?

К л е щ *(выпив, отходит в угол к нарам)*. Ничего... Везде — люди... Сначала — не видишь этого... потом — поглядишь, окажется, все люди... ничего!

Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и — молится.

Б а р о н *(указывая Сатину на Татарина)*. Гляди!

С а т и н Оставь! Он — хороший парень... не мешай! *(Хохочет.)* Я сегодня — добрый... черт знает почему!..

Б а р о н. Ты всегда добрый, когда выпьешь... И умный...

С а т и н. Когда я пьян... мне все нравится. Н-да... Он —

молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! *(Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.)* Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон! *(Встает.)* Хорошо это... чувствовать себя человеком!.. Я — арестант, убийца, шулер... ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на жулика... и сторонятся и оглядываются... и часто говорят мне — «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? *(Хохочет.)* Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!..

Б а р о н *(качая головой)*. Ты — рассуждаешь... Это — хорошо... это, должно быть, греет сердце... У меня — нет этого... я — не умею! *(Оглядывается и — тихо, осторожно.)* Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу... Потому — что же дальше?

С а т и н *(уходит)*. Пустяки! Кого бояться человеку?

Б а р о н. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем? Не понимаю! Учился — носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню... Женился — одел фрак, потом — халат... а жену взял скверную и — зачем? Не понимаю... Прожил все, что было,— носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки... а как разорился? Не заметил... Служил в казенной палате... мундир, фуражка с кокардой... растратил казенные деньги,— надели на меня арестантский халат... потом — одел вот это... И всё... как во сне... а? Это... смешно?

С а т и н. Не очень... скорее — глупо...

Б а р о н. Да... и я думаю, что глупо... А... ведь зачем-нибудь я родился... а?

С а т и н *(смеясь)*. Вероятно... Человек рождается для лучшего! *(Кивая головой.)* Так... хорошо!

Б а р о н. Эта... Настька!.. Убежала... куда? Пойду, посмотрю... где она? Все-таки... она... *(Уходит.)*

Пауза.

А к т е р. Татарин!

Пауза.

Князь!

Татарин поворачивает голову.

За меня... помолись...

Т а т а р и н. Чего?

А к т е р *(тише)*. Помолись... за меня!..

Т а т а р и н *(помолчав)*. Сам молись...

А к т е р *(быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и — почти бежит — в сени)*. Ушел!

С а т и н. Эй ты, сикамбр! Куда? *(Свистит.)*

Входят — М е д в е д е в в женской ватной кофте и Б у б н о в; оба — выпивши, но не очень. В одной руке Бубнова — связка кренделей, в другой — несколько штук воблы, под мышкой — бутылка водки, в кармане пиджака — другая.

М е д в е д е в. Верблюд — он вроде... осла! Только без ушей...

Б у б н о в. Брось! Ты сам — вроде осла.

М е д в е д е в. Ушей вовсе нет у верблюда... он — ноздрей слышит...

Б у б н о в *(Сатину)*. Друг! Я тебя искал по всем трактирам-кабакам! Возьми бутылку, у меня все руки заняты!

С а т и н. А ты — положи кренделя на стол — одна рука освободится...

Б у б н о в. Верно! Ах ты... Бутарь, гляди! Вот он, а? Умница!

М е д в е д е в. Жулики — все умные... я знаю! Им без ума — невозможно. Хороший человек, он — и глупый хорош, а плохой — обязательно должен иметь ум. Но насчет верблюда, ты — неверно... он — животная ездовая... рогов у него нет... и зубов нет...

Б у б н о в. Где — народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай... я — угощаю! Кто в углу?

С а т и н. Скоро ты пропьешься? Чучело!

Б у б н о в. Я — скоро! В этот раз капитал я накопил — коротенький... Зоб! Где Зоб?

К л е щ *(подходя к столу)*. Нет его...

Б у б н о в. У-у-ррр! Барбос! Бррю, брлю, брлю! Индюк! Не лай, не ворчи! Пей, гуляй, нос не вешай... Я — всех угощаю! Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу! С музыкой и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу! Бедняк-человек...

айда ко мне в бесплатный трактир! Сатин! Я бы... тебя бы... бери половину всех моих капиталов! Вот как!

Сатин. Ты мне сейчас отдай все...

Бубнов. Весь капитал? Сейчас? На! Вот — рубль... вот еще... двугривенный... пятаки... семишники... все!

Сатин. Ну и ладно! У меня — целее будет... Сыграю я на них...

Медведев. Я — свидетель... отданы деньги на сохранение... числом — сколько?

Бубнов. Ты? Ты — верблюд... Нам свидетелей не надо...

Алешка *(входит босый)*. Братцы! Я ноги промочил!

Бубнов. Иди — промочи горло... Только и всего! Милый ты... поёшь ты и играешь, очень это хорошо! А — пьешь — напрасно! Это, брат, вредно... пить — вредно!..

Алешка. По тебе вижу! Ты — только пьяный и похож на человека... Клещ! Гармошку — починил? *(Поет, приплясывая.)*

Эх, кабы мое рыло
Не красиво было —
Так меня бы кума моя
Вовсе не любила!

Озяб я, братцы! Х-холодно!

Медведев. Мм... а если спросить — кто такая кума?

Бубнов. Отстань! Ты, брат, теперь — тю-тю! Ты уж не бутошник.... кончено! И не бутошник, и не дядя...

Алешка. А просто — теткин муж!

Бубнов. Одна твоя племянница — в тюрьме, другая — помирает...

Медведев *(гордо)*. Врешь! Она — не помирает, она у меня без вести пропала!

Сатин хохочет.

Бубнов. Все равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!

Алешка. Ваше превосходительство! Отставной козы барабанщик!

У кумы — есть деньги,
У меня — ни гроша!
Зато я веселый мальчик,
Зато я хороший!

Холодно!

Входит Зоб; потом — до конца акта — еще несколько фигур мужчин и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат.

К р и в о й З о б. Бубнов! Ты чего сбежал?

Б у б н о в. Иди сюда! Садись... запоем мы, брат! Любимую мою... а?

Т а т а р и н. Ночь — спать надо! Песня петь днем надо!

С а т и н. Ну, ничего, князь! Ты — иди сюда!

Т а т а р и н. Как — ничего? Шум будет... когда песня поют, шум бывает...

Б у б н о в *(идя к нему)*. Князь! Что — рука? Отрезали тебе руку?

Т а т а р и н. Зачем? Погодим... может — не надо резать.... Рука — не железный, резать — недолго...

К р и в о й З о б. Яман твое дело, Асанка! Без руки ты — никуда не годишься! Наш брат по рукам да по спине ценится... Нет руки — и человека нет! Табак твое дело!.. Иди водку пить... больше никаких!

К в а ш н я *(входит)*. Ах, жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то! Холод, слякоть... Бутошник мой здесь? Бутарь!

М е д в е д е в. Я!

К в а ш н я. Опять мою кофту таскаешь? И как будто ты... немножко того, а? Ты что же это?

М е д в е д е в. По случаю именин... Бубнов... и — холодно... слякоть!

К в а ш н я. Ты гляди у меня... слякоть! Не балуй... Идика спать...

М е д в е д е в *(уходит в кухню)*. Спать — я могу... я хочу... пора!

С а т и н. Ты чего... больно строга с ним?

К в а ш н я. Нельзя, дружок, иначе. Подобного мужчину надо в строгости держать. Я его в сожители взяла,— думала, польза мне от него будет... как он — человек военный, а вы — люди буйные... мое же дело — бабье... А он — пить! Это мне ни к чему!

С а т и н. Плохо ты выбрала помощника...

К в а ш н я. Нет — лучше-то... Ты со мной жить не захочешь... ты вон какой! А и станешь жить со мной — не больше недели сроку... проиграешь меня в карты со всей моей требухой!

С а т и н *(хохочет)*. Это верно, хозяйка! Проиграю...

К в а ш н я. То-то! Алешка!

А л е ш к а. Вот он — я!

К в а ш н я. Ты — что про меня болтаешь?

А л е ш к а. Я? Все! Все, по совести. Вот, говорю, баба! Удивительная! Мяса, жиру, кости — десять пудов, а мозгу — золотняка нету!

К в а ш н я. Ну, это ты врешь! Мозг у меня даже очень есть... Нет, ты зачем говоришь, что я бутошника моего бью?

А л е ш к а. Я думал, ты его била, когда за волосы таскала...

К в а ш н я *(смеясь)*. Дурак! А ты — будто не видишь. Зачем сор из избы выносить?.. И, опять же, обидно ему... Он от твоего разговору пить начал...

А л е ш к а. Стало быть, правду говорят, что и курица пьет!

Сатин, Клещ — хохочут.

К в а ш н я. У, зубоскал! И что ты за человек, Алешка?

А л е ш к а. Самый первый сорт человек! На все руки! Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет!

Б у б н о в *(около нар Татарина)*. Идет! Все равно — спать не дадим! Петь будем... всю ночь! Зоб!

К р и в о й Зоб. Петь? Можно...

А л е ш к а. А я — подыграю!

С а т и н. Послушаем!

Т а т а р и н *(улыбаясь)*. Ну, шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришол — помирать будим!

Б у б н о в. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я — выпил и — рад! Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою... заплачу!..

К р и в о й З о б *(запевает)*.

Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

Б у б н о в *(подхватывая)*.

А а в тюрьме моей темно-о!

Дверь быстро отворяется.

Б а р о н *(стоя на пороге, кричит)*. Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!

Молчание. Все смотрят на Барона. Из-за его спины появляется Н а с т я и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.

С а т и н *(негромко)*. Эх... испортил песню... дур-рак!

З а н а в е с

1902

ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ

СЦЕНЫ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Егор Булычов.
Ксения — его жена.
Варвара — дочь от Ксении.
Александра — побочная дочь.
Мелания — игуменья, сестра жены.
Звонцов — муж Варвары.
Тятин — его двоюродный брат.
Мокей Башкин.
Василий Достигаев.
Елизавета — жена его.
Антонина, Алексей } дети от первой жены.
Павлин — поп.
Доктор.
Трубач.
Зобунова — знахарка.
Пропотей — блаженный.
Глафира — горничная.
Таисья — служанка Мелании.
Мокроусов — полицейский.
Яков Лаптев — крестник Булычова.
Донат — лесник.

ПЕРВЫЙ АКТ

Столовая в богатом купеческом доме. Тяжелая громоздкая мебель. Широкий кожаный диван, рядом с ним — лестница во второй этаж. В правом углу фонарь, выход в сад. Яркий зимний день. К с е н и я, сидя у стола, моет чайную посуду. Г л а ф и р а, в фонаре, возится с цветами. Входит А л е к с а н д р а, в халате, в туфлях на босую ногу, непричесанная, волосы рыжие, как и у Егора Булычова.

К с е н и я. Ох, Шурка, спишь ты...

Ш у р а. Не шипите, не поможет. Глаша — кофе! А где газета?

Г л а ф и р а. Варваре Егоровне наверх подала.

Ш у р а. Принеси. На весь дом одну газету выписывают, черти!

К с е н и я. Это кто — черти?

Ш у р а. Папа дома?

К с е н и я. К раненым поехал. Черти-то — Звонцовы?

Ш у р а. Да, они. *(У телефона.)* Семнадцать — шестьдесят три.

К с е н и я. Вот я скажу Звонцовым-то, как ты их честишь!

Ш у р а. Позовите Тоню!

К с е н и я. До чего ты дойдешь?

Ш у р а. Это ты, Антонина? На лыжах едем? Нет? Почему? Спектакль? Откажись! Эх ты,— незаконная вдова!.. Ну, хорошо.

К с е н и я. Как же это ты девушку-то вдовой зовешь?

Ш у р а. Жених у нее помер или нет?

К с е н и я. Все-таки она — девушка.

Ш у р а. А вы почему знаете?

К с е н и я. Фу, бесстыдница!

Г л а ф и р а *(подает кофе)*. Газету Варвара Егоровна сама принесет.

К с е н и я. Больно много ты знаешь для твоих лет. Гляди: меньше знаешь — крепче спишь. Я в твои годы ничего не знала...

Ш у р а. Вы и теперь...

К с е н и я. Тьфу тебе!

Ш у р а. Вот сестрица шествует важно. Бонжур, мадам! Комман са ва?[1]

В а р в а р а. Уже одиннадцать, а ты не одета, не причесана...

Ш у р а. Начинается.

В а р в а р а. Ты все более нахально пользуешься тем, что отец балует тебя... и что он нездоров...

Ш у р а. Это ты — надолго?

К с е н и я. А что ей отцово здоровье?

В а р в а р а. Я должна буду рассказать ему о твоем поведении...

Ш у р а. Заранее благодарна. Кончилось?

В а р в а р а. Ты — дура!

Ш у р а. Не верю! Это не я — дура.

В а р в а р а. Рыжая дура!

Ш у р а. Варвара Егоровна, вы совершенно бесполезно тратите энергию.

К с е н и я. Вот и учи ее!

Ш у р а. И у вас портится характер.

В а р в а р а. Хорошо... хорошо, милая! Мамаша, пойдемте-ка в кухню, там повар капризничает...

К с е н и я. Он — не в себе, у него сына убили.

В а р в а р а. Ну, это не резон для капризов. Теперь столько убивают...

Ушли.

Ш у р а. А если бы у нее красавца Андрюшу ухлопали, вот бы взвилась!

Г л а ф и р а. Зря вы дразните их. Пейте скорее, мне здесь убирать надо. *(Ушла, унося самовар.)*

Шура сидит, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, руки — на затылке рыжей, лохматой головы.

З в о н ц о в *(с лестницы, в туфлях, подкрался к ней, обнял сзади)*. О чем замечталась, рыжая коза?

Ш у р а *(не открывая глаз, не шевелясь)*. Не трогайте меня.

З в о н ц о в. Почему? Ведь тебе приятно? Скажи — да? Приятно?

Ш у р а. Нет.

З в о н ц о в. Почему?

---

[1] Как дела? (*франц.* Comment ça va?)

Ш у р а. Оставьте. Вы — притворяетесь. Я вам не нравлюсь.

З в о н ц о в. А хочешь нравиться, да?

На лестнице — В а р в а р а.

Ш у р а. Если Варвара узнает...

З в о н ц о в. Тише... *(Отошел, говорит поучительно.)* Н-да... Следует взять себя в руки. Надобно учиться...

В а р в а р а. Она предпочитает говорить дерзости и пускать мыльные пузыри с Антониной...

Ш у р а. Ну и пускаю. Люблю пускать пузыри. Что тебе — мыла жалко?

В а р в а р а. Мне жалко — тебя. Я не знаю — как ты будешь жить? Из гимназии тебя попросили удалиться...

Ш у р а. Неправда.

В а р в а р а. Твоя подруга — полоумная.

З в о н ц о в. Она хочет музыке учиться.

В а р в а р а. Кто?

З в о н ц о в. Шура.

Ш у р а. Неправда. Я не хочу учиться музыке.

В а р в а р а. Откуда же ты это взял?

З в о н ц о в. Разве ты, Шура, не говорила, что хочешь?

Ш у р а *(уходя)*. Никогда не говорила.

З в о н ц о в. Гм... Странно. Не сам же я выдумал это! Ты, Варя, очень сердито с ней...

В а р в а р а. А ты слишком ласков.

З в о н ц о в. Что значит — слишком? Ты же знаешь мой план...

В а р в а р а. План — это план, но мне кажется, что ты подозрительно ласков.

З в о н ц о в. Глупости у тебя в голове...

В а р в а р а. Да? Глупости?

З в о н ц о в. Сообрази сама: уместны ли в такое серьезнейшее время сцены ревности?

В а р в а р а. Ты зачем сюда спустился?

З в о н ц о в. Я? Тут... объявление одно в газете. И лесник приехал, говорит: мужики медведя обложили.

В а р в а р а. Донат — в кухне. Объявление — о чем?

З в о н ц о в. Это, наконец, возмутительно! Как ты говоришь со мной? Что я — мальчишка? Черт знает...

В а р в а р а. Не кипятись! Кажется — отец приехал. А ты в таком виде.

Звонцов поспешно идет вверх, Варвара — встречать отца. Ш у р а в зеленой теплой кофте и в зеленом колпаке бежит к телефону, ее перехватил и молча прижал к себе Б у л ы ч о в, за ним идет п о п П а в л и н, в лиловой рясе.

Б у л ы ч о в *(сел к столу, обняв Шуру за талию, она гладит его медные, с проседью, волосы)*. Народа перепортили столько, что страшно глядеть...

П а в л и н. Цветете, Шурочка? Простите, не поздоровался...

Ш у р а. Это я должна была сделать, отец Павлин, но папа схватил меня, как медведь...

Б у л ы ч о в. Стой! Шурка, смирно! Куда теперь этот народ? А бесполезных людей у нас и до войны многовато было. Зря влезли в эту войну...

П а в л и н *(вздохнув)*. Соображения высшей власти...

Б у л ы ч о в. С японцами тоже плохо сообразили, и получился всемирный стыд...

П а в л и н. Однако войны не токмо разоряют, но и обогащают как опытом, так равно и...

Б у л ы ч о в. Одни — воюют, другие — воруют.

П а в л и н. К тому же ничто в мире не совершается помимо воли божией, и — что значит ропот наш?

Б у л ы ч о в. Ты, Павлин Савельев, брось проповеди... Шурок, ты на лыжах бежать собралась?

Ш у р а. Да, Антонину жду.

Б у л ы ч о в. Ну... ладно! Не уйдешь, так я тебя — минут через пяток — позову.

Шура убежала.

П а в л и н. Выровнялась как отроковица...

Б у л ы ч о в. Телом — хороша, ловкая, а лицом — не удалась. Мать у нее некрасива была. Умная, как черт, а некрасива.

П а в л и н. Лицо у Александры Егоровны... своеобразное... и... не лишено привлекательности. Родительница — откуда родом?

Б у л ы ч о в. Сибирячка. Ты говоришь — высшая власть... от бога... и все такое, ну а Дума то — как? Откуда?

П а в л и н. Дума, это... так сказать — допущение самой власти к умалению ее. Многие полагают, что даже — роковая ошибка, но священно-церковно-служителю не подобает входить в рассуждение о сих материях. К тому же в наши дни на духовенство возложена обязанность воспламенять дух бодрости... и углублять любовь к престолу, к отечеству...

Б у л ы ч о в. Воспламенили дух да в лужу и — бух...

П а в л и н. Как известно вам — убедил я старосту храма моего расширить хор певчих, а также беседовал с генералом Бетлингом о пожертвовании на колокол новостроящегося храма во имя небесного предстателя вашего, Егория...

Б у л ы ч о в. Не дал на колокол?

Павлин. Отказал и даже неприятно пошутил: «Медь говорит, даже в полковых оркестрах — не люблю!» Вот вам бы на колокол-то хорошо пожертвовать по причине вашего недомогания?

Булычов *(вставая)*. Колокольным звоном болезни не лечат.

Павлин. Как знать? Науке причины болезней неведомы. В некоторых санаториях иностранных музыкой лечат, слышал я. Тоже и у нас существует пожарный, он игрой на трубе пользует...

Булычов *(усмехаясь)*. На какой трубе?

Павлин. На медной. Говорят, весьма большая труба!

Булычов. Ну, если — большая... Вылечивает?

Павлин. Будто бы успешно! Все может быть, высокопочтеннейший Егор Васильевич! Все может быть. В тайнах живем, во мраке многочисленных и неразрешимых тайн. Кажется нам, что — светло и свет сей исходит от разума нашего, а ведь светло-то лишь для телесного зрения, дух же, может быть, разумом только затемняется и даже — угашается.

Булычов *(вздыхая)*. Эко слов-то у тебя сколько...

Павлин *(все более воодушевленно)*. Возьмите, примерно, блаженного Прокопия, в какой радости живет сей муж, дурачком именуемый невегласами...

Булычов. Ну, ты опять, тово... проповедуешь! Прощай-ко. Устал я.

Павлин. Сердечно желаю доброго здоровья. Молитвенник ваш... *(Уходит.)*

Булычов *(щупая правый бок, подошел к дивану, ворчит)*. Боров. Нажрался тела-крови Христовой... Глафира!.. Эй...

Варвара. Вы что?

Булычов. Ничего. Глафиру звал. Эк ты вырядилась! Куда это?

Варвара. На спектакль для выздоравливающих...

Булычов. И стеклышки на носу? Врешь, что глаза требуют, для моды носишь...

Варвара. Папаша, вы бы поговорили с Александрой, она ведет себя отчаянно, становится совершенно невыносимой.

Булычов. Все вы — хороши! Иди! *(Бормочет.)* Невыносимы. Вот я... выздоровлю, я вас... вынесу!

Глафира. Звали?

Булычов. Звал. Эх, Глаха, до чего ты хороша! Здоровая! Каленая! А Варвара у меня — выдра!

Глафира *(заглядывая на лестницу)*. Ее счастье. Будь она красивой, вы бы и ее на постелю себе втащили.

Булычов. Дочь-то? Опомнись, дура! Что говоришь?

Г л а ф и р а. Я знаю — что! Шуру-то тискаете, как чужую... как солдат!

Б у л ы ч о в *(изумлен)*. Да ты, Глафира, рехнулась! Ты что: к дочери ревнуешь? Ты о Шурке не смей эдак думать. Как солдат... Как чужую! А ты бывала у солдат в руках? Ну?

Г л а ф и р а. Не к месту... не ко времени разговоры эти. Зачем звали?

Б у л ы ч о в. Доната пошли. Стой! Дай-ко руку. Любишь все-таки? И хворого?

Г л а ф и р а *(припадая к нему)*. Горе ты мое... Да — не хворай ты! Не хворай... *(Оторвалась, убежала.)*

Булычов хмуро улыбается, облизывает губы. Качает головой. Лег.

Д о н а т. Доброго здоровья, Егор Васильевич!

Б у л ы ч о в. Спасибо. С чем прибыл?

Д о н а т. С хорошим: медведя обложили.

Б у л ы ч о в *(вздохнув)*. Ну, это... для зависти, а не для радости. Мне теперь медведь — не забава. Лес-то рубят?

Д о н а т. Помаленьку. Людей нет.

Входит К с е н и я. Нарядная, руки в кольцах.

Б у л ы ч о в. Ты что?

К с е н и я. Ничего. Ты бы, Егорий, не соблазнялся медведем-то, куда уж тебе охотиться.

Б у л ы ч о в. Помолчи. Нет людей?

Д о н а т. Старики да мальчишки остались. Князю полсотни пленных дали, так они в лесу не могут работать.

Б у л ы ч о в. Они поди-ко с бабами работают.

Д о н а т. Это — есть.

Б у л ы ч о в. Да... Баба теперь голодная.

К с е н и я. Слышно — большой разврат пошел по деревням...

Д о н а т. Почему разврат, Аксинья Яковлевна? Мужиков — перебили, детей-то надобно родить? Выходит так: кто перебил, тот и народи...

Б у л ы ч о в. Похоже...

К с е н и я. Ну уж, какие дети от пленных! Хотя, конечно, ежели мужчина здоровый...

Б у л ы ч о в. А баба — дура, так ему от этой бабы детей иметь неохота.

К с е н и я. У нас бабы — умные. А здоровых-то мужиков всех на войну угнали, дома остались одни... адвокаты.

Б у л ы ч о в. Народу перепорчено — много.

К с е н и я. Зато остальные богаче жить будут.

Б у л ы ч о в. Сообразила!

Д о н а т. Цари народом сыты не бывают.

Б у л ы ч о в. Как ты сказал?

Д о н а т. Не бывают, говорю, цари народом сыты. Своих кормить нечем, а все хотим еще чужих завоевать.

Б у л ы ч о в. Верно. Это — верно!

Д о н а т. Нельзя иначе понять — для какого смысла воюем? И вот бьют нас, за жадность.

Б у л ы ч о в. Правильно говоришь, Донат! Вот и Яков, крестник, тоже говорит: «Жадность всему горю начало». Он — как там?

Д о н а т. Он — ничего. Умный он у вас.

К с е н и я. Нашел умника! Дерзкий он, а не умный.

Д о н а т. От ума и дерзок, Аксинья Яковлевна. Он там, Егорий Васильевич, дезертиров подобрал человек десяток, поставил на работу, ничего — работают. А то они воровством баловались.

Б у л ы ч о в. Н-ну, это... Мокроусов узнает — скандалить начнет.

Д о н а т. Мокроусов — знает. Он даже рад. Ему — легче.

Б у л ы ч о в. Ну, смотри...

З в о н ц о в сходит сверху.

Д о н а т. Медведя, значит...

Б у л ы ч о в. Медведь — твое счастье.

З в о н ц о в. Разрешите предложить медведя Бетлингу! Вы знаете, он оказывает нам...

Б у л ы ч о в. Знаю, знаю! Предлагай. А то — архиерею предложи!

К с е н и я *(усмехаясь)*. Вот бы поглядеть, как архиерей в медведя стреляет.

Б у л ы ч о в. Ну, я устал. Прощай, Донат! А что-то нехорошо все, братец мой, а? Как я захворал, так и началось неладное...

Донат молча поклонился, уходит.

Аксинья, Шурку пошли мне. Ты чего мнешься, Андрей? Говори сразу!

З в о н ц о в. Я по поводу Лаптева...

Б у л ы ч о в. Ну?

З в о н ц о в. Мне стало известно, что он связался с... неблагонадежными людьми и на ярмарке в Копосове говорил мужикам противуправительственные речи.

Б у л ы ч о в. Брось! Ну какие теперь ярмарки? Какие мужики? И что вы все на Якова жалуетесь?

З в о н ц о в. Но ведь он как бы член нашей семьи...

Ш у р а вбегает.

Б у л ы ч о в. Как бы... Не очень-то вы его... своим считаете. Он вот и обедать по воскресеньям не приходит... Иди, Андрей... После расскажешь...

Ш у р а. На Якова ябедничал?

Б у л ы ч о в. Это — не твое дело. Сядь сюда. На тебя тоже все жалуются.

Ш у р а. Кто — все?

Б у л ы ч о в. Аксинья, Варвара...

Ш у р а. Это еще не все.

Б у л ы ч о в. Я серьезно говорю, Шуренок.

Ш у р а. Серьезно ты говоришь — не так.

Б у л ы ч о в. Дерзкая ты со всеми, ничего не делаешь...

Ш у р а. Если ничего не делаю, так в чем же дерзкая?

Б у л ы ч о в. Не слушаешь никого.

Ш у р а. Всех слушаю. Тошно слушать, рыжий!

Б у л ы ч о в. Сама — рыжая, хуже меня. Вот и со мной говоришь... неладно! Надобно тебя ругать, а не хочется.

Ш у р а. Не хочется, значит — не надо.

Б у л ы ч о в. Ишь ты! Не хочется — не надо. Эдак-то жить легко бы, да нельзя!

Ш у р а. А кто мешает?

Б у л ы ч о в. Всё... все мешают. Тебе этого не понять.

Ш у р а. А ты — научи, чтобы поняла, чтобы мне не мешали...

Б у л ы ч о в. Ну, этому... не научишь! Ты что, Аксинья? Что ты все бродишь, чего ищешь?

К с е н и я. Доктор приехал, и Башкин ждет. Лександра, оправь юбку, как ты сидишь?

Б у л ы ч о в *(встает)*. Ну, зови доктора. Лежать мне вредно, тяжелею от лежанья. Эх... Улепетывай, Шуренок! Ногу не вывихни, гляди!

Д о к т о р. Здравствуйте! Как мы себя чувствуем?

Б у л ы ч о в. Неважно. Плоховато лечишь, Нифонт Григорьевич.

Д о к т о р. Нуте-ко, пойдемте к вам...

Б у л ы ч о в *(идя рядом с ним)*. Ты давай мне самые злые, самые дорогие лекарства: мне, брат, обязательно выздороветь надо! Вылечишь — больницу построю, старшим будешь в ней, делай что хочешь...

Ушли. К с е н и я, Б а ш к и н.

К с е н и я. Что сказал, доктор-то?

Б а ш к и н. Рак, говорит, рак в печенке...

К с е н и я. Ух ты, господи! Что выдумают!

Б а ш к и н. Болезнь, говорит, опаєная.

К с е н и я. Ну конечно! Всякий свое дело самым трудным считает.

Б а ш к и н. Не вовремя захворал! Кругом деньги падают, как из худого кармана, нищие тысячниками становятся, а он...

К с е н и я. Да, да! Так богатеют люди, так богатеют!

Б а ш к и н. Достигаев до того растучнел, что весь незастегнутый ходит, а говорить может только тысячами. А у Егора Васильевича вроде затмения ума начинается. Намедни говорит: «Жил, говорит, я мимо настоящего дела». Что это значит?

К с е н и я. Ох, и я замечаю — нехорошо он говорит!

Б а ш к и н. А ведь он на твоем с сестрой капитале жить начал. Должен бы приумножать.

К с е н и я. Ошиблась я, Мокей, давно знаю — ошиблась. Вышла замуж за приказчика, да не за того. Кабы за тебя вышла — как спокойно жили бы! А он... Господи! Какой озорник! Чего я от него не терпела. Дочь прижил на стороне да посадил на мою шею. Зятя выбрал... из плохих — похуже. Боюсь я, Мокей Петрович, обойдут, облапошат меня зять с Варварой, пустят по миру...

Б а ш к и н. Все возможно. Война! На войне — ни стыда, ни жалости.

К с е н и я. Ты — старый наш слуга, тебя батюшка мой на ноги поставил, ты обо мне подумай...

Б а ш к и н. Я и думаю...

З в о н ц о в идет.

З в о н ц о в. Что, доктор — ушел?

К с е н и я. Там еще.

З в о н ц о в. Мокей Петрович, как — сукно?

Б а ш к и н. Не принимает Бетлинг.

З в о н ц о в. А сколько надобно дать ему?

Б а ш к и н. Тысяч... пяток, не меньше.

К с е н и я. Экий грабитель! А ведь старик!

З в о н ц о в. Через Жанну?

Б а ш к и н. Да уж как установлено.

К с е н и я. Пять тысяч! За что? А?

З в о н ц о в. Теперь деньги дешевы.

К с е н и я. В чужом-то кармане...

З в о н ц о в. Тесть согласен?

Б а ш к и н. Вот, я пришел узнать, согласен ли...

Доктор *(вышел — берет Звонцова под руку)*. Ну-с, вот что...

Ксения. Ох, порадуйте нас...

Доктор. Больной должен лежать возможно больше. Всякие дела, волнения, раздражения — крайне вредны для него. Покой и покой! Затем... *(Шепчет Звонцову.)*

Ксения. А мне почему нельзя сказать? Я — жена.

Доктор. О некоторых вещах с дамами говорить неудобно. *(Снова шепчет.)* Сегодня же вечером и устроим.

Ксения. Что это вы устроите?

Доктор. Консилиум, совет докторов.

Ксения. Ба-атюшки...

Доктор. Это — не страшно. Ну-с, до свидания! *(Уходит.)*

Ксения. Строгий какой... Туда же! За пять минут пять целковых берет. Шестьдесят рублей в час... вот как!

Звонцов. Он говорит — операция нужна...

Ксения. Резать? Ну, уж это — нет! Нет, уж резать я не позволю...

Звонцов. Послушайте, это — невежественно! Хирургия, наука...

Ксения. Плевать мне на твою науку! Вот тебе! Ты тоже невежливо говоришь со мной.

Звонцов. Я говорю не о приличиях, а о вашей темноте...

Ксения. Сам не больно светел!

Звонцов, махнув рукой, отошел прочь.
Глафира бежит.

Ксения. Куда?

Глафира. Звонок из спальни...

Ксения идет вместе с ней к мужу.

Звонцов. Не вовремя заболел тесть.

Башкин. Да. Стесняет. Время такое, что умные люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают.

Звонцов. Н-да. К тому же революция будет.

Башкин. Это я не одобряю. Была она в пятом году. Бестолковое дело.

Звонцов. В пятом был — бунт, а не революция. Тогда крестьяне и рабочие дома были, а теперь — на фронтах. Теперь революция будет против чиновников, губернаторов, министров.

Башкин. Если бы так — давай бог! Чиновники хуже клещей, вцепятся, не оторвешь...

З в о н ц о в. Царь явно не способен править.

Б а ш к и н. Поговаривают об этом и в купечестве. Будто мужик какой-то царицу обошел?

В а р в а р а на лестнице, слушает.

З в о н ц о в. Да. Григорий Распутин.

Б а ш к и н. Не верится в колдовство.

З в о н ц о в. А — в любовников — верите?

Б а ш к и н. На сказку похоже. У нее — генералов — сотни.

В а р в а р а. Глупости какие говорите вы.

Б а ш к и н. Все так говорят, Варвара Егоровна. Я все-таки полагаю, что без царя — нельзя!

З в о н ц о в. Царь должен быть не в Петрограде, а — в голове. Кончился спектакль?

В а р в а р а. Отложили. Приехал какой-то ревизор,— вечером эшелон раненых будет, около пятисот. А места для них нет.

Г л а ф и р а. Мокей Петрович, вас зовут.

Башкин ушел, оставив на столе теплый картуз.

В а р в а р а. Что ты с ним откровенничаешь? Ты же знаешь, что он шпионит за нами для матери! Картуз этот он лет десять носит, жадюга! Просален весь. Не понимаю, почему ты с этим жуликом...

З в о н ц о в. Ах, оставь! Хочу занять у него денег на взятку Бетлингу...

В а р в а р а. Но я же тебе сказала, что все это устроит Лиза Достигаева через Жанну! И обойдется — дешевле...

З в о н ц о в. Надует тебя Лизавета...

К с е н и я *(из комнаты мужа)*. Уговорите вы его, чтобы лежал! Он там ходит и Мокея ругает... Ах, господи!..

З в о н ц о в. Поди ты, Варя...

Б у л ы ч о в *(в халате, в валяных туфлях)*. Ну, и что еще? Несчастная война?

Б а ш к и н *(идя за ним)*. Кто же спорит?

Б у л ы ч о в. Для кого несчастная?

Б а ш к и н. Для нас.

Б у л ы ч о в. Для кого — для нас? Ты же говоришь: от войны миллионы наживают? Ну?

Б а ш к и н. Для народа... значит...

Б у л ы ч о в. Народ — мужик, ему — все равно: что жить, что умирать. Вот какая твоя правда!

К с е н и я. Да — не сердись ты! Вредно тебе...

Б а ш к и н. Ну, что вы? Какая же это правда?

Б у л ы ч о в. Самая настоящая! Это и есть правда. Я говорю

прямо: мое дело — деньги наживать, а мужиково — хлеб работать, товары покупать. А какая другая правда есть?

Башкин. Конечно, это — так, а все-таки...

Булычов. Ну, а что — все-таки? Ты о чем думаешь, когда воруешь у меня?

Башкин. Зачем же вы обижаете?

Ксения. Ну, что ты, Варя, глядишь? Уговори его! Ему лежать велено.

Булычов. Ты — о народе думаешь?

Башкин. И — при людях обижаете! Ворую! Это надо доказать!

Булычов. Доказывать нечего. Всем известно: воровство дело законное. И обижать тебя — незачем. От обиды ты не станешь лучше, хуже станешь. И воруешь — не ты — рубль ворует. Он, сам по себе, есть главный вор...

Башкин. Это один Яков Лаптев может говорить.

Булычов. Вот он и говорит. Ну, ступай. А взятку Бетлингу не давать. Довольно давали, хватит ему на гроб, на саван, старому черту! Вы что тут собрались? Чего ждете?

Варвара. Мы ничего не ждем...

Булычов. Будто — ничего? Когда — так, идите по своим делам. Дело-то у вас — есть? Аксинья, скажи, чтоб у меня проветрили. Душно там, кислыми лекарствами пахнет. Да — пускай Глафира квасу клюковного принесет.

Ксения. Нельзя тебе квасу-то.

Булычов. Иди, иди! Я сам знаю, чего нельзя, что можно.

Ксения *(уходя)*. Кабы знал...

Все ушли.

Булычов *(обошел вокруг стола, придерживаясь за него рукой. Смотрит в зеркало, говорит почти во весь голос)*. Плохо твое дело, Егор. И рожа, брат, у тебя... не твоя какая-то!

Глафира *(с подносом, на нем стакан молока)*. Вот вам молоко.

Булычов. Тащи кошке. А мне — квасу. Клюковного.

Глафира. Квасу вам не велят давать.

Булычов. Они не велят, а ты — принеси. Стой! Как по-твоему — умру я?

Глафира. Не может этого быть.

Булычов. Почему?

Глафира. Не верю.

Булычов. Не веришь? Нет, брат, дело мое — плохо! Очень плохо, я знаю!

Глафира. Не верю.

Б у л ы ч о в. Упряма. Ну, давай квасу! А я померанцевой выпью... Она — полезная. *(Идет к буфету.)* Заперли, черти. Эки свиньи! Оберегают. Похоже, что я заключенный. Арестант... вроде.

З а н а в е с

ВТОРОЙ АКТ

Гостиная Булычовых. З в о н ц о в и Т я т и н — в углу, за маленьким круглым столом, на столе бутылка вина.

З в о н ц о в *(закуривая)*. Понял?

Т я т и н. По чести говоря, Андрей, не нравится мне это...

З в о н ц о в. А — деньги нравятся?

Т я т и н. Деньги, к сожалению, нравятся.

З в о н ц о в. Ты — кого жалеешь?

Т я т и н. Себя, разумеется...

З в о н ц о в. Есть чего жалеть!

Т я т и н. Все-таки, знаешь, я сам себе — единственный друг.

З в о н ц о в. Ты бы не философствовал, а — думал.

Т я т и н. Я — думаю. Девица она избалованная, трудно будет с ней.

З в о н ц о в. Разведешься.

Т я т и н. А деньги-то у нее останутся...

З в о н ц о в. Сделаем так, что у тебя будут. А Шурку я берусь укротить.

Т я т и н. По чести сказать...

З в о н ц о в. Так, что ее поторопятся выдать замуж и приданое будет увеличено.

Т я т и н. Это ты... остроумно! А какое приданое?

З в о н ц о в. Пятьдесят.

Т я т и н. Тысяч?

З в о н ц о в. Пуговиц.

Т я т и н. Верно?

З в о н ц о в. Но ты подпишешь мне векселей на десять.

Т я т и н. Тысяч?

З в о н ц о в. Нет, рублей! Чудак!

Т я т и н. Мно-ого...

З в о н ц о в. Тогда — прекратим беседу.

Т я т и н. А ты... все это серьезно?

З в о н ц о в. Несерьезно о деньгах только дураки говорят...

Т я т и н *(усмехаясь)*. Черт возьми... Замечательно придумано.

Входит Д о с т и г а е в.

З в о н ц о в. Рад, что ты, кажется, что-то понимаешь. Тебе, интеллигенту-пролетарию, нельзя в эти лютые дни...

Т я т и н. Да, да, конечно! Но — мне пора в суд.

Д о с т и г а е в. Чем ты расстроен, Степаша?

З в о н ц о в. Мы — о Распутине вспомнили.

Д о с т и г а е в. Вот — участь, а? Простой, сибирский мужик — с епископами, министрами в шашки играл! Сотнями тысяч ворочал! Меньше десяти тысяч взятки — не брал! Из верных рук знаю — не брал! Вы что пьете? Бургонское? Это винцо тяжелое, его за обедом надо пить, некультурный народ!

З в о н ц о в. Как вы нашли тестя?

Д о с т и г а е в. А — чего же его искать,— он не прятался. Ты, Степаша, принес бы стаканчик мне.

Тятин не торопясь уходит.

А Булычов, надо прямо сказать, в плохом виде! В опасном положении он...

З в о н ц о в. Мне тоже кажется, что...

Д о с т и г а е в. Да, да! Это самое. И при этом боится он умереть, а потому — обязательно умрет. И ты этот факт — учти! Дни нашей жизни такие, что ротик разевать нельзя, ручки в карманах держать — не полагается. Государственный плетень со всех сторон свиньи подрывают, и что будет революция, так это даже губернатор понимает...

Т я т и н [*(входит)*]. Егор Васильевич в столовую вышел.

Д о с т и г а е в *(берет стакан)*. Спасибо, Степаша. Вышел, говоришь? Ну, и мы туда.

З в о н ц о в. Промышленники, кажется, понимают свою роль...

Идут — В а р в а р а, Е л и з а в е т а.

Д о с т и г а е в. Московские-то? Еще бы не понимали!

Е л и з а в е т а. Они пьют, как воробушки, а там Булычов рычит — слушать невозможно!

Д о с т и г а е в. Почему Америка процветает? Потому, что там у власти сами хозяева...

В а р в а р а. Жанна Бетлингова совершенно серьезно верит, что в Америке кухарки на рынок в автомобилях ездят.

Д о с т и г а е в. Вполне возможно. Хотя... наверное, вранье. А ты, Варюша, все с военными? Хочешь быть подполковником?

В а р в а р а. Ух, как старо! Вы о чем мечтаете, Тятин?

Т я т и н. Да... так, вообще...

Елизавета *(перед зеркалом)*. Вчера Жанна рассказала мне анекдот изумительный! Как цветок!

Достигаев. А ну, а ну — какой?

Елизавета. При мужчинах — нельзя.

Достигаев. Хорош цветок!

Варвара что-то шепнула Елизавете.

Елизавета. Муж! Ты тут будешь сидеть до дна бутылки?

Достигаев. А — кому я мешаю?

Елизавета *(Тятину)*. Вы, Степочка, знаете псалом: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста»?

Тятин. Что-то такое помню...

Елизавета *(берет его под руку)*. Вот эти, все — они и есть нечестивые грешники, а вы тихий юноша для луны, любви и прочего, да? *(Уводит.)*

Достигаев. Экая болтушка!

Варвара. Василий Ефимович, мать и Башкин вызвали тетку Меланью.

Достигаев. Игуменью? У-у, это зверь серьезный! Она будет против фирмы Достигаев и Звонцов, она — против! Она за вывеску — Ксения Булычова и Достигаев...

Звонцов. Она может потребовать деньги из дела.

Достигаев. Маланьиных денег — сколько? Семьдесят тысяч?

Звонцов. Девяносто.

Достигаев. Все-таки это — куш! Личные или монастыря?

Варвара. Как это узнаешь?

Достигаев. Узнать — можно. Узнать — все можно! Вот — немцы, они знают не только число солдат у нас на фронте, а даже — сколько вшей на каждом солдате.

Варвара. Вы бы серьезно что-нибудь сказали...

Достигаев. Милая Варюша, нельзя ни торговать, ни воевать, не умея сосчитать, сколько денег в кармане. Про Маланьины деньги узнать можно так: имеется дама Секлетея Полубояринова, она — участница нощных бдений владыки — Никандра, а — Никандр — всякие деньги любит считать. Кроме того, есть один человек в епархиальном совете,— мы его оставим в резерве. Ты, Варюша, возьми переговори с Полубояриновой, и ежели окажется, что деньжата — монастырские, ну,— сами понимаете! Куда это красавица моя ускользнула?

Глафира. Просят в столовую.

Достигаев. Спешим. Нуте-с, пошли?

Варвара *(будто бы зацепилась подолом за кресло)*. Андрей, помоги же! Ты ему веришь?

Звонцов. Нашла дурака.

Варвара. Ах, какой жулик! С теткой я придумала неплохо. А что с Тятиным?

Звонцов. Уломаю.

Варвара. С этим надо торопиться.

Звонцов. Почему?

Варвара. Да ведь после похорон — нужно будет долго ждать. А у отца — и сердце слабое... Кроме того, у меня есть другие причины.

Ушли. Навстречу Глафира, смотрит вслед им с ненавистью, собирает посуду со столика. Лаптев входит.

Глафира. А вчера был слух, что ты арестован.

Лаптев. Да ну? Это, должно быть, неверно.

Глафира. Все шутишь.

Лаптев. Есть — нечего, да — жить весело.

Глафира. Свернешь башку на шуточках-то.

Лаптев. За хорошие шутки не бьют, а хвалят, стало быть, попадет Яшутке за плохие шутки.

Глафира. Мели, Емеля! Там, у Шуры, Тонька Достигаева.

Лаптев. Брр, ее — не надо!

Глафира. Позову Шуру — сюда, что ли?

Лаптев. Дельно. А как Булычов?

Глафира *(гневно)*. Какой он тебе Булычов! Он — отец крестный твой!

Лаптев. Не сердись, тетя Глаша.

Глафира. Плохо ему.

Лаптев. Плохо? Постой, постой! Голодно живут приятели мои, тетя Глаша, не достанешь ли муки, пуда два, а то и мешок?

Глафира. Что же — воровать у хозяев буду для тебя?

Лаптев. Да ведь уже не первый раз! Все равно — и раньше грешила, грех — на мне! Ребятам, ей-богу, кушать охота! Тебе же в доме этом за труд твой принадлежит больше, чем хозяевам.

Глафира. Слыхала я эти сказки твои! Завтра утром Донату будут отправлять муку, мешок возьмешь у него. *(Уходит.)*

Лаптев. Вот спасибо! *(Сел на диван, зевнул до слез, отирает слезы, осматривается.)*

Ксения *(идет, ворчит)*. Бегают, как черти от ладана...

Л а п т е в. Здравствуйте...

К с е н и я. Ой! Ох, что ты тут сидишь?

Л а п т е в. А надо — ходить?

К с е н и я. То — нигде нет его, то вдруг придет! Как в прятки играешь. Отец-то крестный — болеет, а тебе хоть бы что...

Л а п т е в. Заболеть надо мне, что ли?

К с е н и я. Все вы с ума сошли, да и других сводите. Понять нельзя ничего! Вон, слышь, царя хотят в клетку посадить, как Емельку Пугачева. Врут, что ли, грамотей?

Л а п т е в. Все возможно, все!

Г л а ф и р а. Аксинья Яковлевна, на минутку.

К с е н и я. Ну, что еще? Покоя нет... о, господи... *(Ушла.)*

Ш у р а *(вбегает)*. Здравствуй!

Л а п т е в. Шурочка, в Москву еду, а денег нету — выручай!

Ш у р а. У меня тридцать рублей...

Л а п т е в. Пятьдесят бы, а?

Ш у р а. Достану.

Л а п т е в. Вечером, к поезду? Можно?

Ш у р а. Да. Слушай: революция будет?

Л а п т е в. Да она же началась! Ты — что, газет не читаешь?

Ш у р а. Я — не понимаю газет.

Л а п т е в. Спроси Тятина.

Ш у р а. Яков, скажи честно: что такое Тятин?

Л а п т е в. Вот те раз! Ты же почти полгода ежедневно видишь его.

Ш у р а. Он честный?

Л а п т е в. Да... ничего, честный.

Ш у р а. Почему ты говоришь нерешительно?

Л а п т е в. Мямля он. Мутноватый такой. Обижен, что ли.

Ш у р а. Кем?

Л а п т е в. Из университета вышибли со второго курса. Работает у брата, письмоводителем, а брат...

Ш у р а. Звонцов — жулик?

Л а п т е в. Либерал, кадет, а они вообще жуликоваты. Деньги ты Глафире передай, она доставит.

Ш у р а. Глафира и Тятин помогают тебе?

Л а п т е в. В чем?

Ш у р а. Не финти, Яшка! Ты понимаешь. Я тоже хочу помогать, слышишь?

Л а п т е в *(удивлен)*. Что это ты, девушка, как будто только сегодня проснулась?

Ш у р а *(гневно)*. Не смей издеваться надо мной! Ты — дурак!

Л а п т е в. Возможно, что и дурак, но все-таки я хотел бы понять...

Ш у р а. Варвара идет!

Л а п т е в. Ну, я ее не желаю видеть.

Ш у р а. Идем... Скорей.

Л а п т е в *(обняв ее за плечи)*. В самом деле — что с тобой?

Ушли, затворив за собой дверь.

В а р в а р а *(слышит, как щелкнул замок двери, подошла к ней, повертела ручку)*. Это ты, Глафира? *(Пауза.)* Там есть кто-нибудь? Таинственно... *(Быстро уходит.)*

Ш у р а тащит за руку Д о н а т а.

Д о н а т. Ну, куда ты меня, Шурок...

Ш у р а. Стой! Говори: отца в городе уважают?

Д о н а т. Богатого везде уважают. Озоруешь ты все...

Ш у р а. Уважают или боятся?

Д о н а т. Не боялись бы, так не уважали.

Ш у р а. А — любят за что?

Д о н а т. Любят? Не знаю.

Ш у р а. А — знаешь, что любят?

Д о н а т. Его? Как сказать? Извозчики — как будто любят, он с ними не торгуется, сколько спросят, столько и дает. А извозчик, он, конечно, другому скажет, ну и...

Ш у р а *(притопнув ногой)*. Ты смеешься?

Д о н а т. Зачем? Я правду объясняю.

Ш у р а. Ты стал злой. Ты совсем другой стал!

Д о н а т. Ну, где уж мне другим быть! Опоздал я.

Ш у р а. Ты хвалил мне отца.

Д о н а т. Я его и не хаю. У всякой рыбы своя чешуя.

Ш у р а. Все вы — врете.

Д о н а т *(понурясь, вздыхая)*. Ты — не сердись, сердцем ничего не докажешь.

Ш у р а. Уходи! Слушай, Глафира... Ну, кто-то лезет... *(Спряталась в драпировку.)*

Входит А л е к с е й Д о с т и г а е в, щеголь, в галифе, шведской куртке, весь в ремнях и карманах.

А л е к с е й. Вы все хорошеете, Глаша.

Г л а ф и р а *(угрюмо)*. Приятно слышать.

А л е к с е й. А мне — неприятно. *(Встал на дороге Глафиры.)* Не нравится мне хорошее, если оно не мое.

Г л а ф и р а. Пропустите, пожалуйста.

А л е к с е й. Сделайте одолжение. *(Позевнув, смотрит на часы.)*

Входит А н т о н и н а, несколько позднее — Т я т и н.

Ш у р а. Ты, кажется, и за горничными ухаживаешь?

А н т о н и н а. Ему — все равно, хоть за рыбами.

А л е к с е й. Горничные, если их раздеть, ни в чем не уступают барыням.

А н т о н и н а. Слышишь? Он теперь всегда говорит такое, точно не на фронте жил, а в кабаке...

Ш у р а. Да, раньше он был такой же ленивый, но не такой храбрый на словах.

А л е к с е й. Я — и на деле.

А н т о н и н а. Ах, как врет! Он — трус, трус! Страшно боится, что его соблазнит мачеха.

А л е к с е й. Что ты сочиняешь? Дурочка!

А н т о н и н а. И отвратительно жадный. Ты знаешь, я ему плачу рубль двадцать копеек за тот день, когда он не скажет мне какой-нибудь гадости. Он — берет!

А л е к с е й. Тятин! Вам нравится Антонина?

Т я т и н. Да. Очень.

Ш у р а. А — я?

Т я т и н. Говоря правду...

Ш у р а. Ну да, конечно, правду!

Т я т и н. Вы — не очень.

Ш у р а. Вот как? Это правда?

Т я т и н. Да.

А н т о н и н а. Не верь, он сказал, как эхо.

А л е к с е й. Вы бы, Тятин, женились на Антонине. Мне она надоела.

А н т о н и н а. Какой болван! Уйди! Ты похож на беременную прачку.

А л е к с е й *(обняв ее за талию)*. Ох, какая аристократка! Не гризе па ле семиачки, се моветон[1].

А н т о н и н а. Оставь меня!

А л е к с е й. С удовольствием! *(Танцует с ней.)*

Ш у р а. Может быть, я совсем не нравлюсь вам, Тятин?

Т я т и н. А зачем вы хотите знать это?

Ш у р а. Надо. Интересно.

А л е к с е й. Ты что мямлишь? Она замуж за тебя напрашивается. Теперь все девицы торопятся быть вдовами героев. Ибо — паек, ореол и пенсия.

---

[1] Это дурной тон (*франц.* c'est mauvais ton).

А н т о н и н а. Он уверен, что это остроумно!

А л е к с е й. Пойду по своей стезе. Тонька, проводи меня до прихожей.

А н т о н и н а. Не хочу!

А л е к с е й. Мне нужно. Серьезно, идем!

А н т о н и н а. Наверное, какая-нибудь глупость.

Ш у р а. Тятин, вы — правдивый человек?

Т я т и н. Нет.

Ш у р а. Почему?

Т я т и н. Невыгодно.

Ш у р а. Если вы так говорите,— значит, вы правдивый. Ну, теперь скажите сразу: вам советуют свататься ко мне?

Т я т и н *(закуривая, не сразу)*. Советуют.

Ш у р а. А вы понимаете, что это плохой совет?

Т я т и н. Понимаю.

Ш у р а. Да, вы... Вот не ожидала! Я думала, вы...

Т я т и н. Скверно думали, должно быть?

Ш у р а. Нет, вы... замечательный! А может быть, вы — хитрый, да? Вы играете на правду? Чтобы околпачить меня?

Т я т и н. Это мне — не по силам. Вы — умная, злая, озорная, совсем как ваш отец; по совести говоря — я вас боюсь. И рыжая вы, как Егор Васильевич. Вроде пожарного факела.

Ш у р а. Тятин, вы — молодец! Или — страшная хитрюга...

Т я т и н. И лицо у вас — необыкновенное...

Ш у р а. Это — о лице — для смягчения удара? Нет, вы хитрый!

Т я т и н. Думайте как хотите. По-моему, вы обязательно сделаете что-нибудь... преступное! А я привык жить кверху лапками — знаете, как виноватые кутята...

Ш у р а. В чем виноватые?

Т я т и н. Не знаю. В том, что кутята, и — зубов нет, укусить не могут.

А н т о н и н а *(входит)*. Дурак Алешка страшно больно дернул меня за ухо. И деньги отобрал, как жулик! Знаешь, он сопьется, это — наверное! Мы с ним такие никчемушные, купеческие дети. Тебе — смешно?

Ш у р а. Тоня,— забудь все плохое, что я тебе говорила о нем!

А н т о н и н а. О Тятине? А — что ты говорила? Я не помню.

Ш у р а. Ну, что он свататься хочет ко мне.

А н т о н и н а. Почему это плохо?

Ш у р а. Из-за денег.

А н т о н и н а. Ах, да! Ну, это — свинство, Тятин!

Ш у р а. Жаль, не слышала ты, как он отвечал на мои вопросные слова.

А н т о н и н а. Варумные слова. Помнишь «Варум»[1] Шуберта?

Т я т и н. Разве Шуберта?

А н т о н и н а. Варум очень похоже на птицу марабу, такая мрачная птица... в Африке.

Ш у р а. Что ты сочиняешь?

А н т о н и н а. Я все больше люблю страшное. Когда страшно, то уже — не скучно. Полюбила сидеть в темноте и ждать, что приползет огромный змей...

Т я т и н *(усмехаясь)*. Это — который был в раю?

А н т о н и н а. Нет, страшнее.

Ш у р а. Ты — занятная. Всегда выдумываешь что-нибудь новое, а все говорят одно и то же: война — Распутин — царица — немцы, война — революция...

А н т о н и н а. Ты будешь актрисой или монахиней.

Ш у р а. Монахиней? Ерунда!

А н т о н и н а. Это очень трудно быть монахиней, нужно играть всегда одну роль.

Ш у р а. Я хочу быть кокоткой, как Нана у Золя.

Т я т и н. Вот как вы говорите! Ф-фу!

Ш у р а. Мне — развращать хочется, мстить.

Т я т и н. Кому? За что?

Ш у р а. За то, что я — рыжая, за то, что отец болен... за все! Вот когда начнется революция, я развернусь! Увидишь.

А н т о н и н а. Ты веришь, что будет революция?

Ш у р а. Да! Да!

Т я т и н. Революция — будет.

Г л а ф и р а. Шура, приехала мать Мелания, Егор Васильевич хочет принять ее здесь.

Ш у р а. Ух — тетка! Бежим ко мне, дети! Тятин,— вы очень уважаете вашего брата?

Т я т и н. Он мне — двоюродный.

Ш у р а. Это не ответ.

Т я т и н. Кажется — родственники вообще мало уважают друг друга.

Ш у р а. Вот это — ответ!

А н т о н и н а. Бросьте говорить о скучном.

Ш у р а. Вы очень смешной, Тятин!

Т я т и н. Ну, что ж делать?

Ш у р а. И одеваетесь вы смешно.

---

[1] «Отчего» (*нем.* «Warum»).

Ушли. Глафира отпирает дверь, скрытую драпировкой. В дверях, куда ушла молодежь,— Булычов. Медленно и важно входит игуменья Мелания, с посохом в руке. Глафира стоит, наклоня голову, придерживая драпировку.

Мелания. Ты все еще здесь трешься, блудодейка? Не выгнали тебя? Ну, скоро выгонят.

Булычов. Ты тогда в монахини возьми ее, у нее — деньги есть.

Мелания. А-а, ты — здесь? Ой, Егор, как тебя перевернуло, помилуй бог!

Булычов. Глаха, закрой двери да скажи, чтоб сюда не лезли. Садись... преподобная! Об каких делах поговорим?

Мелания. Не помогают доктора-то? Видишь: господь терпит день, терпит год и век...

Булычов. О господе — после, давай сначала о деле. Я знаю, о деньгах твоих говорить приехала.

Мелания. Деньги не мои, а — обители.

Булычов. Ну — все едино: обители, обидели, грабители. Тебя чем деньги беспокоят? Боишься — умру — пропадут?

Мелания. Пропасть они — не могут, а не хочу, чтоб в чужие руки попали.

Булычов. Так, вынуть хочешь из дела? Мне — все равно — вынимай. Но — гляди — проиграешь! Теперь рубли плодятся, как вши на солдатах. А я — не так болен, чтобы умереть...

Мелания. Не ведаем ни дня, ни часа, егда приидет смерть. Завещание-то духовное-то написал?

Булычов. Нет!

Мелания. Пора. Напиши! Вдруг — позовет господь...

Булычов. А зачем я ему?

Мелания. Дерзости свои — оставь! Ты — знаешь, слушать их я не люблю, да и сан мой...

Булычов. А ты — полно, Малаша! Мы друг друга знаем и на глаз и на ощупь. Деньги можешь взять, у Булычова их — много!

Мелания. Вынимать капитал из дела я не желаю, а векселя хочу переписать на Аксинью, вот и — предупреждаю.

Булычов. Так. Ну, это — твое дело! Однако в случае моей смерти Звонцов Аксинью облапошит. Варвара ему в этом поможет...

Мелания. Вот как ты заговорил? По-новому будто? Злости не слышно.

Б у л ы ч о в. Я злюсь в другую сторону. Вот, давай-ко, поговорим теперь о боге-то, о господе, о душе.

Смолоду много бито, граблено,
Под старость надобно душа́ спасать...

М е л а н и я. Ну... что ж, говори!

Б у л ы ч о в. Ты вот богу служишь днем и ночью, как, примерно, Глафира — мне.

М е л а н и я. Не богохуль! С ума сошел? Глафира-то как тебе по ночам служит?

Б у л ы ч о в. Рассказать?

М е л а н и я. Не богохуль, говорю! Опомнись!

Б у л ы ч о в. Не рычи! Я же просто говорю, не казенными молитвами, а человечьими словами. Вот — Глафире ты сказала: скоро ее выгонят. Стало быть, веришь: скоро умру. Это — зачем же? Васька Достигаев на девять лет старше меня и намного жуликоватее, а здоров и будет жить. Жена у него — первый сорт. Конечно, я — грешник, людей обижал и вообще... всячески грешник. Ну — все друг друга обижают, иначе нельзя, такая жизнь.

М е л а н и я. Ты не предо мной, не пред людьми кайся, а пред богом! Люди — не простят, а бог — милостив. Сам знаешь: разбойники, в старину, как грешили, а воздадут богу богово и — спасены!

Б у л ы ч о в. Ну да, ежели украл да на церковь дал, так ты не вор, а — праведник.

М е л а н и я. Его-ор! Кощунствуешь, слушать не буду! Ты — не глуп, должен понять: господь не допустит — дьявол не соблазнит.

Б у л ы ч о в. Ну — спасибо!

М е л а н и я. Это что еще?

Б у л ы ч о в. Успокоила. Выходит, что господь вполне свободно допускает дьявола соблазнять нас,— значит, он в грешных делах дьяволу и мне компаньон...

М е л а н и я *(встала)*. Слова эти... слова твои такие, что ежели владыке Никандру сказать про них...

Б у л ы ч о в. А — в чем я ошибся?

М е л а н и я. Еретик! Подумай — что лезет тебе в нездоровую-то башку? Ведь — понимаешь, ежели бог допустил дьявола соблазнить тебя— значит, бог от тебя отрекся.

Б у л ы ч о в. Отрекся — а? За что? За то, что я деньги любил, баб люблю, на сестре твоей, дуре, из-за денег женился, любовником твоим был, за это отрекся? Эх ты... ворона полоротая! Каркаешь, а — без смысла!

Мелания *(ошалела)*. Да что ты, Егор? Обезумел ты? Господи помилуй...

Булычов. Молишься день, ночь под колоколами а — кому молишься, сама того не знаешь.

Мелания. Егор! В пропасть летишь! В пасть адову... В такие дни... Все разрушается, трон царев качают злые силы... антихристово время... может — Страшный суд близок...

Булычов. Вспомнила! Страшный суд... Второе пришествие... Эх, ворона! Влетела, накаркала! Ступай, поезжай в свою берлогу с девчонками, с клирошанками лизаться! А вместо денег — вот что получишь от меня — на! *(Показывает кукиш.)*

Мелания *(поражена, почти упала в кресло)*. Ох, негодяй...

Булычов. Глафира — блудодейка? А — ты? Ты кто?

Мелания. Врешь... Врешь... *(Вскочила)*. Мошенник! Издохнешь скоро! Червь!

Булычов. Прочь! Уходи от греха...

Мелания. Змей... Дьявол...

Булычов *(один, рычит, потирает правый бок, кричит)*. Глафира! Эй...

Ксения. Что ты? А Меланья-то где?

Булычов. Улетела.

Ксения. Неужто опять поссорились?

Булычов. Ты надолго уселась тут?

Ксения. Дай же ты мне, Егор, слово сказать! Ты совсем уж перестал говорить со мной, будто я мебель какая! Ну, что ты как смотришь?

Булычов. Валяй, валяй, говори!

Ксения. Что же это началось у нас? Светопреставление какое-то! Зятек у себя, наверху, трактир устроил, с утра до ночи люди толкутся, заседают чего-то; вчера семь бутылок красного выпили да водки сколько... Дворник Измаил жалуется — полиция одолела его, все спрашивает: кто к нам ходит? А они там всё про царя да министров. И каждый день — трактир. Ты что голову повесил?

Булычов. Валяй, валяй, сыпь! Молодой, я — любил в трактире с музыкой сидеть.

Ксения. Малаша-то зачем приезжала?

Булычов. Врать, Аксинья, ты — не можешь! Глупа для этого.

Ксения. Чего же это я соврала, где?

Булычов. Здесь Маланья приехала по уговору с тобой о деньгах говорить.

Ксения. Когда же это я уговаривалась с ней, что ты?

Булычов. Ну — ладно! Заткни рот...

Оживленно входят Достигаев, Звонцов, Павлин.

Достигаев. Егор, послушай-ко, что отец Павлин из Москвы привез...

Ксения. Ты бы лег, Егор!

Булычов. Ну, слушаю... отец!

Павлин. Хорошего мало рассказать могу, да, по-моему, и хорошее-то — плохо, ибо лучше того, как до войны жили, ничего невозможно выдумать.

Достигаев. Нет, протестую! Не-ет!

Звонцов шепчется с тещей.

Ксения. Плачет?

Достигаев. Кто плачет?

Ксения. Игуменья.

Достигаев. Что же это она?

Булычов. Идите-ко, взгляните, чего она испугалась? А ты, отец, садись, рассказывай.

Достигаев. Интересно, от какой жалости плачет Маланья.

Павлин. Великое смятение началось в Москве. Даже умственно зрелые люди утверждают, что царя надобно сместить, по неспособности его.

Булычов. С лишком двадцать лет способен был.

Павлин. Силы человека иссякают от времени.

Булычов. В тринадцатом году, когда триста лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Весь народ радовался. Вся Кострома.

Павлин. Это — было. Действительно — радовался народ.

Булычов. Что же такое случилось? Вот и Дума есть... Нет, дело — не в царе... а в самом корне...

Павлин. Корень — это и есть самодержавие.

Булычов. Каждый сам собой держится... своей силой... Да вот сила-то — где? На войне — не оказалось.

Павлин. Дума способствовала разрушению сил.

Елизавета *(в дверях)*. Вы, отец Павлин, исповедуете?

Павлин. Ну, что это, какой вопрос.

Елизавета. А где мой муж?

Павлин. Был здесь.

Елизавета. Какой вы строгий сегодня, отец Павлин. *(Исчезла.)*

Б у л ы ч о в. Отец...

П а в л и н. Что скажете?

Б у л ы ч о в. Всё — отцы. Бог — отец, царь — отец, ты — отец, я — отец. А силы у нас — нет. И все живем на смерть. Я — не про себя, я про войну. про большую смерть. Как в цирке зверя-тигра выпустили из клетки на людей.

П а в л и н. Вы, Егор Васильевич,— успокойтесь...

Б у л ы ч о в. А — на чем? Кто меня успокоит? Чем? Ну — успокой... отец! Покажи силу!

П а в л и н. Почитайте священное писание, библию, например, Иисуса Навина хорошо вспомнить... Война — в законе...

Б у л ы ч о в. Брось. Какой это — закон? Это — сказка. Солнце не остановишь. Врете.

П а в л и н. Роптать — величайший грех. Надобно с тихой душой и покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь.

Б у л ы ч о в. Ты примирился, когда тебя староста, Алексей Губин, обидел? Ты — в суд подал на него, Звонцова адвокатом пригласил, за тебя архиерей вступился? А вот я в какой суд подам жалобу на болезнь мою? На преждевременную смерть? Ты — покорно умирать будешь? С тихой душой, да? Нет,— заорешь, застонешь.

П а в л и н. Речи такие не позволяет слушать сан мой. Ибо это речи...

Б у л ы ч о в. Брось, Павлин! Ты — человек. Ряса — это краска на тебе, а под ней ты — человек, такой же, как я. Вот доктор говорит — сердце у тебя плохое, ожирело...

П а в л и н. К чему ведут такие речи? Подумайте и устрашитесь! Установлено от веков...

Б у л ы ч о в. Установлено, да, видно, не крепко.

П а в л и н. Лев Толстой еретик был, почти анафеме предан за неверие, а от смерти бежал в леса, подобно зверю.

К с е н и я. Егор Васильевич, Мокей пришел, говорит: Якова ночью жандармы арестовали, так он спрашивает...

Б у л ы ч о в. Ну, спасибо, отец Павлин... за поучение! Я еще тебя... потревожу. Позови Башкина, Аксинья! Скажи Глафире — пусть каши принесет. И — померанцевой.

К с е н и я. Нельзя тебе водку...

Б у л ы ч о в. Все — можно. Ступай! *(Оглядывается, усмехаясь бормочет.)* Отец... Павлин... Филин... Тебе, Егор, надо было табак курить. В дыму — легче, не все видно... Ну, что, Мокей?

Б а ш к и н. Как здоровье, Егор Васильевич?

Б у л ы ч о в. Все лучше. Якова арестовали?

Б а ш к и н. Да, ночью сегодня. Скандал!

Б у л ы ч о в. Одного?

Б а ш к и н. Говорят — часовщика какого-то да учительницу Калмыкову, которая Александре Егоровне уроки давала, кочегара Ерихонова, известный бунтарь. Около десятка будто.

Б у л ы ч о в. Все из тех — долой царя?

Б а ш к и н. У них это... различно: одни царя, а другие — всех богатых, и чтобы рабочие сами управляли государством...

Б у л ы ч о в. Ерунда!

Б а ш к и н. Конечно.

Б у л ы ч о в. Пропьют государство.

Б а ш к и н. Не иначе.

Б у л ы ч о в. Да... А — вдруг — не пропьют?

Б а ш к и н. А что ж им делать без хозяев-то?

Б у л ы ч о в. Верно. Без тебя да без Васьки Достигаева — не проживешь.

Б а ш к и н. И вы — хозяин...

Б у л ы ч о в. Ну, а как же? И я. Как, говоришь, они поют?

Б а ш к и н *(вздохнув)*. Отречемся от старого мира...

Б у л ы ч о в. Ну?

Б а ш к и н. Отрясем его прах с наших ног...

Б у л ы ч о в. По словам — на молитву похоже.

Б а ш к и н. Какая же молитва? Ненавидим, дескать, царя... дворец...

Б у л ы ч о в. Вон что! Н-да... черти драповые! *(Подумал.)* Ну, а тебе чего надо?

Г л а ф и р а принесла кашу и водку.

Б а ш к и н. Мне? Ничего.

Б у л ы ч о в. А зачем пришел?

Б а ш к и н. Спросить, кого на место Якова поставить.

Б у л ы ч о в. Потапова, Сергея.

Б а ш к и н. Он тоже в этих мыслях — ни бога, ни царя...

Б у л ы ч о в. Тоже?

Б а ш к и н. Позвольте предложить — Мокроусова. Он — очень просится к нам. Человек грамотный, распорядительный.

Г л а ф и р а. Каша простынет.

Б у л ы ч о в. Полицейский? Воряга? Чего же он?

Б а ш к и н. Теперь в полиции опасно служить, многие уходят.

Б у л ы ч о в. Так. Опасно? Ах, крысы... Ладно, пришли Потапова. Завтра утром. Ступай... Глаха — трубач пришел?

Г л а ф и р а. В кухне сидит.

Б у л ы ч о в. Съем кашу — веди его сюда. Что это — как тихо в доме?

Г л а ф и р а. Наверху все.

Б у л ы ч о в *(пьет водку)*. Ну — и ладно. Ты что... приуныла?

Г л а ф и р а. Не пей, не вреди себе, не хворай ты! Брось все, уйди от них. Сожрут они тебя, как черви... заживо сожрут! Уедем... в Сибирь...

Б у л ы ч о в. Пусти, больно...

Г л а ф и р а. В Сибирь уедем, я работать буду... Ну — что ты здесь, зачем? Никто тебя не любит, все — смерти ждут...

Б у л ы ч о в. Перестань, Глаха... Не расстраивай меня. Я все знаю, все вижу! Я знаю, кто ты мне... Ты да Шурка, вот это я — нажил, а остальное — меня выжило... Может, еще выздоровлю... Зови трубача, ну-ко...

Г л а ф и р а. Кашу-то съешьте.

Б у л ы ч о в. Черт с ней, с кашей! Шурку позови... *(Остался один и жадно пьет рюмку за рюмкой.)*

Входит Т р у б а ч. Он смешной, тощий, жалкий, за плечами — на ремнях — большая труба в мешке.

Т р у б а ч. Здравия желаю вашему степенству.

Б у л ы ч о в *(удивлен)*. Здорово. Садись. Глаха, затвори дверь. Вот какой ты...

Т р у б а ч. Так точно.

Б у л ы ч о в. Н-ну... неказист! Рассказывай, как лечишь?

Т р у б а ч. Лечение мое простое, ваше степенство, только люди привыкли питаться лекарствами из аптеки и не верят мне, так что я деньги вперед прошу.

Б у л ы ч о в. Это ты неплохо придумал! А вылечиваешь?

Т р у б а ч. Сотни вылечил.

Б у л ы ч о в. Не разбогател, однако.

Т р у б а ч. На добром деле не богатеют.

Б у л ы ч о в. Вон как ты? От каких же болезней вылечиваешь?

Т р у б а ч. Все болезни одинаково происходят по причине дурного воздуха в животе, так что я ото всех лечу...

Б у л ы ч о в *(усмехаясь)*. Храбро! Ну-ко, покажи трубу-то...

Т р у б а ч. Рубль заплатить можете?

Б у л ы ч о в. Рубль? Найдется. Глаха — есть у тебя? Получи. Дешево берешь.

Т р у б а ч. Это — для начала. *(Развязал мешок, вытащил басовую трубу.)*

Ш у р а прибежала.

Б у л ы ч о в. Самовар какой... Шурок,— хорош целитель? А ну-ко, подуй!

Трубач откашлялся, трубит, не очень громко, кашляет.

Б у л ы ч о в. Это и — все?

Т р у б а ч. Четыре раза в сутки по пяти минут, и — готово!

Б у л ы ч о в. Выдыхается человек? Умирает?

Т р у б а ч. Никогда! Сотни вылечил!

Б у л ы ч о в. Так. Ну, а теперь скажи правду: ты — кем себя считаешь — дураком или жуликом?

Т р у б а ч *(вздохнув)*. Вот и вы не верите, как все.

Б у л ы ч о в *(посмеиваясь)*. Ты — не прячь трубу-то! Говори прямо: дурак или жулик? Денег дам!

Ш у р а. Не надо обижать его, папа!

Б у л ы ч о в. Я не обижаю, Шурок! Тебя как звать, лекарь?

Т р у б а ч. Гаврила Увеков...

Б у л ы ч о в. Гаврило? *(Смеется.)* Ох, черт... Неужто — Гаврило?

Т р у б а ч. Имя очень простое... никто не смеется!

Б у л ы ч о в. Так — ты кто же: глупый или плут?

Т р у б а ч. Шестнадцать рублей дадите?

Б у л ы ч о в. Глаха,— принеси! В спальне... Почему шестнадцать, Гаврило?

Т р у б а ч. Ошибся! Надо было больше спросить.

Б у л ы ч о в. Значит — глупый ты?

Т р у б а ч. Да нет, я не дурак...

Б у л ы ч о в. Стало быть — жулик?

Т р у б а ч. Да и не жулик... Сами знаете: без обмана — не проживешь.

Б у л ы ч о в. Вот это — верно! Это, брат, нехорошо, а — верно.

Ш у р а. Разве не стыдно обманывать?

Т р у б а ч. А почему стыдно, если верят?

Б у л ы ч о в *(возбужденно)*. И это — правильно! Понимаешь, Шурка? Это — правильно! А поп Павлин эдак не скажет! Он — не смеет!

Т р у б а ч. За правду мне прибавить надо. И — вот вам крест! — некоторым труба помогает.

Б у л ы ч о в. Верю,— двадцать пять дай ему, Глаха. Давай еще. Давай все!

Т р у б а ч. Вот уж... покорно благодарю... Может, попробуете трубу-то? Пес ее знает... как она, а ей-богу — действует!

Булычов. Нет, спасибо! Ах, ты, Гаврило, Гаврило! *(Смеется.)* Ты... вот что, ты покажи, как она... Ну-ко — действуй! Да — потолще!

Трубач напряженно и оглушительно трубит. Глафира смотрит на Булычова тревожно. Шура, зажав уши, смеется.

Сади во всю силу!

Вбегают Достигаевы, Звонцовы, Башкин, Ксения.

Варвара. Что это такое, папаша?

Ксения. Егор, что ты еще затеял?

Звонцов *(Трубачу)*. Ты пьяный?

Булычов. Не тронь! Не смей! Глуши их, Гаврило! Это же Гаврило-архангел конец миру трубит!..

Ксения. Ой, ой, помешался...

Башкин *(Звонцову)*. Вот видите?

Шура. Папа, ты слышишь? Они говорят — с ума сошел ты! Уходите, трубач, уходите!

Булычов. Не надо! Глуши, Гаврило! Светопреставление! Конец миру... Труби-и!..

Занавес

ТРЕТИЙ АКТ

Столовая. Все в ней кажется сдвинутым со своих мест. На столе неубранная посуда, самовар, пакеты из магазина, бутылки. В углу чемоданы, один из них разбирает монастырская служка Таисья в острой шлычке, около нее — Глафира, с подносом в руке. Над столом горит лампа.

Глафира. А надолго мать Мелания к нам?

Таисья. Не знаю я.

Глафира. Почему она у себя на подворье не остановилась?

Таисья. Не знаю.

Глафира. Тебе сколько лет?

Таисья. Девятнадцать.

Звонцов на лестнице.

Глафира. А ничего не знаешь! Что ты — дикая какая?

Таисья. Нам с мирскими не велят говорить.

Звонцов. Игуменья пила чай?

Глафира. Нет.

З в о н ц о в. Возьми, подогрей самовар, на всякий случай.

Глафира уходит, взяв самовар.

Что там вас— солдаты напугали?

Т а и с ь я. Солдаты-с.

З в о н ц о в. Чем же они напугали?

Т а и с ь я. Корову зарезали, пригрозили поджечь монастырь. Простите. *(Ушла, унося груду белья.)*

В а р в а р а *(из прихожей)*. Слякоть какая! Ты тут с монашенкой беседуешь?

З в о н ц о в. Присутствие игуменьи в нашем доме неудобная штука, знаешь ли?

В а р в а р а. Дом еще не наш... Что, Тятин согласился?

З в о н ц о в. Тятин — осёл или притворяется честным.

В а р в а р а. Подожди. Кажется, отец кричит... *(Слушает у двери в комнату отца.)*

З в о н ц о в. Хотя доктора и утверждают, что он — в своем уме, но после этой дурацкой сцены с трубой...

В а р в а р а. Он и не такие сцены разыгрывал, хуже бывало. Между Александрой и Тятиным наладились, кажется, приятельские отношения?

З в о н ц о в. Да, но — ничего хорошего я в этом не вижу. Сестрица твоя хитрая штучка, от нее можно ожидать... весьма серьезных неприятностей.

В а р в а р а. Жаль, что ты не сообразил этого, когда она кокетничала с тобой. Впрочем, это тебе было приятно.

З в о н ц о в. Кокетничала она со мной, чтобы позлить тебя.

В а р в а р а. Ты огорчен? Ну, Павлин лезет. Повадился!

З в о н ц о в. Духовенства — избыток у нас.

Входят, споря, Е л и з а в е т а, П а в л и н, затем — М о к е й.

П а в л и н. Газеты же, по обыкновению, лгут! Добрый вечер!

Е л и з а в е т а. А я вам говорю, что это неправда!

П а в л и н. Установлено вполне точно: государь отказался от престола не по доброй воле, а под давлением насилия, будучи пойман на дороге на Петроград членами кадетской партии... Да-с!

З в о н ц о в. Что же отсюда следует?

Е л и з а в е т а. Отец Павлин — против революции и за войну, а я — против войны! Я хочу в Париж... Довольно воевать! Ты согласна, Варя? Помнишь, как сказал Анри-катр: «Париж лучше войны». Я знаю, что он не так сказал, но — он ошибся.

П а в л и н. Не настаиваю ни на чем, ибо все колеблется.

В а р в а р а. Нужен мир, мир, отец Павлин! Вы видите, как ведет себя чернь?

П а в л и н. Ох, вижу! А что наш больной? Как с этой стороны? *(Прижимает палец к переносью.)*

З в о н ц о в. Доктора не нашли признаков расстройства.

П а в л и н. Это — приятно! Хотя доктора безошибочно находят токмо одни гонорары.

Е л и з а в е т а. Какой вы злой! Варя, Жанна приглашает нас ужинать.

Б а ш к и н. Арестованных выпустили, а полиция страдает.

П а в л и н. Да, да... Удивительно! Чего хорошего ожидаете вы от событий, Андрей Петрович, а?

З в о н ц о в. Общественные силы организуются закономерно и скоро скажут свое слово. Под общественными силами я разумею людей, которые обладают прочным экономическим...

В а р в а р а. Слушай-ко, Жанна приглашает нас... *(Отводит его в сторону, шепчет.)*

З в о н ц о в. Ну, знаешь, это меня ставит не очень удобно! С одной стороны — игуменья, с другой — кокотка...

В а р в а р а. Да — тише ты!

Б а ш к и н. Андрей Петрович, тут — Мокроусов,— знаете, помощник пристава?

З в о н ц о в. Да. Что ему надо?

Б а ш к и н. Он службу бросает по причине опасности и просится к нам, в лес.

З в о н ц о в. Удобно ли это?

В а р в а р а. Подожди, Андрей...

Б а ш к и н. Очень удобно. Лаптев теперь загнет хвост и бунтовать будет. Донат — сами знаете — человек неподходящий и тоже сектант, все о законе правды бормочет, а уж какая тут правда, когда... сами видите!

З в о н ц о в. Ну, это чепуха! Мы присутствуем именно при начале торжества правды...

В а р в а р а. Да подожди же, Андрей.

З в о н ц о в. И справедливости.

В а р в а р а. Вы чего хотите, Мокей?

Б а ш к и н. Я — чтобы нанять Мокроусова. Егор Васильевичу я предлагал.

В а р в а р а. Что же он?

Звонцов, нахмурясь, отошел прочь.

Б а ш к и н. Определенно не высказался.

В а р в а р а. Возьмите Мокроусова.

Б а ш к и н. Может — взглянете на него?

В а р в а р а. Зачем же?

Б а ш к и н. Для знакомства. Он — здесь.

В а р в а р а. Ну, хорошо...

Башкин идет в прихожую. Варвара пишет что-то в записной книжке. Б а ш к и н возвращается с М о к р о у с о в ы м; это — человечек круглолицый, брови удивленно подняты, на лице — улыбочка, но кажется, что хочет крепко выругаться. В полицейской форме, на боку — револьвер, шаркает ножкой.

М о к р о у с о в. Честь имею представиться. Глубоко благодарен за честь служить.

В а р в а р а. Очень рада. Вы даже в форме, а я слышала, что полицию разоружают.

М о к р о у с о в. Совершенно верно, в естественном виде нам по улице ходить опасно, так что я — в штатском пальто, хотя при оружии. Но сейчас, по случаю возбуждения неосновательных надежд, чернь несколько приутихла, и потому... без шашки.

В а р в а р а. Когда вы думаете начать службу у нас?

М о к р о у с о в. Мысленно — я уже давно покорный ваш слуга. В лес готов отправиться хоть завтра, я одинок и...

В а р в а р а. Вы думаете, надолго это — этот бунт?

М о к р о у с о в. Полагаю — на все лето. Потом наступят дожди, морозы, и шляться по улицам будет неудобно.

В а р в а р а *(усмехаясь)*. Только на лето? Едва ли революция зависит от погоды.

М о к р о у с о в. Помилуйте! А как же! Зима — охлаждает.

В а р в а р а *(усмехаясь)*. Вы — оптимист.

М о к р о у с о в. Полиция — вообще оптимисты.

В а р в а р а. Вот как!

М о к р о у с о в. Именно-с. Это от сознания силы-с.

В а р в а р а. Вы служили в армии?

М о к р о у с о в. Так точно. В бузулукском резервном батальоне, имею чин подпоручика.

В а р в а р а *(подавая руку)*. Ну, желаю вам всего хорошего.

М о к р о у с о в *(целуя руку)*. Сердечно тронут. *(Ушел, пятясь задом, притоптывая.)*

В а р в а р а *(Башкину)*. Кажется, он — дурак?

Б а ш к и н. Это — не грех. Умники-то — вон они как... Им дай волю, так они землю наизнанку вывернут... Как — вроде — карман.

П а в л и н *(Башкину, Елизавете)*. Духовенству обязательно нужно дать право свободной проповеди, иначе — ничего не получится!

Г л а ф и р а, Ш у р а выводят под руки Б у л ы ч о в а. Все замолчали, смотря на него; он хмурится.

Б у л ы ч о в. Ну? Что молчите? Бормотали, бормотали...

П а в л и н. Поражены внезапностью...

Б у л ы ч о в. Что?

П а в л и н. Зрелище человека ведомого...

Б у л ы ч о в. Ведомого! Ноги у человека отнимаются, вот его и ведут! Ведомого... Мокей — Яшутку освободили?

Б а ш к и н. Да. Всех арестантов освободили.

З в о н ц о в. Политических.

Б у л ы ч о в. Якову Лаптеву свобода, а царя — под арест! Вот как, отец Павлин! Что скажешь, а?

П а в л и н. Неискушен в делах этих... но — по малому разумению моему — сначала осведомился бы, что именно намерены говорить и делать эти лица...

Б у л ы ч о в. Царя выбирать. Без царя — перегрызетесь вы все...

П а в л и н. Воодушевленное лицо у вас сегодня, очевидно — преодолеваете недуг?

Б у л ы ч о в. Вот, вот... преодолеваю! Вы, супруги, и ты, Мокей, оставьте-ко нас, меня с Павлином. Ты, Шуренок, не уходи.

Башкин ушел в прихожую. Звонцовы и Достигаевы — наверх. Минуты через две В а р в а р а, сойдя до половины лестницы, слушает.

Ш у р а. Ты — ляг.

Б у л ы ч о в. Не хочу. Ну что, отец Павлин, ты насчет колокола — что ли?

П а в л и н. Нет, заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении, в чем и не ошибся. Но, конечно, памятуя щедрые и великодушные в прошлом деяния ваши, направленные к благолепию града сего и храма...

Б у л ы ч о в. Плохо ты молишься за меня, мне вот все хуже. И неохота платить богу. За что платить-то? Плачено немало, а толку нет.

П а в л и н. Жертвы ваши...

Б у л ы ч о в. Постой! Есть вопрос: как богу не стыдно? За что смерть?

Ш у р а. Не говори о смерти, не надо!

Б у л ы ч о в. Ты — молчи! Ты — слушай. Это я — не о себе.

П а в л и н. Напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна?

Б у л ы ч о в. А зачем она втиснута в грязную-то, тесную плоть?

П а в л и н. Вопрос этот церковь считает не токмо праздным, но и...

Варвара — на лестнице — смеется, прижав платок ко рту.

Б у л ы ч о в. Ты — не ́икай! Говори прямо. Шура,— трубача помнишь, а?

П а в л и н. В присутствии Александры Егоровны...

Б у л ы ч о в. Это — брось! Ей — жить, ей — знать! Я вот жил-жил, да и спрашиваю: ты зачем живешь?

П а в л и н. Служу во храме...

Б у л ы ч о в. Знаю я, знаю — служишь! А ведь придется тебе умирать. Что это значит? Что значит — смерть нам,— Павлин?

П а в л и н. Вопрошаете... нелогично и бесплодно! И — простите! Но уже не о земном надо бы...

Ш у р а. Не смейте так говорить!

Б у л ы ч о в. Я — земной! Я — насквозь земной!

П а в л и н *(встает)*. Земля есть прах...

Б у л ы ч о в. Прах? Так, вы, мма... Так вы это, что земля — прах, сами должны понять! Прах, а — ряса шелковая на тебе. Прах, а — крест золоченый! Прах, а — жадничаете...

П а в л и н. Злое и пагубное творите в присутствии отроковицы...

Б у л ы ч о в. От рукавицы, от рукавицы...

Варвара быстро ушла наверх.

Обучают вас, дураков, как собак на зайцев... Разбогатели от нищего Христа...

П а в л и н. Озлобляет вас болезнь, и, озлобляясь, рычите, подобно вепрю...

Б у л ы ч о в. Уходишь? Ага...

Ш у р а. Напрасно ты волнуешься, от этого хуже тебе. Какой ты... неугомонный...

Б у л ы ч о в. Ничего! Жалеть — нечего! Ух, не люблю этого попа! Ты — гляди, слушай, я нарочно показываю...

Ш у р а. Я сама все вижу... не маленькая, не дура!

З в о н ц о в на лестнице.

Б у л ы ч о в. Они, после трубача, решили, что я с ума со-

шел, а доктора говорят: врете! Ты ведь докторам веришь, Шура? Докторам-то?

Ш у р а. Я тебе верю... тебе...

Б у л ы ч о в. Ну, то-то! Нет, у меня разум в порядке! Доктора — знают. Действительно, я наткнулся на острое. Ну, ведь всякому... интересно: что значит — смерть? Или, например, жизнь? Понимаешь?

Ш у р а. Не верю я, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома. Глафира верно говорит! Надо лечиться серьезно. Ты — никого не слушаешь.

Б у л ы ч о в. Всех слушаю! Вот знахарку попробуем. Вдруг — поможет? Ей бы пора прийти. Грызет меня боль... как тоска!

Ш у р а. Перестань, милый! Не надо, родной мой! Ты — ляг...

Б у л ы ч о в. Лежать — хуже. Лег — значит — сдался. Это — как в кулачном бою. И — хочется мне говорить. Мне надо тебе рассказать. Понимаешь... какой случай... не на той улице я живу! В чужие люди попал, лет тридцать все с чужими. Вот чего я тебе не хочу! Отец мой плоты гонял. А я вот... Этого я тебе не могу выразить.

Ш у р а. Ты говори тише, спокойнее... Говори, как, бывало, сказки мне рассказывал.

Б у л ы ч о в. Я тебе — не сказки, я тебе всегда правду говорил. Видишь ли... Попы, цари, губернаторы... на кой черт они мне надобны? В бога — я не верю. Где тут бог? Сама видишь... И людей хороших — нет. Хорошие — редки, как... фальшивые деньги! Видишь, какие все? Вот они теперь запутались, завоевались... очумели! А — мне какое дело до них? Булычову-то Егору — зачем они? И тебе... ну, как тебе с ними жить?

Ш у р а. Ты не беспокойся обо мне...

К с е н и я *(идет)*. Александра, к тебе Тоня с братом пришла и этот...

Ш у р а. Подождут.

К с е н и я. А ты — иди-ко! Мне с отцом поговорить надо...

Б у л ы ч о в. А мне — надо?

Ш у р а. Вы — не очень много — говорите...

К с е н и я. Учи, учи меня! Егор Васильевич — Зобунова пришла...

Б у л ы ч о в. Шурок, ты потом веди их сюда, молодежь-то... Ну, давай Зобунову!

К с е н и я. Сейчас. Я хочу сказать, что Лександра подружилась с прощелыгой этим, с двоюродным братом Андрея. Сам

понимаешь: это ей не пара. Одного нищего приютили мы, так он — вон как командует.

Булычов. Ты, Аксинья, совсем... как дурной сон,— право!

Ксения. Бог с тобой, обижай! Ты бы запретил ей амурничать с Тятиным-то.

Булычов. А еще что?

Ксения. Мелания у нас...

Булычов. Зачем?

Ксения. Несчастие с ней. Солдаты беглые напали на обитель, корову зарезали, два топора украли, заступ, связку веревок, вон что делается! А Донат, лесник наш, нехороших людей привечает, живут они в бараке, на лесорубке...

Булычов. Заметно, что ежели какой человек приятен мне, так он уж никому не приятен.

Ксения. Ты бы помирился с ней...

Булычов. С Маланьей? Зачем?

Ксения. Да — как же? Здоровье твое...

Булычов. Ладно. Давай... помирюсь! Я ей скажу: «И остави нам долги наша».

Ксения. Ты — поласковее. *(Ушла.)*

Булычов *(бормочет)*. «И остави нам долги...» «Яко же и мы оставляем...» Кругом вранье... Ох, черти...

Варвара. Папаша! Я слышала, как мать говорила о Степане Тятине...

Булычов. Да... Ты — все слышишь, все знаешь...

Варвара. Тятин — скромный человек, он не потребует большого приданого за Александрой и очень хорошая пара для нее.

Булычов. Заботливая ты...

Варвара. Я присмотрелась к нему...

Булычов. О ком ты заботишься? Эх вы... черти домашние!

Идут Мелания, Ксения, в дверях остановилась служка Таисья.

Ну что, Малаша? Помиримся, что ли?

Мелания. То-то. Воин! Обижаешь всех... ни за что ни про что...

Булычов. «И остави нам долги наша» — Малаша!

Мелания. Не о долгах речь. Не озоруй! Вон какие дела-то начались. Царя, помазанника божия, свергли с престола. Ведь это — что значит? Обрушил господь на люди своя тьму смятения, обезумели все, сами у себя под ногами яму роют. Чернь бунтуется. Конопосовские бабы в лицо мне кричали, мы, дескать, народ! Наши

мужья, солдаты — народ! Каково? Подумай, когда это солдаты за народ считались?

К с е н и я. Это вот все Яков Лаптев доказывает...

М е л а н и я. Губернатора власти лишили, а на место его нотариус Осмоловский посажен...

Б у л ы ч о в. Тоже толстый.

М е л а н и я. Вчера владыко Никандр говорил: «Живем накануне происшествий сокрушительных; разве, говорит, штатская власть возможна? От времен библейских народами управляла рука, вооруженная мечом и крестом...»

В а р в а р а. В библейские времена кресту не поклонялись...

М е л а н и я. А ты помолчи, умница... евангелие-то в одном переплете с библией. А крест есть — меч! Туда же! Владыко-то лучше тебя знает, когда чему поклонялись. Вы, честолюбцы, радуетесь падению престола. Не обернулась бы радость в горькие вам слезы. Егорушко, мне с тобой надо бы глаз на глаз поговорить...

Б у л ы ч о в. Эдак — опять поругаемся мы с тобой? Однако — можно и поговорить, ну — после! Сейчас лекариха придет. Выздороветь хочется мне, Малаша!

М е л а н и я. Зобунова — лекариха знаменитая. Докторам — далеко до нее! А потом ты бы с блаженным Прокопием поговорил...

Б у л ы ч о в. Это — которого мальчишки Пропотеем зовут? Жулик он, говорят?

М е л а н и я. Ну, что ты, что ты! Как это можно! Ты примико его...

Б у л ы ч о в. Можно и Пропотея. Мне сегодня что-то лучше... Только вот ноги... Веселее будто. Все что-то смешно... смешным кажется! Зови знахарку, Аксинья.

Ксения ушла.

М е л а н и я. Эх, Егорий... много еще в тебе... осталось!

Б у л ы ч о в. Вот то-то и есть, что много...

К с е н и я [*(входя)*]. Она говорит, чтобы все ушли...

М е л а н и я. Ну, надо уйти...

Все ушли. Булычов, усмехаясь, гладит бок, грудь. Входит З о б у н о в а. Незаметно, однако так, чтобы было замечено, она, кривя рот, дует в правую сторону от себя, правая рука прижата к сердцу, а ладонью левой, как рыбьим плавником, отмахивается. Остановилась, провела правой рукой по лицу.

Б у л ы ч о в. Это ты — чертям молишься?

З о б у н о в а *(певуче)*. Ой вы, злые недуги, телесные печали! Отвяжитесь, откачнитесь, от раба божия удалитесь! В сей

день, в сей час, отгоняю вас по всю жизнь крепким моим словом во веки веков! Здравствуйте, благомилостивый человек, по имени Егорий!..

Булычов. Здравствуй, тетка! Это ты чертей отгоняла?

Зобунова. Что ты, роженый, разве с ними можно дело иметь?

Булычов. Надо, так можно! Богу — попы молятся, а ты — не поп, ты должна — чертям.

Зобунова. Ну, что это какие страхи ты говоришь! Про меня только глупые рассказывают, будто я с нечистой силой знаюсь.

Булычов. Ну, тогда у тебя, тетка, толка не будет! Попы богу за меня молились, бог — отказался, не помогает мне!

Зобунова. Это ты шутишь, дорогой человек, это ты потому, что не веришь мне.

Булычов. Я бы поверил, если бы ты от чертей пришла. Ты ведь, конечно, знаешь, слышала: я распутный, с людьми — жестокий, до денег — жадный...

Зобунова. Слыхала, да не верю, что ты пожалеешь дать мне добрую денежку.

Булычов. Я, тетка, великий грешник, и богу дела нет до меня. Отрекся бог от Егора Булычова. Так что, если ты с чертями не знакома,— иди, выкидыши девкам делать! Это — твое ремесло, так?

Зобунова. Ой, верная слава про тебя, что ты — напористый, озорной человек!

Булычов. Ну? Чего соврать хочешь? Валяй!

Зобунова. Врать не обучена. Ты скажи-ко мне: что у тебя болит, как болит, где?

Булычов. Живот. Сильно болит. Вот здесь.

Зобунова. Видишь ли... только ты не говори никому, ни-ни!

Булычов. Не скажу. Не бойся.

Зобунова. Есть недуги — желтые и есть — черные. Желтый недуг — его и доктор может вылечить, а — черный — ни поп, ни монах не замолят! Черный — это уже от нечистой силы, и против него — одно средство...

Булычов. Сразу: пан или пропал? Так?

Зобунова. Средство это — дорогое!

Булычов. Конечно! Понимаю.

Зобунова. Тут действительно с нечистой силой надобно дело иметь.

Булычов. С самим сатаной?

Зобунова. Ну, не прямо с ним, а все-таки...

Булычов. Можешь?

Зобунова. Только ты — никому ни словечка...

Булычов. Иди к чертям, тетка!

Зобунова. Погоди-ко...

Булычов. Иди прочь, а то ушибу...

Зобунова. Ты послушай-ко...

Глафира *(из прихожей)*. Тебе сказано — уходи!

Зобунова. Что это вы какие...

Булычов. Гони ее, гони!

Глафира. Туда же, ведьмой притворяешься!

Зобунова. Ты сама — ведьма! Ишь рожа-то... Эх вы... Ни сна вам, ни покоя!

Ушли.

Булычов *(оглядывается, вздыхает)*. Ф-фу...

Входят Мелания, Ксения.

Мелания. Не понравилась Зобунова, не угодила?

Булычов молчит, глядя на нее.

Ксения. Она — тоже нравная. Захвалена, зазналась.

Булычов. Малаша,— как думаешь: у бога живот болит?

Мелания. А ты — не дури...

Булычов. У Христа, наверное, болел. Христос рыбой питался...

Мелания. Перестань, Егор. Что ты меня дразнишь?

Глафира. Она денег просит за беспокойство.

Булычов. Дай, Аксинья! Ты, Малаша, извини, я — устал, пойду к себе. С дураками — хуже всего устаешь. Ну-ко, Глаха, помоги...

Глафира уводит его. Возвратилась Ксения, вопросительно смотрит на сестру.

Мелания. Притворяется он сумасшедшим. Притворяется...

Ксения. Ой ли? Где уж ему...

Мелания. Это — ничего! Пусть играет. Это против него же обернется, если духовное-то завещание судом оспаривать надо будет. Таисья будет свидетельницей, Зобунова, отец Павлин, трубач этот, да мало ли? Докажем, что завещатель не в своем уме был...

Ксения. Ох, уж не знаю, как тут быть...

Мелания. Вот я тебя и учу! Эх ты... Выскочила замуж! Я тебе говорила — выходи за Башкина.

К с е н и я. Ну... Когда это было! А он-то какой был орел... Ты сама завидовала.

М е л а н и я. Я? Ты что? Очумела?

К с е н и я. Ну, что уж вспоминать...

М е л а н и я. Господи, помилуй! Завидовала! Я?

К с е н и я. Как — Прокофья-то? Может — не надо?

М е л а н и я. Почему это — не надо? Призвали, уговорились и — вдруг не надо! Ты — не мешай мне! Иди приготовь его да приведи. Таисья!

Т а и с ь я выходит из прихожей.

Ну, что?

Т а и с ь я. Ничего не узнала я.

Ксения ушла.

М е л а н и я. Почему?

Т а и с ь я. Не говорит она ничего.

М е л а н и я. Как это — не говорит? Ты должна была выспросить.

Т а и с ь я. Выспрашивала я, а она — фыркает, будто — кошка. Ругает всех.

М е л а н и я. Как ругает?

Т а и с ь я. Жуликами.

М е л а н и я. За что же она?

Т а и с ь я. С ума, говорит, хотите свести человека...

М е л а н и я. Это она тебе сказала?

Т а и с ь я. Нет, Пропотею, блаженному.

М е л а н и я. А он — что?

Т а и с ь я. Он все прибаутки говорит...

М е л а н и я. Прибаутки?.. Ах ты... лапоть! Он — блаженный, прорицает, дура! Сядь в прихожей, не уходи никуда... В кухне был еще кто-нибудь?

Т а и с ь я. Мокей...

М е л а н и я. Ну, ступай. *(Подходит к дверям комнаты Булычова, стучит.)* Егорий, блаженный пришел.

Идет, сопровождаемый К с е н и е й и Б а ш к и н ы м, П р о п о т е й, в лаптях, в длинной, до щиколоток, холщовой рубахе, со множеством медных крестов и образков на груди. Страховиден: густые, встрепанные волосы, длинная, узкая, редкая борода, движения резки и судорожны.

П р о п о т е й. Ух, накурено! Душа задыхается...

К с е н и я. Тут, батюшка, никто не курит.

Пропотей гудит, подражая зимнему ветру.

М е л а н и я. Ты — погоди, дай выйти...

Б у л ы ч о в *(его ведет под руку Глафира)*. Ишь ты, какой... явился!

П р о п о т е й. Не бойся. Не страшись. *(Гудит.)* Все тлен, все пройдет! Жил Гриша, лез выше, стукнулся в потолок,— черт его и уволок.

Б у л ы ч о в. Это — про Распутина, что ли?

П р о п о т е й. Вот — низвергнут царь, и погибает царство, иде же царствует грех, смерть и смрад! Гудит метелица, гудит распутица. *(Гудит. Указывая посохом на Глафиру.)* Дьявол во образе женском рядом с тобой — отгони.

Б у л ы ч о в. Я те отгоню! Болтай, да знай меру. Маланья, это ты, что ли, обучила его?

М е л а н и я. Что выдумываешь? Разве безумного можно научить?

Б у л ы ч о в. Похоже, что можно...

С лестницы бежит Ш у р а, за нею А н т о н и н а, Т я т и н. Постепенно сверху спускаются З в о н ц о в ы, Д о с т и г а е в ы. Пропотей молча чертит палкой в воздухе и на полу. Стоит задумчиво, опустив голову.

Ш у р а *(подбегая к отцу)*. Это что еще? Что за представление?

М е л а н и я. А ты — молчи!

П р о п о т е й *(как бы с трудом)*. Не спит еретик, а часики — тик да тик!.. Кабы — бог... да — кабы мог... да я — не плох, да, да! А — чья беда? Играй, сатана, тебе — воля дана! Стукнула полночь... спел петух ку-ка-ре-ку... тут — конец еретику...

Б у л ы ч о в. Складно тебя научили...

М е л а н и я. Не мешай, Егор, не мешай!..

П р о п о т е й. Что делать будем?.. Что скажем людям?

А н т о н и н а *(с сожалением)*. Он — не страшный... Нет!

П р о п о т е й. Убили гниду — поют панихиду. А может, плясать надо? Ну-ко, спляшем и нашим и вашим! *(Притоптывает, напевая, сначала — негромко, затем все более сильно, и — пляшет.)* Астарот, Сабатан, Аскафат, Идумей, Неумней. Не умей, карра тили — бом, бом, бейся в стену лбом, лбом! Эх, юхала, юхала, ты чего нанюхала? Дыб-дыб, дым, дым! Сатана играет им! Згин-гин-гин, он на свете один, его ведьма Закатама в свои ляжки закатала! От греха, от блуда не денешься никуда! Вот он, Егорий, родился на горе...

Ш у р а *(кричит)*. Прогоните его!

Б у л ы ч о в. Вы что... черт вас... испугать меня хотите?

З в о н ц о в. Надо прекратить это безобразие...

Глафира подбегает к Пропотею, он, не переставая кружиться, замахнулся на нее палкой.

П р о п о т е й. Их, эх, ох, ах! ух-чух, злой дух...

Тятин вырвал палку из руки Пропотея.

М е л а н и я. Да ты — что? Да ты — кто?

Ш у р а. Отец, прогони всех... Что ты молчишь?

Б у л ы ч о в *(машет руками)*. Погоди... погоди...

Пропотей сел на пол, гудит, взвизгивает.

М е л а н и я. Его — нельзя трогать! Он — в наитии... в восторге!

Д о с т и г а е в. За такие восторги, мать Меланья, по шее бьют.

З в о н ц о в. Вставай и уходи... живо!

П р о п о т е й. А — куда? *(Гудит.)*

Ксения плачет.

Е л и з а в е т а. Как это он ловко... в два голоса!

Б у л ы ч о в. Идите... прочь, все! Нагляделись...

Ш у р а *(топая на блаженного)*. Уходи, урод! Степа — выгоните его!

Т я т и н *(берет Пропотея за шиворот)*. Идем, святой... вставай!

Т а и с ь я. Он сегодня не больно страшно... он гораздо страшнее умеет это делать. Кабы ему вина дали...

М е л а н и я. Ты — что болтаешь? *(Бьет ее по щеке.)*

З в о н ц о в. Как вам не стыдно?

М е л а н и я. Кого? Тебя стыдно?

В а р в а р а. Успокойся, тетя...

К с е н и я. Господи... Ну, что же это?

Шура и Глафира укладывают Булычова на диван, Достигаев внимательно рассматривает его. Звонцовы уводят Ксению с Меланией.

Д о с т и г а е в *(жене)*. Едем домой, Лиза, домой! Булычов — нехорош! Весьма... И демонстрация идет... Надобно примкнуть.

Е л и з а в е т а. Как это он гудел, а? Ничего подобного не воображала...

Б у л ы ч о в *(Шуре)*. Все это — игуменья придумала...

Ш у р а. Тебе нехорошо?

Б у л ы ч о в. Она... Вроде панихиды... по живому...

Ш у р а. Скажи — нехорошо тебе? Послать за доктором?

Б у л ы ч о в. Не надо. А насчет царства паяц этот от себя махнул... Кабы — бог да кабы мог, — слышала? Не может!

Ш у р а. Все это надобно забыть...

Б у л ы ч о в. Забудем! Ты взгляни — как, что они там... Глафиру не обидели бы... Чего на улице поют?

Ш у р а. Ты не вставай!

Б у л ы ч о в. И погибнет царство, где смрад. Ничего не вижу... *(Встал, держась за стол, протирает глаза.)* Царствие твое... Какое царствие? Звери! Царствие... Отче наш... Нет... плохо! Какой ты мне отец, если на смерть осудил? За что? Все умирают? Зачем? Ну, пускай — все! А я — зачем? *(Покачнулся.)* Ну? Что, Егор? *(Хрипло кричит.)* Шура... Глаха — доктора! Эй... кто-нибудь, черти! Егор... Булычов... Егор!..

Ш у р а, Г л а ф и р а, Т я т и н, Т а и с ь я,— Булычов почти падает навстречу им.

За окнами — густо поют. Глафира, Тятин поддерживают Булычова. Шура — бежит к окну, открывает его, врывается пение.

Б у л ы ч о в. Чего это? Панихида... опять отпевают! Шура! Кто это?

Ш у р а. Иди сюда, иди... смотри!

Б у л ы ч о в. Эх, Шура...

З а н а в е с

1931

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1919 году Горький передал только что возникшему издательству З. И. Гржебина двадцать рассказов. В 1921 году книга вышла в свет. «Среди всего, что написано мною за двадцать пять лет,— говорит автор в предисловии,— рассказы, собранные в этой книге, кажутся мне наиболее удачными».

Отобранные Горьким произведения составили основу первого раздела настоящего тома.

Внутри разделов произведения расположены в хронологическом порядке.

Тексты печатаются по изданию: М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах. М., 1949—1957.

В основу примечаний положен научный комментарий к Полному академическому собранию сочинений М. Горького (М., «Наука», 1968—1975).

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

Макар Чудра (стр. 21).— Первый опубликованный рассказ писателя. С ним появился в печати псевдоним «М. Горький». Впоследствии писатель сообщал одному из своих адресатов: «Макар Чудра — живой человек, встреченный мною в 92 г. в Аккерманском уезде».

Стр. 22. *Галичина* — историческое название части земель Южной Польши и Западной Украины. Захваченная Австрией в 1772 году, Галичина была названа Галицией.

Стр. 23. *Кошут* Лайош (1820—1849) — венгерский политический деятель, организатор борьбы венгерского народа против австрийского господства во время революции 1848—1849 годов в Венгрии.

Емельян Пиляй (стр. 31).— Первое произведение писателя, появившееся в столичной прессе.

Рассказ вызвал разноречивые отклики писателей и критиков. Так, Л. Н. Толстой указывал на отсутствие цельности в рассказе; А. И. Богданович, Ф. Д. Батюшков, В. А. Поссе отмечали социально-психологическую значительность и новизну образа Емельяна Пиляя; критик-марксист В. В. Во-

ровский, опровергая мнение о «ницшеанстве» Горького, видел в образе Пилля одно из доказательств гуманизма писателя и одновременно художественное свидетельство ненормальности общественного уклада России.

Старуха Изергиль (стр. 41).— В рассказе отразились странствия по Руси летом 1891 года, когда будущий писатель был в южной Бессарабии, на берегах Дуная. В 1912 году в статье о выдающемся шведском писателе А. Стриндберге (1849—1912) Горький писал: «Стриндберг невольно сливается у меня с образом героя одной легенды, которую я слышал в юности на Дунае, это герой и поэт Данко...» В августе 1899 года в письме к А. П. Чехову Горький заметил: «Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как «Старуху Изергиль» написал».

Первым читателем и критиком «Старухи Изергиль» был В. Г. Короленко.

Стр. 47. *...гуцулы шайкой ходили по тем местам...*— Г. Богач, автор книги «Горький и молдавский фольклор» (Кишинев, 1966), считает употребление слова «гуцул» недоразумением: речь идет о гайдуках-разбойниках.

Стр. 49. *...бунтовать с вами, русскими.*— Очевидно, речь идет о «холерных» бунтах 1831 года.

Стр. 50. *...саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков.*— Имеется в виду война 1828 года за освобождение Греции.

А зачем вы ходили бить мадьяр? — Речь идет о венгерской революции 1848 года, подавленной при участии царского правительства.

Стр. 51. *...ушел он биться с вами, русскими...*— По-видимому, подразумевается известное восстание в Польше в 1863 году.

Челкаш (стр. 57).— В основу рассказа положен действительный случай. Позднее писатель вспоминал о босяке, послужившем прообразом Челкаша: «...изумлен был я беззлобной насмешливостью одесского босяка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе «Челкаш». С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы,— улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу...»

Знакомство Горького с одесским босяком произошло в июле 1891 года. Время действия в рассказе также можно отнести к этому «голодному году» («Голодающий этот самый приплелся...»).

«Вывод» (стр. 84).— В основе очерка — реальный факт. Во время странствий по Руси будущий писатель вступился за истязаемую женщину и был до полусмерти избит крестьянами. В письме И. А. Груздеву Горький рассказывал: «Меня сильно избили, вывезли из села Кандыбовки — 27—30 верст от Николаева — и бросили в кусты, в грязь, чем я и был спасен от преждевременной и «поносной» смерти, ибо получил «компресс». В Николаев меня привез шарманщик, ехавший с какой-то сельской ярмарки, кажется, из Повлиша или Новой Праги».

На плотах (стр. 86).— Рассказ написан за два дня, 31 марта и 1 апреля 1895 года, для пасхального номера «Самарской газеты». В связи

с отказом В. Г. Короленко дать пасхальный рассказ редакция освободила Горького на два дня от «Очерков и набросков», которые он регулярно вел в газете.

Чехов писал 3 января 1899 года Горькому: «Ваши лучшие вещи — «В степи» и «На плотах». ... Это превосходные вещи, образцовые, в них виден художник, прошедший очень хорошую школу...» (сб. «М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания». М., Гослитиздат, 1951, с. 30).

Стр. 91. *...живы души их во Христе...* — Имеются в виду сектанты; в первопечатном тексте более подробно говорилось об одном из них — «спасском пасечнике».

Дело с застежками (стр. 97). — В сентябре 1900 года Горький сообщил одному из первых своих биографов: «Если Вас интересуют данные биографического характера — Вы можете почерпнуть их в таких рассказах, как «Мой спутник», «Однажды осенью», «Дело с застежками» и т. д.».

«Уложение о наказаниях» — «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», изданный в 1864 году.

Коновалов (стр. 106). — События, описанные в рассказе, происходили в Казани и Феодосии. Автор жил в Казани в 1884—1888 годах. В ноябре 1885 года он нанялся подручным пекаря в хлебопекарню В. С. Семенова. Весной 1886 года Алексей Пешков и Коновалов часто посещали старый стекольный завод за городом, где обитали «бывшие люди».

Стр. 113. *Герасим* — герой рассказа И. С. Тургенева «Муму».

Стр. 116. *...грустную историю Сысойки и Пилы.* — Имеется в виду повесть Ф. Решетникова «Подлиповцы».

Стр. 122. *Н. И. Костомаров* (1817—1885) — русский историк, автор книги «Бунт Стеньки Разина».

Стр. 124. *Усолье* — город на Урале, в верховьях реки Кама (переименован в Березники).

Стр. 127. *Прозоровский* — астраханский воевода. После взятия Астрахани войсками Степана Разина был казнен.

Стр. 136. *Фальстаф* — персонаж пьес «Генрих IV» и «Виндзорские проказницы» Шекспира.

Стр. 138. *...попал в Феодосию.* В конце августа — начале сентября 1891 года.

Стр. 143. *...книгу насчет англичанина-матроса...* — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) Даниеля Дефо (1660—1731).

Озорник (стр. 147). — Распространению рассказа «Озорник» до советской власти всячески препятствовала царская цензура. 18 ноября 1898 года Санкт-Петербургский цензурный комитет постановил: «Брошюру «Озорник» запретить»; 24 августа 1905 года вновь вынес решение: «Рассказ «Озорник» к напечатанию не дозволять».

В Яснополянской библиотеке сохранился экземпляр II тома «Рассказов» М. Горького («Знание», 1901), где в конце рассказа «Озорник» рукой Л. Толстого написано: «Хорошо все».

В степи (стр. 163).— В основу положен реальный факт, рассказанный соседом «по больничной койке» — возможно, тем самым одесским босяком, который послужил прототипом Челкаша. (См. примечания к рассказу «Челкаш».)

Ярмарка в Голтве (стр. 173).— Очерк написан на основе впечатлений, почерпнутых во время жизни на Украине. В начале мая 1897 года Горький с женой выехал из Крыма в Кременчуг, Полтавской губернии, а оттуда в село Мануйловку. Присутствовал на экзамене в мануйловской школе, читал крестьянам стихи Шевченко. По его инициативе в Мануйловке был организован деревенский любительский театр, в котором ставились пьесы русских и украинских драматургов. 29 июня Горький посетил ярмарку в Голтве.

Бывшие люди (стр. 183).— В рассказе нашли отражение казанские встречи и впечатления 1885—1886 годов. Осенью 1926 года Горький писал своему биографу И. Груздеву: «Кувалда» — прозвище отставного офицера, фамилию коего я не помню, да едва ли и знал ее. Познакомился я с ним в камере мирового судьи Колонтаева, куда зашел, спасаясь от дождя. Судился Кувалда за скандал в общественном месте и удивил меня независимостью поведения перед судьей и замысловатостью своих ответов. Ночлежка его помещалась в конце Задне-Мокрой, у городских свалок...»

В ночлежке Кувалды будущий писатель прожил с июня по октябрь 1885 года. «В Казани,— писал он в первой своей автобиографии,— близко сошелся и долго жил с бывшими людьми (зри «Коновалов» и «Бывшие люди»)».

Стр. 194. *Амаликитяне* — древнее племя арабского происхождения, кочевавшее по Аравии; упоминается в Библии.

Филистимляне — населявшее Сирию древнее племя, история которого нашла отражение в Библии.

А от которого мы из колен Израилевых? — Израиль (Иаков) — по библейскому преданию, один из родоначальников израильского народа, делящегося по числу сыновей Израиля на 12 «колен» (племен).

Киммерийцы — древнейшие из известных науке племен, населявших северное Причерноморье. *Скифы* — древние ираноязычные племена, кочевавшие в Причерноморье.

Татары от Измаила... а он от еврея...— По библейской легенде, сын еврейского патриарха Авраама и египтянки Агари Измаил — родоначальник народа измаильтян (племена бедуинов), впоследствии — последователей ислама.

Стр. 198. *Ромул и Рем* — по римскому преданию, дети весталки (жрицы богини Весты) Реи Сильвии и бога Марса, брошенные царем Амулием в реку Тибр с целью устранения возможных претендентов на престол. Были вскормлены волчицей. Ромулу и Рему приписывается основание Рима.

С к у к и р а д и (стр. 235).— В рассказе отразились впечатления, оставшиеся в памяти писателя со времени его службы на железнодорожных станциях (осень 1888 г.— весна 1889 г.).

Н. К. Михайловский в статье «Литература и жизнь» писал: «Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и без авторского подсказывания сам скажет: «Какая яма!» Какая ужасная яма эта жизнь, в которой «скуки ради» проделывается возмутительнейшее издевательство над людьми!» («Русское богатство», 1898, № 10, с. 93).

Стр. 242. *«Да, экономна мудрость бытия...»* — Из стихотворения К. М. Фофанова «Дума в Царском Селе». У Фофанова: «Эх, экономна...»

Стр. 246. *За миг свиданья//Терплю страданья!* — Из романса «За миг свидания» — текст и музыка М. Штейнберга.

Стр. 247. *Смеяться, право, не грешно // Над тем, что кажется смешно!* — Из стихотворения Н. М. Карамзина «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794). У Карамзина: «Над всем...»

Стр. 248. *Но «не в шитье была тут сила»...* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная». У Некрасова: «И не в шитье была там сила».

П р о х о д и м е ц (стр. 249).— Горький писал И. Е. Репину 23 ноября 1899 года: «Проходимец» — живое лицо, ваш, петербургский, житель. Это одно из моих бесчисленных приключений».

Стр. 269. *Есть наслаждение в бою...* — Из «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Пир во время чумы». У Пушкина: «Есть упоение в бою».

Стр. 272. *Знать я не хочу Гекубу!* — перифраз слов из монолога Гамлета (2-я сцена II действия). У Шекспира: «... что ему Гекуба, // Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать».

Стр. 276. *...«все что мог, я уже совершил»...* — Ср. в стихотворении Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»: «Все что мог, ты уже совершил».

Д в а д ц а т ь ш е с т ь и о д н а (стр. 278). — В основу произведения, названного автором «поэмой», легли впечатления, связанные с жизнью в Казани и работой в булочной Семенова. В «Моих университетах» Горький писал: «Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна» — тяжелое время! Однако — поучительное».

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях «Ленин и Горький» писала: «Владимир Ильич очень ценил Алексея Максимовича Горького как писателя... любил он такие вещи Горького, как «Страсти-мордасти», как «Двадцать шесть и одна».

А. П. Чехов писал Горькому 15 февраля 1900 года: «Двадцать шесть и одна» — хороший рассказ, лучшее из того, что вообще печатается в «Жизни»... В рассказе сильно чувствуется место, пахнет бубликами» (А. П. Ч е х о в. Собр. соч., т. 18, с. 336).

Человек (стр. 289).—27 декабря 1903 года Горький писал А. А. Богданову: «В феврале выйдет моя маленькая статейка, в коей я излагаю мое кредо. Она называется «Человек». Три года спустя, получив изданную на испанском языке пьесу «На дне», Горький писал ее переводчикам: «Я был бы также рад, если бы на испанский язык было переведено другое мое произведение, под названием «Человек», в котором воплощена и развита главная мысль «На дне». В поэме «Человек» я стремлюсь показать независимость человеческого разума...»

В 1928 году Горький сказал: «Когда впервые я писал Человек с большой буквы, я еще не знал, что это за великий человек. Образ его не был мне ясен. В 1903 году я постиг, что Человек с большой буквы воплощается в большевиках во главе с Лениным...» («В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1969, с. 355).

Город Желтого Дьявола (стр. 294).—Очерком открывалась книга «В Америке». Написан в июне 1906 года в США, куда писатель прибыл 28 марта (10 апреля) 1906 года в целях пропаганды идей русской революции и сбора средств для помощи освободительному движению России. Поездка была организована партией большевиков. Писатель провел в США полгода, заполненные крайне напряженной общественной деятельностью и не менее интенсивной творческой работой.

Произведения об Америке вызвали острую и длительную дискуссию критиков, социологов, политиков, писателей. Л. Андреев писал К. Пятницкому 5 сентября 1906 года: «Прочел... все вещи Максимыча. От американских очерков в восторге: сильно, красиво, жестоко. Хорошо!» В. В. Стасов в письме к брату рассказывал о музыкальном собрании у него в Петербурге 3 (16) сентября 1906 года: «...а вчера после многого пения Шаляпин объявил, что хочет нам прочитать кое-что. И прочитал: «Город Желтого Дьявола» и «Прекрасная Франция»... оба истинные chefs d'oeuvr'ы! Настоящий Байрон нашего времени. Какая сила! Какая красота! Какая картинность языка! Можно только удивляться краскам Максима Горького. Для меня эти две вещи — наравне с «Человеком» — лучшие его создания» (Влад. Каренин. Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности, ч. II. Л., 1927, с. 681).

Статуя Свободы — французского скульптора Бартольди. Подарена Францией; водружена в октябре 1886 года на островке Либерти (теперь — Бедло), расположенном у входа в гавань Нью-Йорка.

Из цикла «Сказки об Италии» (ст. 304).— Цикл из двадцати семи произведений, написанных на острове Капри, где Горький жил в 1906—1913 годах.

Первоначально сказки возникали как импровизации. «Алексей Максимович,— сообщала Е. П. Пешкова в комментариях к его переписке,— любил рассказывать сыну различные сценки и эпизоды из итальянской жизни».

Название «сказки» — условно. Так, в письмах к И. П. Ладыжникову от 11 (24) сентября 1912 года и к И. Д. Сытину от 21 апреля (4 мая) 1912 года «Сказки об Италии» названы автором «Итальянскими очерками». Жанровое

определение «очерк» указывает на реальную, жизненную основу «Сказок об Италии».

Большевистская печать, на страницах которой появились лучшие из «Сказок об Италии», рассматривала эти произведения как часть «общепролетарского дела». Их высоко оценил В. И. Ленин: «Не напишете ли майский листок? Или листовочку в таком же майском духе? Коротенькую, «духоподъемную», а? Тряхните стариной — помните 1905 год — и черкните пару слов... Хорошо бы иметь *революционную* прокламацию в типе «Сказок» «Звезды». Очень и очень рад, что Вы помогаете «Звезде»,— писал В. И. Ленин Горькому в феврале 1912 г. И в следующем письме (февраль — март 1912 г.): «Великолепными «Сказками» Вы очень и очень помогали «Звезде», и это меня радовало чрезвычайно...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 47).

Стр. 305. ...*гимн Гарибальди* — походный марш волонтеров-краснорубашечников Дж. Гарибальди в период войны за национальное освобождение и объединение Италии. Написан в 1860 году; слова Л. Меркантини, музыка А. Оливьери.

Стр. 307. *Симплонский туннель* — туннель, соединяющий Швейцарию и Италию; проложен в Альпах в 1898—1906 годах.

Стр. 309. ...*те, что идут с другой стороны*...— швейцарцы.

Стр. 310. *Тимур-ленг* (Тамерлан) — прозвище Тимура (1336—1405).

Джетты — жители Моголистана, включавшего в себя Восточный Туркестан, Семиречье и Джунгарию.

311. ...*до часа встречи со Смертью в Отраре*...— Тимур умер во время похода к границам Китая, когда его армия прибыла в Отрар.

...*Гуругана-Тимура*...— Тимур носил титул Гургана — «зятя», который давался тому, кто женился на женщине из рода Чингисхана или, получив власть в борьбе, женился на наследнице двух ханских родов.

Кермани — придворный поэт Тимура.

Стр. 312. *Баязет-султан* — Боязид I, по прозвищу «Йылдырым» — «Молния». В битве Тимура и Боязида при Анкаре 20 июля 1402 года османское войско Боязида было разгромлено, он захвачен в плен и вскоре умер.

Стр. 313. *Сарацины* — древнее название жителей Аравии, а позднее, в период крестовых походов, всех арабов-мусульман.

Стр. 314. *Шерифэддин* — по-видимому, Шериф-Эддин-Али, персидский историк XV века. *Искандер* — арабизированное имя Александра Македонского.

Рождение человека (стр. 321.).— Из цикла «По Руси». Рассказ автобиографичен. Летом 1892 года будущий писатель работал вместе с голодающими на постройке шоссе Сухум — Новороссийск. После окончания работ на пути в Очамчиры ему пришлось выполнить обязанности акушера.

Кодор — река в Абхазии.

...«*пьяный мед*», *который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого*... — Римский полководец Гней Помпей Великий (106—48 гг.

до н. э.) предпринял во время войны Рима с Понтийским государством поход к берегам Черного моря (66—63 гг. до н. э.). Однажды римские солдаты, опьяневшие от меда, подверглись нападению. Эпизод описан греческим географом Страбоном («География Страбона в 17 книгах», кн. 12. М., 1879, с. 559).

Л е д о х о д (стр. 330).— Из цикла «По Руси». Действие относится к 1883—1884 годам, когда будущий писатель работал в Нижнем Новгороде десятником у подрядчика В. С. Сергеева, своего дальнего родственника.

Стр. 331. *Пёщер* — котомка, лубяная корзинка. *Галман* — грубиян, невежа.

Стр. 344. *Чка* — плывущая льдина.

«С т р а с т и-м о р д а с т и» (стр. 348.).— Из цикла «По Руси». Рассказ автобиографичен. В 1889 году, живя в Нижнем Новгороде, будущий писатель работал на пивном складе и развозил баварский квас по лавкам, квартирам, торговал на рынках и площадях.

Горький считал рассказ «Страсти-мордасти» своей творческой удачей.

З н а х а р к а (стр. 362).— Из книги «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 363. *...я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными...*— Описываемые события относятся к 1894 году, когда будущий писатель, служивший письмоводителем у присяжного поверенного А. И. Ланина, выезжал в села Болабаново, Воронцово и Березники Сергачского уезда Нижегородской губернии по судебному делу крестьян с князьями Голицыными.

Стр. 366. *Кереметь* — в мордовской и чувашской религии главный и очень грозный бог.

ВОСПОМИНАНИЯ

А. П. Ч е х о в (стр. 373.). Работу над первой частью воспоминаний Горький закончил осенью 1904 года в Ялте и выступил с их чтением в Петербурге 21 ноября; вторая часть писалась в основном осенью 1914 года, в Мустамяках. 22 ноября 1922 года Р. Роллан в письме Горькому выразил восхищение очерками о Толстом, Чехове, Короленко и Л. Андрееве, переведенными на французский язык, и предложил издать их отдельной книгой во Франции.

Стр. 377. *Но кто же победит? Греки или турки?* — Война между Грецией и Турцией происходила в 1897 году, то есть за два года до знакомства Горького с Чеховым.

Стр. 380. *...Скабичевский... написал, что я умру в пьяном виде под забором...*— Речь идет о неподписанной рецензии А. М. Скабичевского на книжку Чехова «Пестрые рассказы» (СПб., 1886). «Книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газет-

ного царства». Критик рисует обычную судьбу газетного фельетониста, который «обращается в выжатый лимон», и ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором» («Северный вестник», 1886, № 6).

«Новости терапии» — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1886 — 1897 годах К. В. Скурховичем.

Стр. 382. *...вагон для перевозки «устриц».*— Впоследствии С. А. Венгеров, первым встретивший гроб Чехова на Варшавском вокзале, в воспоминаниях, озаглавленных «Вагон для устриц», с горькой иронией отмечал, что надпись на вагоне, в котором стоял гроб с телом А. П. Чехова, стала «знаменитой» («Солнце России», 1914, № 25).

Стр. 383. *...за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера...*— Генерал-лейтенант, граф Ф. Э. Келлер был убит 18 июля («Новое время», 1904, 20 июля, № 10195). Запомнившаяся Горькому путаница вполне могла иметь место, так как 8 июля, в день прибытия в Петербург гроба Чехова, на Варшавский вокзал было доставлено из Парижа тело генерала Н. Н. Обручева, и происходила официальная церемония перенесения гроба в церковь Главного штаба.

За гробом Чехова шагало человек сто, не более... — В памяти Горького смешались картины встречи гроба в Петербурге и в Москве. На Варшавском и Николаевском вокзалах Петербурга во время панихид действительно присутствовало мало народу, об этом писали газеты. В Москве же за гробом Чехова шла многотысячная толпа, что отмечал и сам Горький в письме к Е. П. Пешковой от 11—12 июля 1904 года.

В. А. Маклаков (1870—1959) — известный адвокат, кадет, член Государственной думы. В мае 1903 года Чехов приезжал в подмосковное имение Маклакова Дергайково, где предполагал провести лето, но, увидев у хозяина пятнадцать собак, он, по словам мемуариста, «испугался» и уехал «молча, не сказав причины» («Раннее утро», 1909, 2 сентября, № 201).

Стр. 385. *Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев»...*— Замысел пьесы о Василии Буслаеве возник у Горького в 90-е годы в связи с рисунками А. П. Рябушкина (альбом «Русские былинные богатыри», изданный журналом «Всемирная иллюстрация» в 1893 году, и его же иллюстрации к былине в журнале «Шут», 1898, №№ 15—18). Позднее, в 1912 году, живя на Капри, писатель предполагал создать либретто оперы на ту же тему. В архиве А. М. Горького сохранился ряд стихотворных набросков к «Василию Буслаеву».

...«смысл философии всей».— Из стихотворения Гейне «Теория» (1842).

Стр. 387. *...Сулер живет у него.*— Л. А. Сулержицкий (1872—1916) жил у Горького в Олеизе, на даче «Нюра», с конца 1901 года до начала апреля 1902 года. Помогал поддерживать непрерывные контакты с Гаспрой, где в то время жил Толстой, с которым Сулержицкий был связан и личным близким знакомством, и своей деятельностью по оказанию помощи духоборам (Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923).

...Ханаанскую землю... — В Библии так называются земли в Палестине, населенные ханаанскими племенами.

...около Толстого нет Эккермана...— И. П. Эккерман (1792—1854) — литературный секретарь Гете; вел дневник, который издал в 1836 году.

Лев Толстой (стр. 388).— Творческая история этого произведения, растянувшаяся на четверть века, отличается большой сложностью. Работа была начата еще зимой 1901/902 года, когда Горький жил в Олеизе, в полутора верстах от Гаспры, где в сентябре 1901 года в имении графини С. Паниной поселился Толстой. Крымские встречи писателей, давшие основной материал для произведения, начались со второй половины ноября 1901 года. Горький приехал в Крым 12(25) ноября и 14(27) поспешил навестить Толстого. С этого дня он стал частым гостем Толстого. В свою очередь, Толстой дважды навестил Горького: 23 и 31 декабря (ст. ст.) он приходил в Олеиз на дачу «Нюра». Их тесное общение продолжалось до конца января 1902 года, когда Толстой заболел воспалением легких. Очевидно, основная масса заметок создавалась зимой 1901/902 года и весной 1902 года.

Уход из Ясной Поляны и последовавшая затем смерть Льва Толстого дали мощный толчок размышлениям Горького о личности, творчестве, философии и этике великого современника.

Заключительный этап работы над произведением относится к 1919—1923 годам.

Общественность встретила новое произведение Горького с исключительным интересом. Одним из первых высокую оценку дал В. И. Ленин, прочитавший «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» в издании 1919 года [1].

Стр. 389. *...тощенькую брошюрку князя Кропоткина...*— П. А. Кропоткин. Анархия, ее философия, ее идеалы. Женева, 1893.

Стр. 391. «*Интеллигент — это галицкий князь Владимирко...*» — Владимир Володаревич Владимирко, умер в 1152 году. Толстой имеет в виду «чудесную» смерть князя, постигшую его за нарушение клятвы и пренебрежительное отношение к кресту (см.: С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. 1—2. М., 1959, с. 485).

...кажется, он... много путешествовал... — Андерсен ездил в Германию, Францию, Англию, Италию, Грецию, Турцию.

...великий князь Николай Михайлович... — Н. М. Романов (1859—1918), двоюродный дядя царя Николая II, историк по образованию, владелец имения Ай-Тодор, расположенного рядом с имением С. В. Паниной в Гаспре, не без ведома царя трижды наведывался к опальному Толстому.

Стр. 392. *...Фридрих Прусский очень хорошо сказал...* — Возможно, Толстой имеет в виду известную резолюцию Фридриха II (1712—1786) на докладе духовного департамента о католических школах: «Все веры должны быть терпимы, ибо в нашем отечестве всякий имеет право спасти свою душу путем, какого сам пожелает» (см.: «Русский вестник», 1863, № 46).

---

[1] В библиотеке В. И. Ленина в Кремле есть эта книжка Горького с пометкой: «Экземпляр В. И. Ульянова (Ленина)».

Стр. 393. *...не знаю сам...* — Из стихотворения А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом...» (1843).

Стр. 394. *Читал ему свой рассказ «Бык»...*— Речь идет о ранней (несохранившейся) редакции рассказа «Бык».

Стр. 395. *«Бог есть мое желание».* — В тетрадке дневника, начатой 28 октября 1895 года и законченной 17 декабря 1897 года, Толстой развивает мысли, связанные с его работой над трактатом «Изложение моей веры».

...в Юсуповском парке.— Рядом с Гаспрой, где жил Л. Н. Толстой, находилось имение князей Юсуповых.

Стр. 399. *...по поводу «Исповеди» Руссо.*— Толстой говорил критику Евг. Соловьеву в июле 1903 года: «Руссо я любил всю жизнь, с самой юности, и всегда им увлекался. Мне думается, что вся литература XIX века, весь ее реализм от него. Для своего времени его «Исповедь» была откровением. Это огромная вещь. Пусть он был болен и раздражен, но его стремление к правде, к тому, чтобы освободиться от литературных прикрас, несомненно. И он достиг многого» («Одесские новости», 1903, 17 июля, № 603).

...штундисты из Феодосии... — Штундисты — христианские секты, возникшие во второй половине XIX века среди украинских и русских крестьян под влиянием протестантов, переселенцев с Запада. Не признавали православной церкви и единственный авторитет видели в Библии.

Стр. 400. *«...господня земля и исполнения ее»* — последний возглас священника во время предания тела земле (Псалтырь, псалом 23, стих I).

Стр. 402. *Вы согласны с Познышевым...*— См. «Крейцерову сонату», гл. XV.

...в одном из его рассказов... — «Поликушка» (1861—1862).

Диккенс очень умно сказал...— Толстой имеет в виду слова изобретателя Дойса из романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит»: «Человек должен бороться за свою жизнь и защищать ее, пока хватит сил. Также и изобретатель должен бороться за свои изобретения» (Чарльз Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 20. М., Гослитиздат, 1960, с. 248).

Стр. 403. *...книжку Льва Тихомирова...*— Книга «Почему я перестал быть революционером» бывшего члена Исполнительного комитета партии «Народная воля» Л. А. Тихомирова (1850—1923), помилованного Александром III и превратившегося, по словам Веры Фигнер, в «ультраконсерватора и ультрамонархиста», вышла в Женеве в 1888 году и в Москве в 1895 году.

«Позолота-то сотрется, свиная кожа останется».— Из сказки Андерсена «Старый дом» (1848).

Стр. 406. *...доктор Никитин* — Д. В. Никитин (1874—1960) — домашний врач Толстых в 1902—1904 годах.

Плеве В. К. (1846—1904) — реакционный государственный деятель; с 1902 года — министр внутренних дел и шеф жандармов. Убит 15 (28) июля 1904 года эсером Егором Сазоновым.

Стр. 408. *«Мысль есть зло...»* — Имеются в виду поучения раннехри-

стианского писателя Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (до 160—около 220).

Стр. 411. *...письмо «Интеллигенция, государство, народ»...*— Под этим названием в памяти Горького объединились две статьи Л. Н. Толстого: «Об общественном движении в России» (1905) и «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам, народу» (1906).

...«арзамасский ужас...» — 2—3 сентября 1869 года Толстой был проездом в Арзамасе и, ночуя в гостинице, испытал беспричинные «тоску, страх, ужас», о чем писал С. А. Толстой 4 сентября 1869 года («Письма графа Л. Н. Толстого к его жене. 1862—1910». М., 1913, с. 167). Об «арзамасском ужасе» см. рассказ Толстого «Записки сумасшедшего» (1884).

Стр. 412. *...книжку Льва Шестова.*— Л. Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). СПб., 1900.

Стр. 414. *Тихон Задонский* (1724—1783) — церковный писатель, епископ воронежский; уйдя на покой, жил в Задонском монастыре.

Он дал нам евангелие...— Имеются в виду запрещенные в России произведения Толстого: «Краткое изложение Евангелия», «Как читать Евангелие и в чем его сущность», «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», напечатанные в Англии издательством «Свободное слово».

Стр. 417. *...поэт Булгаков...*— Ошибка памяти писателя: речь идет о В. Д. Ляпунове, стихотворение которого с рекомендацией Толстого напечатано в журнале «Русская мысль», 1898, № 1.

Он излагает им учение Лао-тце...— Толстой интересовался учением древнекитайского философа Лао-тце (Лао-цзы, VI в. до н. э.), утверждавшего существование некоей мировой силы, независимой от сознания человека, проповедовавшего пассивность и созерцательность.

Стр. 418. *...у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича...* — в 1847 году Достоевский примкнул к кружку М. В. Буташевича-Петрашевского, изучавшему утопический социализм.

Стр. 420. *Но черту Буслаева постиг в Толстом... Олаф Гульбрансон...*— Имеется в виду рисунок Олафа Гульбрансона из серии «Галерея знаменитых современников» (дружеские шаржи) в немецком сатирическом журнале «Симплициссимус», выходившем в Мюнхене.

Стр. 422. *Второй раз я видел его в Ясной.*— Вторая встреча Горького с Толстым произошла в Хамовниках 11(24) февраля 1900 года. Здесь описывается третья встреча с Толстым — 8(21) октября 1900 года.

Грибы сошли... — Из стихотворения И. А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...» (1898).

Стр. 423. *...у него в «Азбуке»...*— Имеется в виду «Азбука социальных наук» В. В. Берви-Флеровского (1829—1918), крупного экономиста, социалиста, утописта.

Поль Астье — персонаж романа А. Доде «Бессмертный» (1888) и пьесы «Борьба за существование» (1889).

Стр. 424. *Амадис* — герой испанского рыцарского романа XIV века;

Зигфрид — герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» (XII—XIII вв.).

«*Братья Земганно*» — роман Эдмона Гонкура (1879).

...выдумал итальянец Ломброзо... — Имеются в виду книги: Ч. Ломброзо. Новейшие успехи науки о преступнике. СПб., 1892; М. Норда у. Вырождение. Спб., 1893.

Стр. 426. *Богомилы* — христианская секта, возникшая в Болгарии в X веке, отвергавшая церковное учение, обрядность и т. п.

В. И. Ленин (стр. 429).— Произведение создавалось Горьким непосредственно после смерти В. И. Ленина, зимой 1924 года.

Горький не был удовлетворен первой редакцией своего очерка о Ленине. Уже в письме к М. Л. Павловичу (М. Л. Вельтману) от 29 декабря 1925 года он заявил, что «написал о Владимире Ильиче плохо». И так объяснял причину этого: «Был слишком подавлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об утрате человека, которого я любил очень. Да» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1926, 10 января, № 8).

Н. К. Крупская, работавшая в это время над своими воспоминаниями о Ленине, 30 октября 1930 года писала Горькому: «Сегодня получила Ваши воспоминания об Ильиче — хорошие. Живой у Вас Ильич. О Лондонском съезде очень хорошо. Правда все. Каждая фраза ваших воспоминаний вызывает ряд аналогий. И потом Вы любили Ильича. Кто не любил бы, тот не мог бы так написать. Живой весь Ильич...» («Октябрь», 1941, № 6, с. 24).

С большим интересом воспоминания Горького были встречены — еще в первой редакции — и за границей. В конце сентября 1924 года Ромен Роллан сообщал, что слышал много восторженных отзывов о его произведении, опубликованном к тому времени в «La Revue Europeenne» («Архив А. М. Горького». КН-ин-ф-5—1—32). «Как взволновали меня Ваши воспоминания о Ленине!» — восхищенно писал Горькому в феврале 1925 года Стефан Цвейг. В статье «Дело Артамоновых» Цвейг так охарактеризовал воспоминания Горького о Ленине (наряду с воспоминаниями о Толстом): «Может быть, во всей современности не создан более современный и долговечный портрет» («Neue freie Presse», 1927, 19 мая).

Стр. 429. *...«в многой мудрости — много печали».* — Библия. Книга Екклезиаста, гл. I, стих. 18.

Лондонский съезд — V съезд РСДРП, состоявшийся в Лондоне 30 апреля — 19 мая 1907 года. Горький присутствовал на нем в качестве делегата с совещательным голосом.

Стр. 430. *До этого года я не встречал Ленина...* — Ошибка памяти Горького. В статье «М. Горький во время московских баррикад 1905 года» («Красная газета» веч. вып., 1928, 12 июня № 160) К. П. Пятницкий свидетельствует, что Горький впервые увиделся с Лениным в Петербурге 27 ноября 1905 года на заседании ЦК РСДРП, обсуждавшем вопрос о вооруженном восстании и о газетах «Новая жизнь» и «Борьба». Верность этого свидетельства подтвердил сам Горький (см.: «Октябрь», 1941, № 6, с. 22).

Фома Уральский — А. П. Смирнов (1877—1938), делегат V съезда от Петербургской организации РСДРП, примыкал к большевикам. Горький ошибочно приводит партийную кличку А. П. Смирнова: он фигурировал на съезде РСДРП как Фома-питерец (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 163).

Стр. 431. *...обедал у Августа Бебеля...* — Август Бебель (1840—1913), Пауль Зингер (1844—1911) — руководители немецкой социал-демократии. *Парвус* (псевдоним А. Л. Гельфонда, 1869—1924) — в 90-х годах эмигрировал из России в Германию, где стал одним из активных деятелей немецкой социал-демократии; после раскола РСДРП в 1903 году поддерживал меньшевиков. В период первой мировой войны — социал-шовинист, занимался спекуляциями, связанными с военными поставками.

Стр. 432. *Морис Хилквит* (1869—1933) — один из основателей американской социалистической партии, юрист по профессии; способствовал публикации произведений Горького на английском языке. *Дебс* (Евгений) (1855—1926) — основатель социал-демократической партии США, влившейся в 1901 году в социалистическую партию.

Н. Е. Буренин (1874—1962) — участник революционного движения, в 1905 году вошел в состав боевой группы при ЦК РСДРП.

...пришел Чайковский с Житловским... — Н. В. Чайковский (1850—1926) — политический деятель, начавший свой путь в рядах революционных народников, а закончивший его главой белого «правительства», созданного в Архангельске английскими и американскими интервентами в 1918 году. Х. И. *Житловский* (1865—1943) — один из лидеров мелкобуржуазной еврейской социалистической партии. В период первой русской революции Чайковский и Житловский активно участвовали в работе партии эсеров.

...послали туда «бабушку»... — «Бабушкой русской революции» эсеры прозвали одну из старейших деятельниц своей партии — Е. К. Брешко-Брешковскую (1844—1934).

Стр. 433. *...но и в Америке нашелся Парвус.* — Имеется в виду газетный магнат Уильям Рандольф Херст (1863—1951), который, нарушая авторские права, перепечатывал без разрешения Горького его произведения.

Стр. 434. *Дан* (псевдоним Ф. И. Гурвича, 1871—1947) — один из лидеров меньшевизма; в годы реакции — ликвидатор; после Октябрьской революции боролся против советской власти; в 1922 году выслан за границу.

...чай пить с либералами... — Имеется в виду встреча Дана, Абрамовича и других меньшевиков в ноябре 1906 года с кадетским лидером Милюковым. Ленин говорил об этом на V съезде РСДРП: «...выяснилось, что еще в ноябре 1906 г. Дан был приватно «на чашке чая» с Милюковым, Набоковым, с вождями эсеров и энесов» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, с. 327).

Стр. 435. *М. П. Томский* (1880—1936) — в то время был членом ЦК РСДРП, большевиком. Впоследствии занял примиренческую позицию по

отношению к ликвидаторам. После Октября выступал против ленинской политики партии.

Стр. 436. *Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.*— Эта мысль была высказана не Р. Люксембург, а Л. Тышко, представителем польской социал-демократии.

...речи его...— Кроме доклада об отношении к буржуазным партиям, В. И. Ленин выступил на V съезде РСДРП с речами: по вопросу о порядке дня, по докладам о деятельности ЦК и думской фракции, об отношении к польскому проекту резолюции о буржуазных партиях, а также с докладом от комиссии по выработке резолюции о Государственной думе.

Стр. 438. *Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже...*— Здесь неточность: Горький встречался с Лениным в Париже в 1911—1912 годах, то есть после того как Ленин дважды посетил Капри (10—17 апреля 1908 года и 18—30 июня 1910 года).

Стр. 439. *...это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.*— Горький имеет в виду так называемые «балканские» войны 1912—1913 годов между Балканским союзом (Болгария, Сербия, Греция, Черногория) и Турцией, затем между Болгарией и ее союзниками из-за раздела завоеванных территорий.

Стр. 441. *А. А. Богданов* (1873—1928) — философ-идеалист, социал-демократ, в 1903 году примкнул к большевикам, в годы реакции стал отзовистом. Ревизуя марксизм в области философии, Богданов перешел на позиции махизма и создал свою идеалистическую философию эмпириомонизма. *В. А. Базаров* (1874—1939) — философ, экономист, социал-демократ; во время революции 1905—1907 годов примыкал к большевикам, в годы реакции, отойдя от большевизма, пропагандировал богостроительство.

Стр. 442. *...рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и не мало других крупных русских людей...* — Ф. И. Шаляпин был на Капри в апреле 1908 года, а потом приезжал еще несколько раз. На Капри у Горького побывали Г. В. Плеханов, В. Н. Фигнер, А. В. Луначарский, К. С. Станиславский, И. Е. Репин, И. А. Бунин и другие выдающиеся деятели русского революционного движения и искусства.

Стр. 443. *...Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.*— Плеханов был на Капри в июне — июле 1913 года, то есть после Ленина.

Н. Ф. Олигер (1882—1919) — писатель, связанный с традициями народнической литературы; перед революцией 1905 года принял участие в революционном движении, был арестован и 1904—1905 годы провел в тюрьме. *А. К. Лоренц* (Метнер; умер в 1918 г.) — участник революционного движения, большевик. *Павел Вигдорчик* (род. в 1874 г.) — врач, писатель участник социал-демократического движения; после раскола РСДРП примыкал к меньшевикам. *Энрико Ферри* (1856—1929) — руководитель центристского большинства итальянской социалистической партии, редактор

газеты «Avanti»; в 1909 году отошел от партии; впоследствии примкнул к фашизму.

Стр. 445. *...весною 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук»...*— Горький выступил одним из инициаторов создания этой Ассоциации. Она конституирована 28 марта (10 апреля) 1917 года. Председателем Ассоциации был вице-президент Академии наук, выдающийся математик В. А. Стеклов (1864—1929), товарищами председателя — Горький и профессор Д. К. Заболотный.

Стр. 450. *Спросите С. ...*— Имеется в виду академик В. А. Стеклов.

Стр. 453. *Я читал его книгу,— очень понравилась.*— По-видимому, речь идет о книге И. Е. Вольнова «Повесть о днях моей жизни», вышедшей отдельным изданием в 1913 году, а в 1912 году печатавшейся в журнале «Заветы».

...одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.— Речь идет об А. В. Сапожникове (1868—1935), авторе ряда работ в области органической химии и химии взрывчатых веществ.

Стр. 455. *Скороходов* (1882—1919) — сормовский рабочий-революционер. Накануне Октября работал в большевистском Петроградском комитете; после победы революции — первый председатель Петроградского районного Совета, председатель Петроградской Чрезвычайной комиссии; в конце 1919 года расстрелян белогвардейцами в Харькове.

Стр. 458. *...одного товарища «хозяйственника».*— Имеется в виду советский дипломат Л. Б. Красин (1870—1926). 27 ноября 1926 года Горький писал Е. П. Пешковой о Красине: «Это о нем говорил Ильич: может быть премьер-министром в любом государстве Европы».

Стр. 459. *Говорите, у И. есть еще изобретение?* — Горький имеет в виду самозатачивающиеся резцы, изобретенные Игнатьевым в 1912 году.

Стр. 460. *Ф. Лассаль* (1825—1864) — один из руководителей немецкого рабочего движения 60-х годов XIX века. Как политик и как человек обладал рядом отрицательных качеств, чуждых пролетарской идеологии и морали. К. Маркс отмечал «назойливое самохвальство» как отличительную черту Лассаля (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 31, 1963, с. 380).

«Всемирная литература» — издательство, организованное в 1918 году в Петрограде по инициативе и при ближайшем участии Горького с целью издания выдающихся произведений мировой художественной литературы. В 1924 году влилось в Государственное издательство.

Г. А. Алексинский (род. в 1879 г.) — перед революцией 1905 года принял участие в революционном движении; был членом социал-демократической фракции во II Государственной думе; после поражения революции примкнул к отзовистам. Во время июльских событий 1917 года выступил с грязной клеветой против Ленина. После Октябрьской революции — белый эмигрант.

Р. В. Малиновский (1876—1918) — провокатор, «работавший» среди большевиков. В 1918 году разоблачен и расстрелян по приговору Верховного трибунала.

Стр. 461. *«Комиссия по улучшению быта ученых»* — была учреждена в декабре 1919 года постановлением Совнаркома РСФСР; в Петрограде Комиссию возглавил Горький. В 1921 году преобразована в Центральную комиссию по улучшению быта ученых — ЦЕКУБУ.

...считаю совершенно необходимым организацию литвуза... — Эта идея реализована в 1933 году, когда по Постановлению ЦИК СССР, в ознаменование 40-летия литературной деятельности Горького, в Москве был открыт Литературный институт его имени.

ПЬЕСЫ

На д н е (стр. 465).— Первое упоминание о замысле пьесы «На дне» встречаем в воспоминаниях Станиславского, воскрешающих беседу с Горьким, относящуюся, по-видимому, к середине апреля 1900 года.

Драма «На дне» возникла в результате широких жизненных наблюдений и философских исканий писателя.

Босячество, изображенное в пьесе, было крупным социальным явлением XIX и начала XX столетий. Только в Нижнем Новгороде в 1901 году было зарегистрировано 4 тысячи «босяков».

В частности, Горький мог наблюдать в Нижнем Новгороде и многих странников, подобных Луке. «По своему географическому положению Нижний Новгород и вся приволжская часть его уездов представляет самое лучшее и удобнейшее место для стечения всякого сброда людей, в том числе странников, с целью отправиться отсюда по большой дороге, «по вольному пути» (по Волге) в камыши астраханские...» (А. Р о з о в. Странники или бегуны в русском расколе.— «Вестник Европы», 1872, декабрь, с. 540).

Работать над пьесой Горький начал, по-видимому, в декабре 1900 года, в Нижнем Новгороде, о чем свидетельствуют его письма того времени к Станиславскому. Первоначальное название пьесы: «Без солнца», затем — «На дне жизни». В 1902 году Горький назвал пьесу — «На дне». Поставить ее разрешено было только Московскому Художественному театру с цензурными изъятиями, весьма многочисленными.

Премьера состоялась 18 декабря. 21 декабря Горький писал Пятницкому: «Успех пьесы — исключительный, я ничего подобного не ожидал (...) Вл(адимир) Иван(ович) Немирович(-Данченко) — так хорошо растолковал пьесу, так разработал ее — что не пропадает ни одного слова. Игра — поразительна! Москвин, Лужский, Качалов, Станиславский, Книппер, Грибунин — совершили что-то удивительное (...) Чудесные артисты!»

Но уже после первого представления пьесы Горький писал Пятницкому: «...ни публика, ни рецензята — пьесу не раскусили. Хвалить — хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю — кто виноват? Талант Москвина — Луки или же неуменье автора? И мне — не очень весело».

Вокруг пьесы разгоралась общественная борьба. Буржуазные критики продолжали превозносить «доброту» Луки. Революционно настроенные круги, рассказывает в своих воспоминаниях В. И. Качалов, воспринимали «На дне» как «пьесу-буревестник, которая предвещала грядущую бурю и к буре звала». «Мы знаем, что многие и многие, читая и слушая «На дне» Горького, бросали уют своей жизни, шли в ряды революционной партии бороться там, как можно и чем можно...» — свидетельствовал В. Д. Бонч-Бруевич.

С восторгом отзывались о «На дне» многие выдающиеся деятели революционного движения, культуры и искусства. «Помню,— писала Н. К. Крупская,— как загорелся Ильич как-то желанием пойти в Художественный театр смотреть «На дне». Франц Меринг характеризовал драму «На дне» как «творение подлинного и большого поэта». В. В. Воровский считал «На дне» «одним из самых значительных произведений Горького», которое «подводит итог периоду босяцких рассказов». В Луке выдающийся критик-марксист видел «шарлатана гуманности, бессмертный тип лживого успокоителя страдающих, жаждущих забвения во лжи».

В. И. Немирович-Данченко в телеграмме, посланной Горькому 14 марта 1934 года, в день восьмисотого спектакля «На дне», писал: «Появление «Дна» одним ударом проложило целые пути театральной культуры. В годы Октябрьской революции «Дно» приобретало новое значение, сделавшись любимейшей пьесой победившего пролетариата. Имея в «На дне» образец подлинно народной пьесы, мы считаем этот спектакль гордостью театра...»

Стр. 468. *«Роковая любовь»*...— Возможно, это роман «Роковая любовь» немецкого писателя Эрнста фон Вильденбруха (1845—1909), изданный в переводе на русский язык «Новым журналом иностранной литературы» как раз в период работы Горького над пьесой (роман вышел в 1901 г., в Петербурге). Мелодраматический характер книги Вильденбруха вполне объясняет слезы, которые над ней проливает Настя. Но история о Рауле или Гастоне, которую в III акте рассказывает Настя и которая, как утверждает Барон, взята «из книжки «Роковая любовь», заимствована ею из какого-то другого сентиментального повествования,— в романе Вильденбруха такой истории нет. Некоторые детали рассказа Насти воспроизведены Горьким из своеобразной исповеди проститутки Клавдии Гросс (см.: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 23, с. 296).

Стр. 470. *Сикамбр.*— Сикамбры — древнегерманское племя, жившее по берегам Рейна.

Макробиотика — наука о продлении жизни; одним из основателей этой науки был немецкий врач К. В. Гуфеланд (1762—1836).

Стр. 475. *Сарданапал* — Ашшурбанипал, последний ассирийский царь (годы царствования: 668—626 гг. до н. э.). Имя Сарданапала, отличавшегося склонностью к роскоши, стало нарицательным.

Навухудоносор — вавилонский царь (604—562 гг. до н. э.), прославившийся войнами, строительством крепостей и дворцов, а также разрушением «града божия» — Иерусалима.

...как... сорок тысяч пьяниц...— перефразировка слов Гамлета о «сорока тысячах братьев», которые не могли бы сравняться с ним в любви к Офелии («Гамлет», акт V, сцена 1).

Стр. 496. *Господа! Если к правде святой... Если б завтра земли нашей путь...*— Первые строки пятой и шестой строф стихотворения П. Беранже «Безумные» («Les fouls») в переводе В. С. Курочкина.

Стр. 498. *Кент* — персонаж трагедии Шекспира «Король Лир».

Стр. 508. *Я говорю — есть земля, неудобная для посева...*— Лука использует образы евангельской притчи о сеятеле (Евангелие от Матфея, гл. 13).

Стр. 511. *Тебе бы с такими речами к бегунам идти...*— Бегуны — секта в старообрядчестве, основанная в конце XVIII века беглым солдатом Евфимием. Возникновению этой секты способствовало усиление крепостнического гнета. Социальный протест бегунов принимал все более антиобщественные формы. Исходным пунктом учения бегунов было утверждение о близком «конце света». Чтобы «спасти душу», необходимо порвать всякие связи с обществом, уклоняться от государственных повинностей и административных установлений, отказаться от семьи и бежать в пустынные местности или прятаться в тайных убежищах. (Ф. В. Л и в а н о в. Раскольники и острожники, т. IV, с. 60).

Стр. 514. *...Тако исчезают грешники от лица праведных!* — Ср.: псалом Давида (Псалтырь, псалом 67, стих 3).

Стр. 515. *Лахеза, Атропа...* — Две из трех богинь судьбы у древних греков, по представлениям которых богиня Клито пряла «жизненную нить» человека, Лахесис определяла его путь, Атропос заносила в длинный свиток все, что назначено человеку.

«Обжирайтесь, мрачные умы»...— Первый стих третьей строфы стихотворения Беранже «Гастрономы» («Les gourmands») в переводе В. С. Курочкина, опубликованном в «Искре», 1870, № 8.

Стр. 516. *«Яма эта... будет мне могилой...»* — Начало стихотворения «Старый бродяга» («Le vieux vagabond») Беранже в переводе В. С. Курочкина, впервые опубликованном под заглавием «Старый нищий» в «Сыне отечества», 1854, № 29.

... «Кин, или Гений и беспутство».— Название пьесы французского писателя А. Дюма-отца (1803—1870), изображающей жизнь и похождения известного английского актера Кина (1787—1833).

Е г о р Б у л ы ч о в и д р у г и е (стр. 525).— Замысел пьесы «Егор Булычов и другие» возник у Горького, по-видимому, в конце 1930 года.

Седьмого июля 1931 года Горький пригласил артистов театра имени Евг. Вахтангова прослушать новую пьесу. Осенью 1931 года в обсуждении пьесы участвовали Б. В. Щукин, Б. Е. Захава, Р. Н. Симонов и другие.

В текст отдельного издания 1932 года вошли все дополнения и изменения, сделанные Горьким в ходе работы с театром.

К. А. Федин писал Горькому 13 декабря 1932 года: «В «Булычове»

меня опять поразила какая-то соблазняющая тайна Ваших российских купцов — Бугровых, Морозовых... Изумительно это отсутствие веры и — в то же время — тоска по ней у всех «зиждителей» нашего прошлого».

Первое представление «Егора Булычова» в театре имени Евг. Вахтангова состоялось 25 сентября 1932 года. Спектакль был приурочен к сорокалетию общественно-политической и литературной деятельности Горького.

Классический театральный образ Булычова был создан замечательным советским артистом Б. Щукиным, трактовавшим главного героя пьесы как человека, который «перерос свою среду», «познал скверну своего круга, своего буржуазного мира» и который «любил жизнь со всеми ее радостями» (Б. Щ у к и н. Беседа в клубе театральных работников 19 марта 1933 г.— В сб. «Егор Булычов и другие». Материалы и исследования». М., 1970).

Стр. 531. *Невеглас* (ц е р к о в н о с л а в.) — невежда.

Стр. 533. ... *на ярмарке в Копосове*...— Копосово — село близ Сормова; в этом селе проживало много сормовских рабочих, оказывавших революционизирующее влияние на местное крестьянство.

Стр. 540. *Промышленники, кажется, понимают свою роль*...— Речь идет о первом съезде военно-промышленных комитетов, состоявшемся в конце 1915 года. Они были образованы в мае 1915 года по предложению капиталиста П. П. Рябушинского, высказанному на IX торгово-промышленном съезде.

Стр. 541. «*Блажен муж*...» — Псалтырь, псалом I, стих I.

Стр. 547. *Помнишь «Варум» Шуберта*? — Фортепьянная пьеса «Отчего?» («Warum?») из цикла «Фантастические пьесы». Принадлежит не Шуберту, а Шуману.

Стр. 553. *Отречемся от старого мира*...— Строки из «Русской Марсельезы», распевавшейся на мотив «Марсельезы», сочиненной Руже де Лилем в 1792 году. Текст «Русской Марсельезы», написанной народником П. Л. Лавровым, впервые был напечатан в газете «Вперед», 1875, 1 июня, № 12, под названием «Новая песня».

Стр. 557. ...*как сказал Анри-катр*: «*Париж лучше войны*...»— Имеется в виду вождь гугенотов (протестантов) Генрих Бурбонский (1563—1610), будущий французский король Генрих IV. Объявив себя претендентом на французский престол, он вел войну с католиками. Однако, после неудачной попытки овладеть Парижем силой, 25 июля 1593 года торжественно перешел в католичество. Генриху приписывается фраза: «Париж стоит мессы (обедни)».

Стр. 563. «*И остави нам долги наша*...» — Евангелие от Матфея, гл. 6, стих 12.

Стр. 564. *А крест есть — меч!* — Имеются в виду слова Иисуса Христа, с которыми он обратился к апостолам, когда посылал их проповедовать: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч...» (Евангелие от Матфея, гл. 10, стих 34).

Н. Жегалов

СОДЕРЖАНИЕ

А. Овчаренко. М. Горький, его рассказы и пьесы 5

I. РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

Макар Чудра 21
Емельян Пиляй 31
Старуха Изергиль 41
Челкаш 57
«Вывод» 84
На плотах 86
Дело с застежками 97
Коновалов 106
Озорник 147
В степи 163
Ярмарка в Голтве 173
Бывшие люди 183
Скуки ради 235
Проходимец 249
Двадцать шесть и одна. *Поэма* 278
Человек 289
Город Желтого Дьявола 294
Из цикла «Сказки об Италии»
II 304
IV 307
IX 310
XI 316
Рождение человека 321
Ледоход 330
«Страсти-мордасти» 348
Знахарка 362

ВОСПОМИНАНИЯ

А. П. Чехов 373
Лев Толстой 388
В. И. Ленин 429

ПЬЕСЫ

На дне 465
Егор Булычов и другие 525

Примечания *Н. Жегалова* 571

На суперобложке рисунки Д. Шмаринова, Б. Дехтерева, В. Макеева.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 149

Алексей Максимович
Горький

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ.
ВОСПОМИНАНИЯ. ПЬЕСЫ

*

Редактор И. Чеховская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технические редакторы
В. Иващенко
и С. Ефимова
Корректор
Г. Киселева

*

Сдано в набор 12/II 1974 г. Подписано в печать 6/IX 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 37 печ. л. 34,521 усл. печ. л. 37,462 + 1 вкл. + + 6 накид. = 38,03 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 1084. Цена 1 р. 91 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28